

Ирина Антонова

Не от мира сего

Ирина Антонова

Не от мира сего

*«МЫ НИЧЕМ ДРУГ ДРУГУ НЕ ОБЯЗАНЫ,
КРОМЕ ЛЮБВИ»
(АП. ПАВЕЛ)*

Оренбург
2018

ББК
УДК

Антонова И.
А Не от мира сего. – Оренбург, ООО «Южный Урал»,
2018, 408 с.

ISBN

Эта книга о том, как самые обычные люди ищут Бога. И о том, как Бог выходит к людям, желающим найти Его. Когда они встречаются, происходит чудо в масштабах всего мироздания — преображение человека. А сумевшие ответить на эту встречу всей сущностью жизни становятся совершенно иными. Теми самыми «не от мира сего». У них меняется имя, меняется жизнь, меняется душа. Они принимают иночество, монашество.

В книгу включены рассказы о пути к общежительному житию сестёр монастыря, выросшего за год и три месяца на окраине небольшого южноуральского городка. Что тоже само по себе чудо. И хотя обитель молода, о ней знают в православном мире. Сюда приезжают люди, чтобы увидеть и ощутить живое воплощение слов о любви апостола Павла, ставших эпитафией. Жизнь монастыря и собирание сестёр — уникальный опыт, который будет интересен широкому кругу читателей.

Дай Бог, чтобы книга ободрила отчаявшихся, укрепила надежду надеющихся, позвала выйти на поиск Бога тех, кто уже ощущает в себе томление духовной жаждой. Она написана по благословению духовника монастыря — протоиерея Сергия Баранова, автора нескольких известных документальных фильмов, многочисленных брошюр и книги-проповеди «Путь к Свету».

ISBN

ББК
УДК

© Антонова И. 2018
© ООО «Южный Урал», 2018

У человека, чьё сердце натружено, походка не изящна. Голова опущена, глаза не зорки, колени скованы. Так ходят те, кто устал и запутался. Именно так продвигалась и я. По шагочку, через силу: маршрутка, метро, аэроэкспресс в Домодедово... Мне надо в Орск. А надо ли? Надумала себе спасительный маршрут, мало веря в его эффективность. Может ли кто-то утешить меня в скорби, успевшей прочно прорасти в сердце, крепко зацепиться за него и паразитировать на его вконец расслабленном пульсе.

Но очень уж хотелось увидеть матушку Ксению, игуменью орского Иверского монастыря. Честно скажу, не слухавлю, любопытство ещё подталкивало к неблизкой дороге. Татьяна Пашкова, одна из самых любимых мною актрис, талантливая, трепетная, теперь в монастыре, да ещё и игуменья. Какая она сейчас? Как вписалась в новую жизнь, монахиней не видела её ни разу. А ещё слух прошёл: духовник в монастыре — ну такой необыкновенный! Поговорю с ним, вдруг возьмёт да скажет мне особые слова, от которых захочется моей душе исцеления. В общем, всё перепутано, душа в мелких клочьях, чего хочу, зачем еду?

Несколько дней всего и пожила. А устыдилась уже назавтра. С вечера сестричка (кто? как её святое имя? все они, казалось, на одно лицо) с дороги напоила чайком.

Утром на службе легонько да тихонько тронула за плечо:

— Спали-то как?

— Хорошо спала.

— А я испереживалась! Чай вам вчера крепкий заварила, вот и думала всё — вдруг спать не будете!

Да уж... С чая и началось. На службе мне улыбались особой сестринской улыбкой, в которой, хоть под микроскопом ищи, а не обнаружишь дани этикету. Как зовут их, насельниц Иверского монастыря, я не знала, кто из них давно в постриге, кто недавно, тоже мне неизвестно. Но почему-то все они в одночасье стали родными. Больше скажу: я не воспринимала их по отдельности, они стали для меня одним единым организмом, наделённым такими подзабытыми уже достоинствами. Оказывается, всё, о чем читала, что пыталась безуспешно разглядеть вокруг, чего так не хватало — есть! Да ещё в избытке! Да ещё щедро произливается! Да ещё без всяких там значимых акцентов типа... да, мы такие, мы не то, что вы, несчастные, в вашем растрёпанном мире.

Меня накрыли лёгким полотном любви, сотканным из тонких ниточек ловкими и бережными руками насельниц. Каждая в отдельности ткала свой узор, а он каким-то невероятным образом превратился в узор общий, без узелков и случайных нитей, без доминирующих цветовых гамм, и стал узором сдержанным, гармоничным, узором истинной христианской любви.

Не скажу, что затаилась я под этим полотном и не высывалась. Я недоумевала и не могла поверить, что это так просто — любить. То и дело вертела головой по сторонам, пытаясь отыскать в свалившемся на меня бытии чёрточки знакомой и привычной несовершенной жизни. В глаза монахинь вглядывалась, щурилась, искала подвох. И — не находила. Меня опекали, берегли, обо мне заботились, а я

в своей маленькой расчудесной келейке позволяла себе не сдерживать заждавшихся выхода слёз. Сладких, благодарных, пробуждающих к жизни. Пыталась сформулировать переживаемое отцу Сергию, духовнику монастыря. Не получилось. Слова подбирались плохо, ведь они, слова, капризны, к ним нужен особый подход. Как писатель знаю это не понаслышке.

Видно, не пришло тогда время слов. Кто знает, может быть, мне надо было пережить ту сестринскую любовь именно как большое чувство, которое не хотело становиться формулировками и противилось потому. А тут книга. «Не от мира сего». И просьба написать к ней небольшое предисловие. Да с дорогой душой! Вот она и подоспела в срок, пора формулировок. Сколько же открытий подарила мне автор книги! В ножки ей кланяюсь. С чтения глав начался обратный процесс. Полотно общей сестринской любви заиграло каждой отдельной ниточкой. Сестра Гавриила, сестра Михаила...

Вот они, мои дорогие, мои заботливые, нежные, тактичные. С удивительными судьбами, промыслительными встречами, со своим особым миром, разным, но почему-то непременно трудным. Читала книгу, боялась что-то пропустить или не так понять. Судьбы, судьбы, судьбы... Те самые ниточки, из которых скроено и ладно сшито чёрное монашеское платье. Господи, сколько же Ты про нас всего знаешь! И как деликатно, осторожно подводишь к главному решению, не давая нам усомниться, что это решение — наше.

Уверена, книга «Не от мира сего» станет подарком многим. Полезным подарком, не безделицей. Кого-то она заставит поспешить, кого-то вглядеться в череду обстоятельств, кого-то испугаться собственной близорукости, кого-то укрепить в правильности выбранного пути.

Непростая задача стояла перед автором. Зарисовка — жанр

только на первый взгляд простой. Здесь важно не скатиться к однообразию, найти самые верные слова, калёным железом выжигать банальность. Ирина Антонова с этим справилась блестяще. Книга поможет правильно расставить акценты тому, для кого монашество — тайна за семью печатями, тому, кто грешит однозначностью в своём представлении об иноческой жизни. И тому, кто преклоняет колена перед непостижимостью этого Божьего пути.

У книги будет (я уверена) самый разный читатель. А это значит — потрудился автор достойно, хотя я, зная все нюансы писательской кухни, понимаю, как много потрачено сил. Но как же не тратить нам наши силы? Куда их беречь? Тратить! Только тратить. На доброе. На полезное. На то, от чего ближний или вздохнет с облегчением, или задумается, или прозреет. Написать с любовью о тех, кто творит любовь, как неусыпаемую Псалтирь читает, это ведь, без сомнения, богоугодный труд.

Вы ещё не читали книгу. Вам предстоит. А я вот сподобилась. Скоро и вы сподобитесь. И будет нас много, много...

*Наталья Сухина,
православный писатель*

Предисловие

Без Бога мы обычная глина. Лишь вещество и только. С Божьим дуновением становимся глиняным сосудом, живой формой с искрой внутри. За жизнь эта форма может так и остаться наполовину пустой, а искорку можно совсем завалить мусором грехов и практически пригасить. А можно наоборот: учиться собирать в себя Бога. По маленькой звёздочке, по мерцающей точке. Ведь если в итоге в сосуде загорится Божий огонь, то глина перестанет быть лишь веществом и сосудом. Превратится в источник света и тепла, способный раздвигать тьму и согревать собой в холода. Главным в нём станет содержимое — дух преображающий.

Этой книги о собирании Бога в человеческие души реальными людьми, которые знакомы мне лично, могло и не быть. Она написана за четыре месяца плотной работы по единственной причине — по послушанию моему духовному отцу, священнику Сергию Баранову. Теперь, когда книга готова, я благодарна ему за доверие и предложение. Орский Иверский монастырь, который и без того мной любим, за время работы стал ещё ближе и дороже, ведь теперь я знаю о жизни каждой из монахинь самое главное: жажду собирания огня, путь к Богу. А ещё к отцу Сергию. К своему духовнику.

Когда передо мной явились все шестнадцать судеб, вдруг пришло странное ощущение взгляда сверху. Будто стоишь над столом с огромной цветной картой. В центре её — точка с одним пунктом: монастырь. И к этой точке тянутся издалека реки жизней. От самых своих истоков. Тоненькие тропинки, берущие начало от первых лет детства, расширяются и тоже стремятся к центру карты. Теперь мне ведома история каждой реки и дороги. Все они вмещены в меня. Протекли и пролегли через сердце, проложили и там свои бороздки, оставили начер-

тания. Мне ощущалась их боль, как своя. Их радость обретения Света ликовала во мне. Но их откровения — доверие не моему лишь имени. Каждому, кто будет читать книгу, вручено оно лишь потому, что рассказы написаны не только и не столько о них, о самих сёстрах. Они о той самой встрече. О жажде истинной любви человека к Богу. И человека к человеку, что по сути своей есть дар, который может прийти лишь от Того, кто и есть Сама Любовь.

И вдруг увиделся промысел Божий. Открылось Его водительство. К концу написания книги становилось очевидным, что точка на карте — это то место, где Бог собрал людей, нуждающихся друг в друге для дел любви: ношения немощей, очищения помыслов, покаяния, совместного труда, глубины молитвы, евхаристического благодарения. Для достижения главной цели жизни — спасения от греха и «смерти» бессмертной души. Одному человеку всего этого трудно достичь. А в монашеском житии под руководством духовника и по послушанию закону всё той же любви — легче.

Могу с большой долей уверенности утверждать, что этот опыт общежительного жития в условиях современности можно назвать уникальным. Вряд ли в России и за рубежом можно именно теперь найти нечто подобное по условиям его формирования и собиранию желающих монашества. Ведь центр и причина иноческого сообщества, что живёт и существует на окраине южноуральского города, — это личность священника, а теперь ещё и духовного руководителя монастыря, протоиерея Сергия Баранова. Ведь монахини окормлялись им на протяжении нескольких лет обычной приходской жизни, работали рядом, были слушателями послелитургических бесед сообщества «Фиваида», первыми мирянами, начавшими совместное делание Иисусовой молитвой. Обо всём этом рассказано в последней главе книги, которая носит название «Отец Сергий».

Чтение вполне можно начать с неё, равно как и завершить ею, потому что именно он, отец Сергий, есть и начало, и причина, и средоточие физических и молитвенных трудов для рождения орского Иверского монастыря. Каждый из читателей сам может решить, с кем познакомиться в первую очередь. Автор вообще в очерёдности написания глав ничем особо не руководствовалась, кроме желания сердца и множества встреч с теми, о ком рассказывает. Они все мне одинаково дороги и интересны. Их судьбы — глубокий колодец, из которого можно ещё черпать и черпать смыслы и события. Здесь нет ни строчки художественного вымысла. Есть лишь желание и возможность испросить себе права на неотстранённый взгляд и заинтересованный слух.

Хотелось бы, чтобы каждый из читателей «заговорил» внутри себя с каждой из «героинь», чьё прошлое привело каждую из них к новому «рождению», к новому имени, к новой жизни. А приехать ко всем в эту точку пересечения судеб сможет каждый, кому захочется убедиться в существовании истинного дара любви, дух которой встретит гостя уже на пороге. А дальше начнётся таинство... сопричастия всему вокруг. И ничего более того добавлять нет смысла, разве что точный адрес:

Оренбургская область, город Орск, посёлок Тракторных Прицепов, проспект Западный, 20, Иверский монастырь.

МОНАХИНЯ ГАВРИИЛА

Когда увидишь её впервые, то подумается: именно так должны выглядеть лучшие няни на свете. Уж Арина Родионовна — точно! От неё веет, будто тёплым ветерком, уютом детства, деревенской простотой, абсолютно чистой наивностью. Рядом с ней немедленно хочется впасть в детство, уменьшиться, раскапризиться и требовать ночного баюканья, утешений от всхлипов, тихих добрых сказок шёпотом на ухо. А ещё теплое молоко из кружки и её мягких рук. Именно такие руки смахнут без назиданий глупую слезу, вовремя утрут ручей под ноздрей, омоют нехитрые ранки-царапинки, обмотают тряпицей разбитую коленку. В них хорошо уткнуться, замереть, ожидая утешительного скольжения по волосам: мол, не плачь, это горе — не горе. В общем, вся она... няня. Чего зря тратить слова? И этого ничем не спрячешь. Няня сквозит даже через смоль монашеского облачения.

Когда я сказала ей об этом, она смутилась:

— А я и была когда-то... няней.

Вот это да! словно специальный сосуд из глины, вылепил Мастер тело теперешней матери Гавриилы для особого труда, наполнил его Сам нужным именно для детства содержимым: отсутствием острых углов, контуром круга, очертившим границу тела, головы, лица, губ. Реакцией солнечной радости ото всего самого простого и доброго.

Глаза у неё тоже круглые. Как небольшие пуговицы на детской рубашке, вдавленные в овальные петельки век. Глубокие, внимательные. Ждущие от всех того же света, который она сама готова выплеснуть на любого встречного чудесной улыбкой неизбалованного кроткого ребёнка.

Начав рассказ о своей нехитрой жизни, мать Гавриила практически с первой фразы так горько и недоуменно заплакала

по своему материнскому роду, полностью уничтоженному властью в годы раскулачивания, что от неожиданности я тут же к ней присоединилась.

Были её родные людьми зажиточными и верующими. Потому под раскулачивание попали жёсткое, без всякой жалости. Вывезли их из плодородной Чувашии в чём и похватили осенними днями да ночами. Загнали в товарные вагоны, вытряхнув, как мусор, из крепких, нажитых дружным семейным трудом хозяйств. А потом повезли на верную смерть в сибирские леса, под Красноярск. Там, остановив в каком-то дальнем тупике набитые живым грузом деревянные ящики, вытряхнули на ранний таёжный снежок и уехали строить новую справедливую жизнь без учёта тех, кого посчитали малопригодными. Рассудив, видимо, так: выживут — выживут, а сгинут, так кто же спохватится о вражьем отродье?

Попробуйте теперь представить на миг, что ощутили люди, когда стих удаляющийся стук колёс...

Стало очевидным: тайга будет местом их беспомощной массовой гибели. С ними нет ни строительных инструментов, ни запасов еды, ни лекарств, ни тёплой зимней одежды, ни валенок. Всё это оставшееся далеко в пустых домах уже никогда не поможет, не спасёт, не вылечит, не согреет. Разве что новых владельцев? Их же удел — медленная смерть от холода и голода. Но мощный инстинкт жизни, заложенный в живых телах и токе крови, требовал жить. А сам подробный рассказ о том, как сохранялась и теплилась эта хрупкая жизнь в обречённых людях, лучше опустить, ибо он невероятен, скорбен и чудовищен по своей фантастической правде.

Тех, кто спасся, спас огонь, ветки кедрача и сосен, ножи, спрятанные в спешке сметливыми мужиками. А ещё со временем обнаружили хоженные тропы в округе и выяснилось, что в этом лесу есть те, кого вывезли раньше, и они даже успели

к зиме построить небольшие срубы, сложенные без единого гвоздя и промазанные по стыкам брёвен обычной грязью.

Так уж ведётся, что люди в горе начинают помогать друг другу: потому первомученики спешно велели новым мученикам рыть хотя бы землянки, собирать то, что осталось в тайге пригодного в пищу. Чувашские леса по густоте и растительности схожи с сибирскими, потому собирали всё, что мог пусть частично переварить желудок: мох с деревьев, подмороженные грибы и ягоды, листья трав, кору, шишки. Но смерть быстро явилась за первой добычей: начали простывать без жилья старики и дети. Сгорали в лихорадочном жару. Их и хоронили первыми, перемежив над могилами сучья в крестовину.

Из подростков в ту первую жуткую зиму выжила лишь небольшая часть. Среди них было пятеро из двенадцати детей, привезённых туда дедушкой и бабушкой теперешней монахини Гавриилы. Она начинает считать их и называть по именам, загибая пальцы. И это выходит так, что брат и четыре сестры остались тогда в живых. И это были самые старшие и самые крепкие. Среди них — её мама. Выжившие согревались в земляных своих норах кострами и тем, что обнимали друг друга телами, сбившись все вместе на ночь. Бодрствовали по очереди, поддерживая жадное до дров пламя. Практически постоянно собирали для топки всё пригодное по лесу.

Весна для живых принесла надежду. Появились первые травы, почки, оттаивали корни. Уходить куда-то было бессмысленно, и они остались жить здесь же, в тайге, рядом с дорогими могилами.

За лето чуть окрепли, задумались о строительстве и каком-никаком хозяйстве. На развод соседние поселения дали пару курочек. А позже завелась в скудном хозяйстве у родственников нашей героини и молодая тёлочка. Привыкшие к труду люди трудом выживали, обретали по крупницам самое

необходимое. Взрослые уходили на заготовку леса, разбивали скудные огороды. Думалось только об одном: заготовить побольше запасов, построить жильё к новой зиме. У людей к осени родилась была даже надежда на постепенное возрождение: ничего, Бог не оставит. По вечерам собирались где-нибудь поговорить. Поддержать друг друга, а главное — почитать Священное Писание, вывезенное с далёкой родины. Книги Евангелие и Библию берегли и прятали пуще всего. Вера не позволяла брать верх унынию или отчаянью. И всё бы ничего! Уж как есть! Но...

В один из дней приехали на машинах из Красноярска какие-то начальствующие люди с лицами суровыми и решительными, осмотрели домишки, начатки хозяйства и вновь под вой баб отобрали подчистую всё, что можно было увезти. Так потом были лишь похоронкам в войну, сбегаясь на звук горя друг ко другу. Но это второе «раскулачивание» породило панический страх, с которым уже не было сил справиться. Бабушка и дедушка решили со слезами: пусть хотя бы дети выбираются в город, в Красноярск. Хотя это полная неизвестность и всё же надежда, что как-то пристроятся на работу и смогут выжить. Здесь, в лесу, в новую зиму им будет гибель. Надежды на новое возрождение больше нет: они опять ни с чем под новую, страшную в их условиях зиму. И тогда оставшаяся в живых молодёжь уехала из тайги. С тяжёлым сердцем, с болью за оставшихся, с беспокойством неизвестности, ждущей впереди. А в лес вновь пришли смерть и голод.

В городе, если представить тоже, каково было пристроиться и прожить без документов? Но маме будущей монахини удалось наняться в дом с достатком и быть там домработницей. Прошло немалое время, пока ей поверили, её приняли и помогли выправить паспорт. Но как же трудно было одной! Потому хотелось своей жизни, своей семьи. И она вышла за-

муж в надежде, что у неё всё наладится, что можно будет даже помогать таёжным родным. И не знала мама монахини Гавриилы, что человек, с которым она связала судьбу в надежде на лучшее, был, как говорили тогда, из шпаны, промышлявшей воровством. Муж уходил по утрам будто бы на работу, возвращался вечером, иногда приносил деньги, был особенно весел. Однажды в их скромном жилище вдруг появился красивый ковёр, и его тут же повесили на стену. Расспросы мужа о его странной ненормированной работе обычно пресекались грубостью. Последнее приобретение, казалось, обещало будущий по тем меркам достаток.

Но очень скоро в вечерних сумерках застучали по дверям так, как не стучат гости или знакомые. Так колотят, когда хотят ворваться в дом с недобрыми намерениями. Молодой муж бросился к жене:

— Скажи, что это ты украла ковёр, тебе ничего не будет, ты ж беременная. А меня посадят — пропадёшь.

Раздумывать времени не было, она испугалась и взяла вину на себя. Так и оказалась в тюрьме: обманутая, оставленная один на один с чудовищной несправедливостью, с предательством, с родами в тюремной убогой больнице. Появилась там трудными родами темноволосая девочка, названная Верой. Ведь без веры выжить среди чуждого агрессивного мира было трудно.

Правда, держать с ребёнком её долго не стали, выпустили досрочно и отправили на поселение, откуда уехать никуда нельзя, и надо было как-то доживать определённый срок среди таких же поселенцев, которых присылали из разных тюрем, чтобы они жили как-то сами, работали и кормили себя. Оставшись одна, мама Веры теперь боялась кому-либо из людей поверить, но и жить одной с ребёнком стало невыносимо трудно. Среди жителей посёлка заметила всё же она одного мужчину. И он

её заметил. Нужно было решать, сходитьсь или нет. Было совсем непонятно, сложится ли что у них или вновь окажется, что её лишь использовали? Согласились сойтись и попробовать пожить вместе, и мама приняла нелёгкое решение отдать на время Веру в детдом. Мало ли что могло произойти? Но убедившись довольно скоро, что человек ей попался серьёзный, что он намерен иметь настоящую семью и жить честно, забрала Верочку. Потому был он для девочки всегда папой, а не просто отчимом, хотя правду она знала.

И действительно сложилась семья: ещё четверо детей потом за жизнь народились. Когда срок поселения вышел, но разрешения уезжать куда-то в город ещё не было, семья какое-то время кочевала по посёлкам, искала место получше для жилья. В одном посёлке была лишь начальная школа. В другой нужно было переезжать со временем, чтобы закончила Вера семилетку. А дальше учиться уже не было возможности. В одном из поселений, где тоже в основном жили разные ссыльные и выжившие из раскулаченных, Вера и была той самой няней. В одном из домов собирали маленьких ребятешек, потому что детского сада для детей врагов не планировалось, а работу никто не отменял. Юная девушка была вместо няни и воспитателя для собранных в кучу мальцов: кормила, утешала, рассказывала сказки, жалела, если ревели и скучали по мамкам. Были среди поселенцев и верующие люди. А поскольку от храмов ничего не осталось, собирались где-нибудь в доме и слушали Евангелие, говорили о Христе. И очень эти речи нравились юной Вере. Слова о Боге согревали, от этих бесед оставалась радость внутри. А чему ещё можно было там так чисто и светло радоваться?

Как только выпала возможность уехать из сурового и неласкового для них сибирского края, они уехали к родственникам по линии отчима. Это оказались южные степи Урала, промыш-

ленный городок Орск. Вере очень хотелось учиться, закончить десятилетку, но семья бедствовала, пришлось устраиваться на работу на Южно-Уральский механический завод. Ей исполнилось тогда восемнадцать, потому в цех её взяли, и при заводе она закончила вечернюю школу, все десять классов. Дальше пока она учиться не могла. На заводе была стабильная зарплата. И Вера работала, радуясь, что может отдавать её родным, помогая получать образование подраставшим братьям и сёстрам.

— Все они выучились, получили хорошее образование, — говорит со светлой грустью мать Гавриила. — Одна я осталась вот таким вот неучем полуграмотным, только школу и осилила.

За этими смущёнными словами нет глубокой горечи или даже лёгкого оттенка зависти. Говорит об этом мать Гавриила просто и светло. Вся её простая жизнь — жизнь в нелёгком постоянном труде, пронзительная скромность, восходящая к неосознанному самоотречению, служению ближним, и уверенность в том, что сама она большего и не достойна.

Потому и заметил её Господь задолго до самостоятельного и осмысленного пути в монашество. Потому порой и являл ей духовный мир сокровенные особые знаки, к осознанию которых она придёт гораздо позже, чтобы прославить промыслительного Бога нашего.

Но об этом будет рассказано чуть позже. А пока...

Пока, работая на ЮУМЗе, жила Вера в общежитии, но часто ездила к родителям: скучала, хотела увидеть младших. Мама с папой тогда устроились сторожами в загородном лагере. Там сажали небольшой огород, потому требовалась её помощь. Вполне вероятно, я могла видеть и её родителей да и саму Веру в дни летней педагогической практики от института в том самом пионерском лагере с названием «Солнечный». В восьмидесятых годах. Не исключая того, что могла её встретить на дороге, ведущей к лагерю.

Именно на ней однажды летом произошло с Верой удивительное событие, видимым образом явившее к ней тихую и благую милость Божию в те абсолютно безбожные, так называемые застойные тихие годы.

А было вот как... В то утро пал на степные поля такой туман, что в трёх шагах ничего не было видно. Она как раз гостила у родителей. Но надо на работу, и три километра степной дороги до остановки никто не отменял. Её вышел немного проводить папа, вывел до дороги, ведущей в направлении остановки. Дальше она должна была шагать сама.

Виднелся под ногами лишь степной суглинок. Даже трава вдоль наезженной машинами полосы таяла и терялась из виду. Было жутковато двигаться сквозь клубящееся туманное молоко, она боялась сбиться и интуитивно начала просить помощи, всё время повторяя знакомое ей с детства обращение:

— Господи, помоги. Господи, помоги...

В какой-то момент остановилась, чтобы перевести дух, и вдруг ощутила, что вокруг происходит какое-то странное явление. Плотный туман стал ещё плотнее, потом словно бы разделился сам собой, образовав по бокам дороги четкие границы, похожие на белый проём коридора. Он был будто прорезан ножом в пределах десяти-двенадцати шагов ровно по границе дороги. Точно посреди коридора стояла она, и, когда двигалась вперёд, «коридор» вёл её сам. Стало спокойно, страх ушёл, и появилось странное ощущение, что иным каким-то стало её зрение. Чёткость и резкость увеличились до такой степени, что одновременно виделись под ногами и в пределах тех коридорных шагов и каждый мелкий камешек, и каждая трещинка, и бугорок, и даже каждая пылинка. Всё это само являло себя, подсвечивалось неким тёплым, будто живым, странным светом и проступало, как чёткий кадр на плёнке при проявлении фотографии, когда можно запечатлеть мгновение и потом рассмотреть его в деталях.

Расступившийся туман довёл её тогда до самой остановки. На душе осталась благодарная радость и светлое удивление. Конечно, слушая её, и я припомнила, как самой приходилось несколько раз ходить именно по этой дороге до лагеря. И разве можно было предположить по прошествии стольких лет, практически целой жизни, что именно этот отрезок дороги всплывёт из прошлого в связи с одной из орских монахинь, матью Гавриилой?

А с этой дорогой связан был у тогдашней Веры ещё один духовный опыт, когда пришлось ей возвращаться однажды в лагерь уже после захода солнца. Быстро стемнело. Но дорога была знакомой. Позади сияла полоса городских огней, где-то впереди вскоре должен был показаться лагерь. Но на сердце всплыло сначала странное беспокойство, а потом она ощутила холодный страх. Он был живым, находился прямо за спиной, двигался за ней и смотрел в спину невидимыми глазами. Она ощущала присутствие кого-то недоброго и злорадного. В этом страхе она оглянулась в очередной раз и вдруг поняла, что никаких огней нигде нет и совсем не известно, в какую сторону двигаться. Дороги под ногами давно не было. А страх в невидимом облике недоброй силы уже стоял рядом. И за спиной, и перед ней. Словно раздвоился и закольцевал её, заведя в какое-то странное место. Она больше не знала, куда двигаться, и явно заблудилась в кромешной тьме. Потерялись границы времени. Абсолютно. Двигаясь по несколько шагов то в одну, то в другую сторону, ни на минуту не сомневаясь, что она здесь не одна, начала отчаиваться. И снова зашептала, взмолилась. Сейчас даже не помнит кому. Но произошло удивительное. Границы страха вдруг резко отодвинулись, в душу пришло тихое утешение и уверенность, что всё будет хорошо. Она вновь просто физически ощутила, как кто-то невидимый, но очень добрый и бережный развернул её в другом направлении и повёл к тогдашнему дому.

Эти касания она помнит до сих пор. И даже показала на мне, как они ощущались. Будто тёплые невидимые руки вели её за плечи и довели прямо до лагеря. Там уже волновались, ведь телефонов, которые теперь найдут тебя везде, не было. Выяснилось, что уже почти два часа ночи и её путь был длиной в несколько часов.

Мать Гавриила не сразу рассказывала о себе какие-то сокровенные моменты жизни. Она очень скромна по природе, считает, что совсем не умеет говорить. Хотя это неправда. Просто она до сих пор так по-детски искренно переживает всё, о чём мною узнаётся постепенно. Я понимаю, что это волнение не позволяет ей подбирать слова. В последнюю нашу встречу она решила внутри души на что-то, о чём вряд ли кому поведала, кроме своей Галоньки, теперешней матери Михайлы. И своей маме Саше, о которой читатель узнает в следующей главе. А дело вот в чём...

Ещё в своём детстве, приезжая в Свердловск к родственникам отчима, познакомилась она с одним мальчишкой. Звали его Алексей. И как-то завязалась между ними долгая хорошая дружба. Лёша опекал её, они вместе гуляли, рассказывали друг другу разные истории. Эта дружба длилась до их юности, и постепенно они осознали, что могли бы и дальше идти по жизни вместе, ведь между ними было главное — понимание и бережная сердечность. О любви говорить тогда стеснялись. Но вот ведь как не усмотреть Божий промысел над тогдашней юной девушкой Верой, если вдруг случилось непредвиденное: Алексей попал с компанией молодых ребят в драку. Какие отношения тогда выяснились, теперь неважно, но драка была жестокая и закончилась смертью одного из противников. Ребят посадили на большой срок по групповой статье.

Вера даже не сомневалась тогда, что будет ждать Алексея. И за годы их переписки у неё скопилась большая пачка писем,

которые она перечитывала и берегла. Оба они открылись, что любят друг друга, о многом договорились. Оставалось дожидаться долгожданного самого — встречи.

И Вера бы дождалась в том душевном расположении, в каком и находилась всё это время, если бы Бог не усмотрел для неё иного пути. Не выбрал в свои невесты эту чистую, скромную девушку. Она сама о том и не знала. Ещё ждала любви земной. А Он хотел подарить ей любовь небесную, ангельскую. И для этого нужно было Вере заболеть, попасть на лечение в больницу. Да ещё и в ту самую палату, где дальнейшие события её жизни начали новый отсчёт. Ведь она непременно должна была познакомиться там с другой девушкой, Галей. А после выписки по приглашению попасть в дом, где жила её новая подруга. И вот именно там встретить... Бога. В лице мудрой чудесной женщины. Их мамы Саши, подарившей им обеим истинную веру, приведшую их обоих в монастырь.

Когда Веронька стала приходить к Гале, мама Саша, которую так и звали они впоследствии, начала говорить с ними не о чём-то житейском, а о Христе. О Боге. И вера её была такая сильная и живая, что сердца девушек ожидали разговоров этих больше, чем чего бы то ни было. Таких встреч было не так много, и это особо удивительно! Уже на третий раз их долгого разговора мама Саша спросила, есть ли у Вероньки жених? Ответ был положительный. Узнала мама Саша и о том, собирается ли девушка выходить замуж. Ответ тоже прозвучал утвердительный. А потом мама Саша сказала удивительную фразу о том, что здесь, на земле, люди ищут любовь обычную, земную. Но есть любовь иная, о которой знают вовсе не многие. И открывается она лишь тогда, если человек возжелает этой любви, захочет просить её у Бога, отринет всё, что мешает ощущению полноты этой любви. И сердце человека и Христа соединятся в едином желании. Это не объяснить никакой

теорией. К такой любви должно свободно рвануться сердце. И если оно ощутит хоть на мгновение силу Божией любви, то не устоять человеку в иных каких-то желаниях. Он просто станет принадлежать Христу, а все иные принадлежности... окажутся несоизмеримыми. Потому что в руках у человека будет отныне самая крупная жемчужина, ради которой весь бисер, хоть и останется драгоценным, но вовсе не равноценным.

Как могла неграмотная по светским меркам женщина найти слова, перевернувшие душу Вероньки, остаётся загадкой. Сама монахиня Гавриила говорит, что именно тогда внутри неё появилось твёрдое уверение: через маму Сашу с ней обо всём говорил Сам Христос. Она ощутила Его. Она услышала Его. Она ответила Ему сначала в глубине своего сердца. И именно в этот вечер поняла, что не сможет теперь стать для Алексея той, о которой он мечтает: женой и матерью его детей. И более того, — подумалось впервые, что она могла бы стать монахиней, чтобы отдать Богу всю душу и помыслы.

Но как сказать об этом жениху? Он уже готовился выйти на свободу. И вскоре написал, что выезжает в Орск. В этом городе по странным обстоятельствам теперь жила его мама. Он приедет к ней, и, конечно, главной причиной спешки была она, Веронька.

Сказать, что она очень переживала, это ничего не сказать. Буря эмоций перемещалась внутри. И тут не сердце спорило с разумом. Тут было иное: сердце внутри себя говорило с собой. Сомнений лично у неё не было. Как ни странно! Она боялась за Алёшу, боялась разрушить его надежды. Ведь он жил ими все долгие годы, стремился к этому дню, они оба говорили друг другу о том, что будут вместе. Тогда она ещё не умела в полной мере положиться на волю Божию. Осознанно. Спокойно. Сердце трепетало и пугалось именно за молодого человека. Но Господь, слышавший её порыв, Сам располагает всё к лучшему. И если бы

Вере лучше было для спасения выйти замуж, Он не препятствовал бы этому. Но, видимо, нет. И случилось следующее...

Они встретились тогда. Много говорили. Он рассказывал о себе: как нелегко было жить столько лет в несвободе, как дорого там, если кто-то поддерживает, пишет, приезжает. И тут Вера решилась. Она начала говорить ему о том, что с ней произошло что-то удивительное и необъяснимое. Сказала, что Сам Живой Бог ощутился ей и предложил выбор: земная жизнь или жизнь в возрастании духа, познании Христова учения? То есть совсем иная жизнь. Когда же Алексей спросил о выборе, то сделал это лишь в подтверждение ошутимого ответа. По её рассказу он уже понял, что невеста выбрала не его. Странно, но огорчение его хоть и было видно, но не казалось для него фатальным. В ответ на её откровение он тоже не захотел скрывать факта, поставившего между ними окончательную точку. Сказал, что тогда женится на девушке, которая любила его и приезжала к нему в колонию. Была на свидании. Он открыл ей правду. Может быть, на волне огорчения. Может быть... Но Вера тогда, ответив ему, чтобы к этой девушке он и возвращался, ушла выплакать себя в одиночестве. А ещё чтобы подумать в который раз и усмотреть в новом открывшемся факте правильность своего выбора. Выбора между любовью к Богу и любовью к человеку.

Удивительно, чудесно, невероятно случаются порой события в нашей жизни! Бог никогда не оставит человека в одиночестве, если тот сделает выбор и отправится с земного пути к путям небесным. И обязательно разрешит все узлы и противоречия. Самым добрым способом. Каким-то в высшей степени... человеческим. Хотя и Божественным!

Знаете, а ведь через пятнадцать лет они с Алёшей ещё раз встретились. Он был у неё в гостях. С женой. С той самой девушкой, которая стала женой. И с двумя сыновьями. И они

все вместе пили чай. И говорили о разном. А потом оставил Алексей двух женщин одних, и они общались друг с другом спокойно, с добрым пониманием. По-русски. Женщина открыла Вере, что неизлечимо больна. Что осталось ей вовсе не много ходить и дышать на этой земле. Что она хотела сказать этим, пусть останется тайной. Но после смерти её Алексей не просил ни о чём Вероньку. Он хорошо знал: если она решила служить Богу, с пути своего не свернёт.

Долго Вера всё же хранила письма с их общей надеждой. Но каким-то днём, решив, что пора забыть о прошлом, сожгла все конверты, бывшие когда-то для неё драгоценными.

И вот мама Саша, Галонька и Бог стали с осознанной юности её семьёй. Кроме Гали у Веры не водилось иных подруг. Она не ходила на танцы, не искала развлечений. Хотела бы поступить на медсестру, но вечернее отделение так и не открыли тогда, а учиться на дневном и не работать она не могла, помня, что её денег ждут родители. Потому работа была главным в её скромной жизни. Хотя её душа томилась о Духе, когда вокруг все жили лишь трудовыми буднями и светскими праздниками. И она даже перешла работать на Орский хлебокомбинат, потому что там больше платили.

Ей и самой странно теперь: неужели так бы и шла её жизнь, если бы не та встреча с Галей? Когда Бог дал ей единственную подругу, а практически сестру, с которой уже не расставалась никогда с того момента, как переехала к ней в дом насовсем. Поверив в то, что может быть на земле любовь между двумя душами, не ищущая своего, а отдающая всю себя для другой души. И ещё если бы не встреча с духовной матерью, о которой много есть что сказать. Но это уже совсем иная история, как принято говорить теперь. Хотя вряд ли иная...

Это чтобы понятно стало в ней всё дальнейшее, будет теперь рассказ ещё об одной сестре орского монастыря, матери Ми-

хаиле, вместе с которой и приняли они монашеский постриг, соединясь духовным родством для непреходящей вечности и служения Богу, Который и связал их друг с другом в той самой больнице.

О них странно даже писать по отдельности. Они практически единое целое. Но сначала всё же рассказ о матери Михаиле. Чтобы потом слить две речки любви в один океан...

МОНАХИНЯ МИХАИЛА

Когда я впервые взглянула в её глаза, подумалось: именно такие глаза должны быть у всех на свете сестёр милосердия. Особенно в години больших и малых войн. Кто бы при этом с кем ни бился. Ведь война — это всегда чудовищная несправедливость по отношению к любой жизни человека, попавшего в её поле. А ещё хрупкость этой самой жизни, сопряжённая с непременным нравственным и физическим страданием. А ещё это боль, кровь и смерть солдат, первое право которых — умереть, не пожалеть себя ради других. И именно такие глаза, как у матери Михайлы, должны смотреть с неподдельной глубокой любовью в расширенные от боли зрачки страдающих ранами. Такие руки — пеленать в бинты изуродованные части тела, промывать раны. Прохладные пальцы — касаться горячих лбов, подносить стакан к пересохшим губам, а ещё... ещё опускать веки тех, кто перестал дышать и изнемог от увечий.

Её глаза овальные, темные, как крупные оливы. Они смотрят с ожиданием и участием, будто ищут возможности для незамедлительного проявления любой помощи. От самой малой до великой. И можно не сомневаться, что она будет исполнена с душевным теплом, мерцающим изнутри сквозь эти глаза. По одному внутреннему порыву. Без словесного прошения.

Когда, записывая историю её жизни, я услышала признание, что она думала в юности связать свою профессию с медицинской, то внутренне обрадовалась: вот это да! Оказывается, у нас многое написано на лице. Не зря же есть такая психологическая отрасль в изучении человека, правда, с немного смешным названием «физиогномика». Это когда по чертам лица и форме глаз можно определить склонность, скрытую тягу к виду деятельности, где можно принести наибольшую пользу и ощутить отдачу.

Но участие в чужом страдании — удел далеко не каждого. Чтобы глубоко ощущать боль другого, нужно самому пройти путём преодоления боли. И выяснилось следующее: когда-то в детстве, в шесть годочков, у Галочки, а именно такое имя носила до монашества мать Михаила, случилась довольно тяжёлая травма бедренной кости. Но девочка странным образом не открывала никому своей боли, не жаловалась, терпеливо сносила не утихающие даже на время муки, прятала багровую опухоль, расходившуюся с каждым днём в стороны.

Обнаружилось всё в обычный субботний день, когда мама тщательно тёрла её мочалкой в общественной бане. Здесь Галя просто не выдержала и вскрикнула. Смыв текущую по телу пену, мама с ужасом обнаружила вздутую плотную подушку под кожей сустава, потемневшую уже до опасной синюшности. Нужно было немедленно ехать в больницу. Но она в городе, а жила семья в маленьком пригородном посёлке недалеко от Орска.

...Так уж судьба свела её родителей: мама из Пензы, папа из Чернигова, а попали перед самой войной на Урал.

Папиных родственников, украинских евреев, расстреляли немцы, как только вошли в город и составили списки. Каким-то образом удалось вывезти нескольких детей и подростков перед самой оккупацией. Так папа Гали и ещё один единственный его двоюродный брат остались живы. После

выяснилось, что действительно никого больше не осталось. А по мужскому их роду были интеллигентные люди: врачи, учителя. Но все были расстреляны. Все: мужчины, женщины, старики. Потому у мальчика-сироты не оказалось возможности получить образование, хотя был он очень способным.

Мама у Гали пензенская. В семье её родителей появлялись на свет шестнадцать детей, но выжили из них лишь восемь. Она — последняя. И все они остались рано сиротами. Младшей было восемь месяцев. Отец привёл в дом женщину, у которой своих было две девочки. И стоит только задуматься: что такое в селе десять детей? Ответ придёт сам: это нищета и голод. Так и росли разутые, раздетые, для мачехи лишние рты и обуза. Это рассказывала Гале впоследствии её духовная мать, родная сестра её мамы, мама Саша. Об этой удивительной женщине можно и нужно бы написать отдельную главу, а то и книгу: так невероятна её судьба. Но это как Бог даст, а пока...

Папа Гали сирота и мама сирота. Так встретились, познакомились и сошлись. Отец не возгнушался тем, что жена была совершенно неграмотной, в школу никогда так и не попала. Жили тоже трудно, очень бедно. Хотя не без любви. Всего добивались сами, никто не помогал. Папа, если и был сначала пастухом, но сумел со временем подняться. Мама всегда так и стеснялась своей безграмотности, даже расписаться не могла и потому всё время внутренне вопрошала куда-то:

— Как же я буду жить? Ничего я не знаю, ничему не училась.

Но однажды странным образом услышала тихий, очень красивый и нежный голос, который принёс тёплый покой в душу. И с тех пор она перестала сокрушаться. А сказано ей было так кем-то добрым и невидимым:

— Не скорби, раба, не пропадёшь...

Так и вышло по жизни — не пропала. Две девочки у них со временем появились. Очень ждали третьим ребёнком мальчи-

ка, а родилась вновь... девочка. Огорчение родители не скрывали. Долго кручинились. Отец — человек добрый, спокойный, покладистый, никогда не обижал ни дочерей, ни маму. Но Галя всё же ощущала свою нежеланность и глубокую степень неспрятанной досады родителей. Видно, были какие-то особые надежды на мальчика. И оттого подрастающая нежданная девочка будто в чём себя ощущала виноватой. Была молчаливой и терпеливой, внимания к себе не требовала.

Когда пришлось отвезти её в больницу с травмой ноги, начался её долгий и мучительный путь к выздоровлению. Операций было слишком много. Всё пытались ногу спасти, но и малых улучшений не было. Девочка таяла на глазах. Постоянный общий наркоз, поражение от него нервной системы, практическое отравление организма и жизнь в больнице утомляли, отнимали силы. Она почти всегда находилась вне дома, училась урывками между операциями. А нога не лечилась. Становилось хуже и хуже. Организм за долгие шесть лет терял силы, изнашивался от лекарств и новых попыток врачей спасти ногу.

Она сносила всё терпеливо. Никогда не просила врачей об облегчении боли, родителей — о том, чтобы жалели и утешали. Да и приезжать в больницу часто они не могли: на маме хозяйство, корова, а ещё она работала в сельском клубе. Папа всё время занят в совхозе на должности управляющего. Его практически никогда не было дома.

Она хорошо помнит тот момент, когда однажды начала молиться почему-то именно вот так:

— Боженька, прошу тебя, спаси мне ножку мою.

Боженька тогда не был для неё осознаваемым Богом, да и само слово «боженька» было обращено к какому-то собственным воображением созданному символу добра, которого ей так не хватало. А ещё она просила об этом именно её, Божью Матушку. Откуда? Как? Где могла услышать она это ласковое имя Богоро-

дицы? О Боге ей никто в то время не говорил. О Нём даже не слышали. Церкви в селе и в помине не было. Но коротенькая молитовка родилась сама. Это был единственный её порыв-просьба о помощи. Просьба не к людям, а к духовному миру.

Врачи устали бороться без результата. Попросили маму забрать девочку на время, пока хирург уходил в отпуск, а позже привезти Галю для самой сложной, но необходимой по всем показаниям операции — полной ампутации ноги. До бедра. Потому что разрушалась именно тазобедренная кость. Ногу она уже таскала волоком. Передвигалась с трудом. От поездок между операциями в город на перевязки вымотались родители. Все вокруг устали.

Но как-то «случайно» маме одна из знакомых сказала, увидев, как с трудом двигается девочка, что они обратились не в ту больницу. Нужно непременно ехать в туберкулёзную. Была в Орске именно такая. И даже назвала имя известного одного доктора. Только нужно было попросить направление у прежнего врача из прежней больницы, куда её когда-то привезла мама. И ещё добавила сердобольная женщина одну очень нужную для девочки фразу, потому что сама страдала от болезни ног:

— Не давайте ей делать ампутацию. Как она будет жить? Она же девочка.

Это было словно провидение. Иначе у Галочки была бы совсем иная жизнь и иная история.

Направление прежний врач почему-то не дал. Поди определи теперь причину. Сказал так:

— Я лечить начинал, я и заканчивать буду.

А конец был известен. И родители решили попробовать без направления. Нашли и больницу, и того названного доктора. Перед походом туда отец научил маму, чтобы она не отступала в случае отказа, а попыталась уговорить врача, пообещав, что в долгу они не останутся.

Когда на приёме в кабинете выяснилось, что пациентка без направления, врач отказался её осматривать. И тогда они обе заплакали. Галя от страха, что ей всё же отрежут ногу. А мама... мама просто от отчаянья, хотя сквозь слёзы всё же произнесла то, чему учил муж. И неизвестно, то ли плач тогда, то ли обещание изменили вдруг ситуацию. Скорее всего, и то и другое. Доктор согласился взяться за лечение. Но для начала выписал путёвку в санаторий, чтобы девочка просто окрепла и хоть немного поправилась от болезненной прозрачной худобы.

Когда они приехали в область на комиссию, там поразились, как девочка с такой «сложной ногой», практически не ходящая, будет находиться в санатории? Ведь за ней необходим особый уход. И, как говорит уже сама мать Михаила, видимо, по милости Божией вдруг дали ей направление не куда-нибудь, а в военный госпиталь инвалидов Отечественной войны. Папа привёз её туда и оставил на лечение, которое продлилось семь долгих месяцев. К этому времени Гале исполнилось тринадцать годочков.

Лежала она в детском отделении, была среди других ребятшек одна такая, «неходячая». И по какому-то странному обстоятельству, понять и объяснить которое теперь мать Михаила может лишь вновь как милость Божию, промыслительную, и никак иначе, было с ней так...

Всех детей в палате курировал и лечил другой врач, мужчина. Он приходил в палату, осматривал пациентов, а к ней вдруг пришла высокая женщина-военврач, Ольга Владимировна Гусева. Она никогда не забывала с тех пор и не могла забыть эти имя, фамилию и отчество. Да и саму её, добрую спасительницу, помнит до сих пор в своих молитвах. Поразило Галочку в ней особо, что была она удивительно тёплой в общении, ласковой, осторожной в движениях, не причиняющих боли при осмотрах. Галя всегда ждала её прихода по утрам, и

думалось ей почему-то, что вот такой, именно такой добрый и нежный, должен быть сам Бог, если Он существует. И называла женщина Галочку так, как никто и никогда не называл доселе другой — деточкой. И всё ей, как понимающей взрослой, рассказала: что будет операция, а потом — три тяжких месяца в гипсе. И вдруг сказала удивительные слова, желаннее которых у нашей героини вот уже шесть лет как не было:

— И побежит тогда моя деточка. И ножку мы твою обязательно сохраним.

Как ей было не поверить? Как её не любить? Но организм так слаб, что его нужно было поддерживать, подкармливать. Для того существовал в медицинском арсенале тот самый рыбий жир. Кого поили — тот знает! И вот... Дотошные медсёстры отыскивали её по палатам, куда бы она ни спряталась, и заставляли проглотить скользкий и вонючий витамин, единственно доступный и действенный по тем временам.

Операция прошла по плану. А ухаживать стала за ней приходиться в изолятор, так тогда называлась теперешняя реанимация, одна женщина. Как выяснилось вскоре — зубной врач. И смотрела она на Галю как-то особенно. Особенными глазами, как смотрят на родных. Она сидела у её кровати в первые часы, вглядываясь в бледное заострённое личико, выдавливая в маленькую ложечку невесть откуда взявшийся мандарин и вливая по капельке сок в пересохшие губы. Как-то она, поглядев на Галю пристально, произнесла:

— А ты ведь теперь и моя дочка. Когда шла операция, мою живую тёплую кровь напрямую переливали тебе.

Когда сняли гипс, ходить она сама, конечно, не смогла, попросила у бабушки из палаты клюшечку. Сама спустилась во двор. И... Галю потом долго не могли найти. Она взялась ходить по двору, заглядывать во все закоулки, ликовала, что, наконец, передвигается, осторожно опираясь на свою пусть и

слабую, но уже служащую ей ногу. Появились уверенность и надежда, что пойдёт на поправку. И хотя потом долгие годы ей по настоянию врачей нужно было пить различные препараты, чтобы не возобновился процесс разрушения кости, ногу всё же военврач Ольга Владимировна Гусева ей по-настоящему спасла. Как было бы, не случись вовремя этой встречи? Мать Михаила с теплотой добавляет:

— Я ей так благодарна — не передать. И всем врачам. Безмерно.

Домой она вернулась вытянувшаяся, худющая, с синеватыми кругами под глазами. Мама вздыхала, глядя на неё, иногда даже вырывалось:

— Господи, какая же ты у нас некрасивая да нескладная.

И Галя сначала вглядывалась в зеркало, а потом частенько бежала за сарай, в укромное место на брёвнышках, и плакала, вновь устремляя свои вопросы о неказистой внешности не кому-нибудь, а Боженьке. А ещё горевала, что никого в этой своей маленькой жизни не радует, а причиняет лишь неудобства и лишние заботы, обременяя собой родителей. Для чего родилась? Хотелось хоть кому-то рассказать о своих горьких думах, пожаловаться, получить утешение. Но слушали её только Бог да Божья Матушка. Хотя она тогда и не знала об этом. Просто рассказывала им о своём. Ни упрёков к близким, ни обид у неё никогда не было. Что есть, то и есть. Детское сердце научилось смиряться, потому что истинное смирение считает лишь себя во всём виноватым. Думала так и Галя, ни о чём евангельском в ту безбожную пору совсем не зная. Она и переживала почему-то вовсе не о себе. Ей было жаль маму, которая вынуждена столько лет мучиться с её болезнью. Часто за сараем она и горевала именно об этом, вспоминая, что мама так рано осталась сироткой, росла без материнской любви и ласки. И жаль ей было, что сердце мамино, не впитавшее в себя

любовь, любви из себя отдать не могло. Хотя мама очень тепло относилась к средней сестре, Любе, которая и Галочке казалась очень красивой и умной. А себя она вовсе не находила за что любить. Потому и обиды как таковой не было.

— Я благодарна лишь Богу за это, — словно сама удивляется мать Михаила, — что не было во мне на самом деле никаких для себя ожиданий.

Хотелось ей пойти в медицину. Очень. Лечить, выхаживать людей. Всех, кому бывает больно. Словно ей самой нужно было отдать нечто от себя за то, что она движется на своих ногах, а не сидит инвалидом дома и даром ест хлеб. Она и экзамены в Орск поехала сдавать в медицинское училище, да по конкурсу не прошла. И снова мать Михаила говорит:

— Может, и хорошо, что не получилось тогда. Мне ведь до слёз всегда всех жалко было. Я слезомойка. Как бы на всё смотрела? Не смогла бы лечить. Там ведь мужество надо иметь.

Мужество... Мужество, конечно. Да более всего больным и страждущим нужны утешение и сострадание, тёплая вера в силы больного, полная отдача сердечного участия и взгляд... Непременно такой взгляд влажными большими оливоми, как у матери Михайлы. Но иной путь вышел у неё, и иной тропинкой повёл до времени Бог девушку Галю.

Две старшие сестры уже учились в городе, нужно было оплачивать жильё, и отец сказал, что троих он, пожалуй, не потянет. Пора Гале подумать о работе. Специальности не было. Училась она урывками. В том самом совхозе «Строитель», где они тогда жили, работу именно для неё найти было непросто. Ногу ещё долго необходимо беречь, быть осторожной. Здоровье слабое, шаткое.

Но недорогие и быстрые курсы телеграфистки в том же Орске родители ей оплатили. Она закончила их на «отлично», но папа не хотел отпускать на работу в Адамовский аэропорт,

куда пришла заявка. И можно было ехать. Всё же устроил её в свой совхоз на должность машинистки, чему она научилась тоже быстро, за три месяца. Проработала она в совхозе год, выполняя разные поручения, но так хотелось учиться дальше, ведь за плечами — лишь восьмилетка. Хотелось в город. Была какая-то странная тяга внутри. Неосознанный зов. Словно что-то ждало её там. Или кто-то неслышимо влёт к себе. Там и случились в её жизни, пожалуй, главные встречи. А начались они так...

Жила в Орске старшая сестра мамы, тётя Шура. Александра. Жила тихо, никому не докучала, никого не обижала. В храм ходила, когда болезнь позволяла. Молилась за родных невидимо. Грамоты в ней тоже почти никакой не было, достало только писать да читать, чему она несказанно была благодарна, ибо этого вполне хватило для богатого духовного пути, незаметного возрастания и укрепления в вере, по тем временам весьма редкостной. Переписывала молитвы, читала книжечки, молилась, вспоминала трудную и невероятную свою судьбу. Жила с некой духовной сестрой, которую в своё время выгнали из дома родные за веру, с Полиной. Семнадцать с половиной лет они были вместе, но Полина заболела и умерла. Тётя Саша тосковала по ней очень. Осталась одна. И у Гали возникла мысль, что она могла бы жить с тётей Сашей, чтобы той не было одиноко.

И как-то в один вечер по телевизору объявление — нужна в телецентр машинистка. Мама согласилась отпустить Галю в город, чтобы лучше узнать всё про объявление. Втайне от папы договорились с одним работником из совхоза, который ездил в город за опилками, чтобы он и отвёз, и забрал её назад.

Был у Гали единственный выходной костюмчик, простой, голубенький. В нём она и пришла в студию для собеседования. Оказалась двенадцатой по счёту, самой последней. Когда оглядела других девушек, сжалась от безнадёжного осознания:

разве её могут взять? Эвон, какие девушки! В нарядах ярких да в брюках! А она — замарашка меж ними. Куда ей до них?

Мама сказала накануне: загадай-ка сон. И вот увидела Галя во сне город, и она летает легко над ним, парит. И так хорошо ей, так вольно. С той радостью и проснулась.

— Неплохой сон, — сказала мама. И как-то странно легко, без возражений и размышлений вслух отпустила её в тот день по этому объявлению.

Из тех двенадцати человек тогда директор телецентра на работу выбрал именно её. Вызывал каждую, с каждой беседовал, задавал вопросы. И до сих пор ей непонятно: почему выбранной оказалась именно она? Среди ожидающих в коридоре она сидела, наверное, одна совершенно спокойно. Сама за себя заранее решила: не достойна и нечего надеяться.

— Вы из совхоза. Вам же общежитие нужно будет, если мы вас возьмём? — спросил директор.

Даже не размышляя, Галя ответила тогда:

— А у меня тут тётя есть, можно жить у неё.

Дальше она плохо понимала, что, собственно, произошло.

— Мы вас берём, — сказал директор. — Можете хоть завтра выходить на работу.

Её ответ был удивительным для начальника:

— Я? Сюда? На работу? Не может быть. Это невозможно...

— Ведь ничем я тогда не взяла: ни грамотностью, ни внешностью, ни одеянием. Абсолютно ничем, — добавляет она и теперь.

Чудо считает явленным от Господа. Это был Его дар за долгие годы терпения и смиренного приятия испытаний и событий. Его о ней попечение.

И поехала Галя к тёте Шуре. Мама собрала дома матрас, бельё нехитрое постельное, муку насыпала в наволочку. С этой наволочкой в руках она и появилась перед родственницей.

Без предупреждения. Когда та открыла двери, радостно сияя глазами, сообщила:

— Тётя Саша, а я к тебе. Совсем. Жить.

Тётя Саша как-то растерялась, словно выдохнула из себя что-то тяжкое. Неясно было, радуется она или нет. Она будто раздумывала над чем-то. А когда внесли вещи и папа уехал, сама подошла к Гале и спросила:

— Ну что, жить будем дружно?

И они крепко обнялись, совсем не предполагая обе, что и как будет дальше. Тётя Саша увидела в деревенской племяшке бесхитростную открытость и тем, видимо, утешилась. А ещё приняла приезд как Божью волю. Она лишь ею и жила.

Сначала опекала девушку в чисто житейских вопросах: постирала её одежду, утром выгладила, в первый раз проводила до автобуса, подобрала одежду, ведь Галя была в том, в чём уехала из дома. Тётя Саша ещё работала в бане в то время, но готовила для них обеих завтраки и ужины. Уходя, всё оставляла на столе. А возвращалась с работы позже Гали. И в первый же день заметила, что племянница дома, а еда на столе не тронута без спроса. Тогда своей неграмотной рукой взялась она каждый раз писать Гале записки крупными неровными буквами с распоряжениями о том, что специально для неё, для Галочки, приготовлено.

Рядом была вечерняя школа. После работы Галя ходила заканчивать десятилетку. А по вечерам... по вечерам, после ужина, садились они вдвоём где-нибудь, и тётя Саша начинала говорить с ней о Боге. Но сначала спросила как-то, верит ли Галя в то, что есть живой Бог? Девушка кивнула: верю. Тогда тётя ещё спросила:

— А что ты о Нём знаешь?

А Галя ничего и не знала и ответила уверенно, что узнает, когда состарится, сейчас у неё вон сколько других забот. Но

будущая духовная мать, взглянув внимательно ей в глаза, возразила:

— На потом надеяться нельзя. Ведь до старости не все доживают.

И как-то прозвучало всё это из её уст так просто и убедительно, что возражать больше девушке не захотелось.

После мама Саша, да, любимая со скорого времени её «мама Саша», вспоминала, как задолго до их близкой встречи и начала совместного жития, а Гале шёл тогда лишь двенадцатый годочек, привиделся ей сон. Будто в саду она дивном, неземном, совершенно чудесном. Сад пуст. Никого в нём нет. Сидит она на чём-то посреди него, да не припомнит уж. И вот идут издали к ней друг за другом три хорошенькие девочки. Все три улыбаются приветливо. Но странно...

И первая не задержалась, и вторая проплыла мимо. И лишь третья подошла близко, смотрит в глаза, как родная. А потом протянула руки и обняла крепко. Прильнули они друг ко другу так близко, будто в одно тело слились. И тепло тока крови ощутилось, будто единое. И сказала мама Саша тогда этой девочке во сне:

— Моя ты моя, тобой я только живлюся, тобой утешаюсь.

Ведь понимает она в том самом сне-видении, что именно это и есть её девочка. Родная, ей предназначенная. Своих двое рождалось у мамы Саши, да оба умерли во младенчестве. Так и жила она потом, утешаясь до времени доброй душой Полины, которую выгнали из дома родные:

— А пошто не жила, как все? Молилась по углам, сторонилась новых праздников, всех позорила.

А когда пришел смертный час Полинин, осталась одна мама Саша с никудышним здоровьем. Но по сну тогда, ещё при жизни Полины, уверилась, что будет в её духовном родстве непременно ещё один человек. Но не потому растерялась при встрече, когда Галю увидела у дверей. Не потому обняла, как

во сне когда-то обняла родную для себя девочку. Осознание и разгадка придут позже и будут явным знаком из горнего мира: вот оно, свершилось. И выходит по всему, что и Галочкин путь ещё там, на мученичестве детском и болезненном, был Богом отмечен и приведён туда, где впервые не знаемый ею Боженька стал обретать черты. Образ Того, Кому отдала она себя теперь во служение с монашеским именем Михаила.

Ведь мама Саша пыталась говорить о духовном и с двумя другими сёстрами Гали. Когда они приходили не раз в гости на квартиру, но, как и показал сон, прошли они обе... мимо. Обе замуж вышли. И в мирской жизни остались.

Вспоминает мать Михаила, как впервые услышала от мамы Саши нечто удивительное: мол, должен быть в любом человеке ещё один человек, другой. Будто их два. Один — это человек душевный, живущий только в теле. Всеми земными заботами лишь озадаченный. А другой — тонкий, невидимый, внутренний, до времени и себе не известный. Но его непременно нужно в себе найти, потому что он — главный.

На работе она трудилась до конца рабочего дня, а домой спешила теперь с радостью. Искать внутреннего человека. Слушать о нём. Так уютно было вечером, переделав все дела, устроиться с мамой Сашей где-нибудь и внимать рассказам о Боге. Когда к маме Саши приходили знакомые и разговор шёл уже между ними, как любила Галя тихонько затаиться, чтобы не пропустить чего из знакомого и незнаемого. Начали читать они вместе Евангелие. Говорили о нём. Мама Саша толковала события, бывшие со Христом, разъясняла притчи. Книг никаких у неё больше не было. Только Евангелие да ещё какая-то одна книжечка. Но обе они тянули Галю к себе. Придёт она, бывало, с работы первая и сама — к Евангелию. Откроет, пытается читать, и ничего не понимает. Спросит у мамы Саши: мол, а почему? Та и ответит:

— Так уж сказано в Святом Писании, что сокрыто будет сие от умных, да разумных, а откроется младенцам. Тем самым младенцам, которые внутри тела должны родиться.

Мать Михаила тут улыбается особо тепло, и глаза её вновь тонут во влаге слёзной. Говорит:

— Она мне подарила вторую жизнь. Главную мою. Она приняла на руки моего младенца внутреннего. И стала его растить да воспитывать.

Гале очень хотелось рассказывать об этом подругам, знакомым, а им совсем не было интересно. Удивляло это Галя. Заставляло размышлять всё время о многом. От жизни светской при этом мама Саша её совсем не отводила. Она и встречалась со сверстницами, и на танцы с ними ходила. Но Бог уже заходил всё чаще во внутреннего Галиного человека. И мысли об обычной семейной жизни, о пути, по которому должно идти ей, как и всем вокруг, пугали её отчего-то. Ей было уютно в мире мамы Саши, в размышлениях о Боге. В Его особой теплоте, которую она явственно ощущала. Лишь говорить о ней ещё не могла.

Замуж она выйти всё же попыталась. Скорее, послушалась маминого совета, чем приняла решение сама. Но очень быстро стало ясно всем: у Гали какой-то иной путь. И его вновь подсказал сон. Увидела как-то мама Саша, ещё до замужества Галиного, что на девушке вместо подвенечного белого платья — черное, длинное, с жёлтой каймой понизу. И стало ей понятно, что промыслом определена ей будет недолгая семейная жизнь. Она так близилась к Богу, так стремилась лишь к Нему, что трудно было бы удержать её семейными заботами.

Директор телецентра в подарок двум молодым семьям выделил по комнате, а после эта комната осталась за Галей. Появилась мысль совсем объединиться с мамой Сашей. Та очень болела. Высокое давление было критическим, иногда «скорая» по

нескольку раз приезжала на день. Галя подумала, что работать маме Саше уже нельзя. Нужно рассчитывать. Но её зарплата секретаря слишком мала, и нужно бы найти подработку: покупать лекарства и продукты, оплачивать квартиру. Удивительно, но как только она об этом задумалась, сразу же позвонила ей как-то одна знакомая, которая на заводе работала, и оказалось, что туда как раз нужна секретарь-машинистка. Оклад вполне подходящий, даже с возможностью подработки. И Галя, не раздумывая, увольняется с телевидения, хотя её не отговаривал только ленивый. Но своего решения не изменила. И стала работать на заводе, быстро поднимаясь всё выше и выше.

Изо дня в день, из ночи в ночь, порой и не по одному разу маме Саше она вызывала «скорую». Колола её сама. Следила за состоянием. А утром шла на работу. Однажды практически отключилась на ходу и едва не попала под машину: все вокруг ругаются, шофёры сигналият, кричат ей из окон, а она едва понимает, что была на волосок от беды. Ощущения происходящего вокруг были странными. Будто в тумане. Она отчетливо помнит, как добралась до рабочего места, и вот тут... тут, как говорит сама мать Михаила, и подступил к ней дьявол. К тому самому внутреннему человеку. Он буквально заговорил с ней внутри, спрашивая разумно:

— Ну и где твой Бог? Сколько ты можешь не спать? И быть в таком состоянии? Если бы Он на самом деле был, разве допустил бы такое? Потому нет твоего Бога.

Не правда ли, очень резонные вопросы? Как часто их задают люди тем, кто, испытывая трудности и скорби, не теряет веры в милосердие Божие. И тем самым не осознают, что подыгрывают тёмной силе.

На этом приступивший лукавый дух не смолк. Дальше он прибегнул к самому решительному требованию. Мать Михаила говорит, что слова внутри неё звучали именно так:

— Отрекись. Отрекись от Него. Сейчас.

Она пыталась вытеснить чуждый голос, сопротивлялась, но ощущение присутствия того, кто дышал ненавистью и втыкал в сердце стрелы незнакомого доселе грубого сомнения, держал за горло. Она ощущала это физически, задыхалась и не могла освободиться. Все вокруг работали, и она будто стучала по машинке пальцами, но внутри, там, во внутреннем человеке, о котором она теперь знала от духовной своей матери, шло побоище: там бились две силы. Сила любви к Богу, её собственная сила, и сила ненависти к Нему, сатанинская злоба и дух гордыни. А местом битвы было то самое сердце человеческое, о котором известные слова сказал когда-то Достоевский. Но правду их испытал на себе. Твёрдо зная, что это не художественный приём, а истина, познанная собственной бранью. И всё же она отвергла никому не слышный голос, вопивший ей прямо в уши:

— Отрекись! Здесь! Сейчас!

Сила её сопротивления, воля, гнавшая из себя мерзкое требование, отбили попытку поколебать твёрдость, увести с особого пути. И вдруг после наступившей мгновенной пустоты внутри себя она ощутила присутствие иной силы: ей вдруг стало так светло внутри. Так безмерно хорошо и тихо. Сердце заливало, окунулось в тепло, в покой, от которого хотелось улыбаться и благодарить. Она поняла, что готова не спать и уставать бессонными ночами так ещё сколько угодно долго, только бы чувство нездешнего счастья не покидало её, жило в ней, не уходило. И какие-то новые силы влились в душу в тот день.

С мамой Сашей они переехали в новую совместную квартиру, делали ремонт. Всё двигалось своим чередом, Галя как-то оттаивала, становилась сама более открытой, ласковой. В её отношениях с мамой Сашей тоже произошли изменения. Она стала звать её без Имени, просто мамой. Нерастраченное мате-

ринство одной и нераскрытая любовь другой наконец обрели друг друга. Порой они вместе приезжали в посёлок к Галиным родителям. И когда девушка звала маму, то откликались... обе. Ревности у матери по крови не было к матери по духу.

А ещё до того, как впервые Галя убрала из обращения имя Саша, привиделось ей во сне, что она ещё малый ребёнок. И купает её именно мама Саша в ванночке. Вода прозрачная, чистая, слегка голубоватая и мерцающая. И от неё — благоухание несказанное и цветы разные рассыпаны по поверхности: яркие, чудесные, нежные. И поднимает маленькая девочка голову вверх, к ласковым рукам и произносит твёрдо и радостно:

— Мама...

Ах, если бы безверный человек хотя бы предполагал, какая сила приступает и вмешивается часто в жизнь души, как пытается она смертельно бороться каждого, вынуждая его ко греху или к смерти, а порой эта сила борется с кем-то через окружающих людей, если становится ей известно, что рождается в семье тот, кто услышит тихий Божий призыв и пойдёт на него.

Слушая жизнь матери Михаила, я в который раз убеждалась в том, что и это был подобный случай. Как Бог, так и противник Божий видели будущий путь матери Михаила. Господь помогал добрыми людьми и утешал в скорбях, а противник рода человеческого подступал к тем, кто не был подкреплён верой или совсем её не знал. Как-то потом, гораздо позже, когда мать Михаила осознанно пошла к Богу, отвергнув всё иное, родная, кровная мама её призналась, что однажды было ей страшное искушение. Пришли внезапные греховные помыслы, будто вложенные ей кем-то в голову, что родившейся девочки могло бы не быть вовсе. И именно когда она купала почти годовалую дочку в корытце. Она не знает, откуда могла появиться в ней мысль, что хорошо было бы, если малышка простудится и тяжело заболит. Что для этого достаточно подуть на неё вот

сейчас, после ванны, прохладному ветру из открытого окна... И в этот самый момент девочка протянула к ней осознанно руки, заулыбалась и сказала своё первое в жизни слово:

— Мама...

Схватив дочку на руки, мама с ужасом подумала, что никогда не смогла бы сделать этого, никогда! Но помысел был. И хорошо, что она всё же открыла его потом дочери.

Враг не любит открытых мыслей, объявления греховных стремлений. Он привык действовать скрытно, исподтишка, не объявляя себя, назойливо внушая человеку, будто это он сам задумал нечто, что потом может вызвать ужас своей невероятностью. Так совершаются многие преступления на земле. Так многие попадают в клиники, не умея справиться с голосом, говорящим внутри. И не все знают, что особо подступать имеют право духи нечистые именно к душам некрещёным, не защищённым Божьей благодатью и особым присмотром ангела, данного при крещении.

В этой книге ещё будет ряд моментов, которые внимательному и вдумчивому читателю раскроют, может быть, впервые необходимость осознания того, как мы все нуждаемся в духовных знаниях, чтобы суметь понять, как и почему порой с нами происходят странные вещи. Любой дух смущения, бесповодного беспокойства, уныния — это чаще всего дух лукавый, подступающий с понятной целью: уловить, увести подальше от Бога. От Его защищающей благодати.

Знал лукавый дух, что быть девушке Гале монахиней, видел это, умеющий как дух видеть все времена без разделения на прошлое, настоящее и будущее. Видел и не оставлял попыток до времени найти путь к драгоценности человеческой — бесплотной трепетной душе.

— Во многих местах могла я погибнуть. Теперь-то особо вижу его проделки, если что внутри не так. Но и тогда без бо-

рения внутреннего как бы пошла моя жизнь? Я и сама не знаю. Но, слава Богу, Он меня не оставлял. Сохранил от многих бед.

Так бы и жили они вдвоём с духовной мамой, укреплялись в вере, но пришло время для новой встречи...

Попала как-то Галя в больницу. И вот там увидела свою Вероньку. Это не моё слово «Веронька». Именно так называла Галя впоследствии свою новую духовную сестру. И сейчас называет, когда вспоминает прошлое. А ещё надо слышать, как она произносит это самое «Веронька». Никогда я до этого не слышала, чтобы в голосе и в манере произношения слышалась такая тёплая любовь к человеку, такая нежная привязанность. Да и само это «Веронька» — впервые. Ну, скажем, Верочка, Вера, Верушка даже. Но Вероньку слышала впервые. После рассказа матери Михайлы долго ещё звенело колокольчиком во мне это имя. И умиляло.

Итак, встретились они в больнице, в палате. И как-то сразу приглянулись друг другу. Сблизились. Подружились. И после выписки стали часто встречаться. Тепло им было рядом. Просто и для души радостно. Гале приятно было дарить Вероньке подарки, одевать её. Новой подруге и было-то тогда всего двадцать лет. Весь заработок она отдавала родителям, а до себя ни дела, ни времени не было. Галя же с мамой находили удовольствие, опекая скромную, молчаливую и непритязательную девушку. Им хотелось её порадовать разными житейскими мелочами. Вероньке хорошо в доме их было. Тепло. И стала Веронька приходить к ним с мамой часто. Прямо после работы, после своего хлебокомбината и заезжала. А потом и ночевать стала практически всегда, на квартиру к себе редко ходила. Когда Галя приходила с работы, они вместе ужинали и приступали к Божьим наукам: слушали маму Сашу, читали Евангелие, говорили, размышляли о путях Божьих, явленных в Священном Писании.

Вот ведь... И Вера когда-то в детстве любила разговоры о Боге. И притянулось «подобное — к подобному» в тройной союз. Так мудро соединяет Господь. Постепенно появилась между ними всеми такая любовь, глубинная, призывная, что расставаться им уже не хотелось. Сравнить эту любовь мать Михаила, а тогдашняя Галя, не могла ни с любовью к сёстрам, ни к родителям. Это было нечто нежное по ощущениям: почти такое, как к духовной матери. Очень похожее и всё же несколько иное. Невидимое родство душ проявляло себя особенностью любви: любви, рождённой и подаренной Духом. До отречения от себя.

— Если бы нужно было для неё жизнь отдать, я бы отдала хоть тогда, хоть сейчас с радостью, — с тихим внутренним светом говорит мать Михаила. И понимается, что это не просто слова. Это свойство Любви, рождённой неустанным трудом души и дополненной по благодати Самим Богом.

Духовные вещи сложно объяснять, если не было осознанных встреч с духовным миром. А встречи эти даются всем. Всем без исключения. Но вот возможность осознавать эти встречи, понимать путь, которым идёшь в свободной воле, но не без помощи Божией и не без искушений, преодолевая которые призвана расти душа, это уже зависит от воли и желания человека. Хочешь жить лишь в мире видимых вещей — живи, это твой выбор. Хочешь видеть и понимать больше того, что тебе показывает мир материи, вступай на путь веры, которая уже скорее надмирна, хотя продолжается в привычных рамках видимого бытия.

Но вернёмся к нашей истории. Вдруг родители Веры надумали уезжать из Орска. Веру они звали с собой. Но разлучиться духовным сёстрам было уже невозможно.

— Я тебя никогда не оставлю, ты не будешь одна. Не уезжай, — сказала Галя, но родители Веры не могли осознать

таких слов и такого решения. Они рассуждали по-житейски: выскочит де твоя городская подруга замуж и выдворит тебя в неизвестность. Останешься ни с чем. На улице. Сегодня подруги, а завтра нужна ли ты ей?

Но Вера твёрдо решила остаться.

— Сколько тебя подруги бросали? Мало тебе? И эта тебя бросит, — с удивительной навязчивостью слаженно твердили.

И вот тут мать Михаила говорит удивительные слова:

— Но она поверила в мою любовь. В мою духовную любовь. Ощутила её. И осталась.

У меня перехватывает горло. Мгновенным каким-то образом прожила во мне тогдашняя сила её этих слов. Услышалась в искреннем и нелицемерном стремлении даже теперь, после столь долгих лет.

Но соединились их жизни в одно житие позже, когда отошла ко Господу их духовная мать, мама Саша. Ушла тихо, как жила. Незадолго до ухода назвала время своей кончины. В день смерти отослала Галю на рынок. Но приехав туда, ощутила девушка такое беспокойство, что немедленно вернулась назад. Во дворе уже стояла «скорая». В доме были врачи. Мама сидела на кровати, её кололи, готовили кислородную подушку. Когда Галя бросилась помогать врачам, мама посмотрела ей в глаза:

— Дочка, я ухожу.

Это были последние слова. Так и отошла вскоре, сидя. Без малейшего движения. Перестал биться пульс. Дыхание остановилось. А тело продолжало сидеть в подушках, только будто замерло, затаило дыхание. Мать Михаила говорит, что даже не уловила момента, когда вышла из её духовной матери чудесная родная душа, чтобы подняться в небо. На встречу к Творцу и Создателю.

После похорон и сорока дней сказано было окончательно Вероньке следующее:

— Если ты мне доверяешь, если нет сомнения у тебя в моей любви, оставляй всё и переходи ко мне. Насовсем. Навсегда. До смертного часа одной из нас.

А Вероньке и оставлять практически было нечего. Родители купили для себя без документов маленький ветхий домик. Это и было всё, что осталось бы от них детям в наследство. Его продать бы и то стоило трудов. Но так и сделали по Божьей милости, иначе эпопея с домом была бы бесконечной. С тех пор уж и не расставались. Хотя и отец самой Гали рассудительно предлагал Вере:

— Подумай крепко. Жизнь — штука капризная и изменчивая. В ней всякое может случиться: откажешься от своего угла, а как там выйдет?

— Запомни, две медведицы в одной берлоге не уживутся, так тогда и сказал, я запомнила прямо, — это уже добавила сама мать Гавриила, которая вошла тихонько в комнату, где мы говорили, и дополнила доводы своим воспоминанием. Потом села на кровать в келье рядом с матерью Михаилой. Так близко села, словно прилепилась. Я про себя умилилась: как попугайчики-неразлучники. Только уже не цветные, а чёрные...

Именно после крепких раздумий Вера и согласилась. Домик был чудесным образом оформлен и продан, свою маленькую долю девушка отдала в пользу родных. И стали они жить с той поры вместе с Галонькой. Я и не сомневалась, что именно так звучало имя Гали из уст Веры. Одной жизнью стали жить. Одной верой верить. Одним духом возрастать.

Вероньку приняли и полюбили все родные Гали. Особенно папа. Мать Михаила приводит удивительный факт, что во время болезни, от которой папа позже скончался, он, имея трёх родных дочерей и жену, позволял мыть ноги только Галоньке или Вероньке.

За несколько дней до отхода сказал, взглянув на них обеих внимательно:

— Вот вы с Веронькой так похожи! Но не лицом, ничем другим внешним, а будто дышите одним воздухом.

Вот ведь... Далёк он был от веры, духовных знаний не имел вовсе, а единство духа увидел и сказал об этом правильные слова. Он их и не разделял даже. К обоим относился, как к... одной. К своей.

— Так любовь и устояла: против неё никто и ничего сделать не может, если это Господь даровал...

Эту фразу я не буду делить по репликам. Монахини проносили её обе. Поочерёдно. Не перебивая, а дополняя друг друга, сидя в моей гостевой келье рядышком. То и дело поглядывали друг на друга. И улыбались. Я тоже ощущала, что передо мной одна духовная любовь. Будто облако, которое опустилось на две души своей громадой и накрыло единым пространством, соделав территории любви всю их дальнейшую дорогу к Богу. Помните тот самый туман, который расступился когда-то перед Верой по дороге? Разве туман — это не гигантское облако, припавшее к земле?

Но и враг рода человеческого не дремлет. Время от времени приступает он по попущению Божьему к душе, освятившей себя верой. Приступает яростно, ища своей добычи, стремясь поймать и сковать. Случилось такое и с Веронькой до окончательного того их соединения. Ещё мама Саша жива была.

И вот приступил и к ней мертвящий душу лукавый умный дух. И поверг до ощущения адского холода и отчаянья. Месяц длилось испытание. И невозможно было бороться своими силами с ним. Пугало, не отпускало душу состояние падения с огромной высоты куда-то вниз, вниз, вниз. Внутри всё время звучал голос:

— И ни дна тебе, ни покрывки. Ни дна, ни покрывки...

Эти слова она до сих пор помнит чётко. Все долгие мучительные дни ей ничего не хотелось. Она возвращалась к себе в

общезитие и в одиночку боролась с адом. Она словно забыла о существовании места, где её любят и ждут. О Галоньке. О маме Саше. Ноги вели её мимо их дома, уводили далеко. Иногда она с трудом понимала, что продолжает жить, ходить на работу. А возвращаясь со смены, ощущала вновь за спиной некую мерзкую сущность, невидимо плывущую позади и сверлящую жадными глазами возможность добычи. Казалось, это никогда не кончится. Даже «Господи, помилуй» не могла сказать тогда. Пустота полная внутри. И в голове будто ничего никогда не было... Наваждение было таким явным, что когда она обнаружила записку от Гали, которая уже забеспокоилась о ней всерьёз и взялась разыскивать, то будто очнулась.

Эта записка... А ведь именно эта записка вернула её тогда в реальность. Именно она отогнала, словно отбросила от неё навязчивого лукавого. А мама Саша и Галя, обе они, мучились и терялись в догадках: где же Веронька? Что с ней? Куда пропала?

Текст записки был незамысловат. Но Вера прочла его не простыми глазами. А глазами того самого внутреннего человека, о котором она уже знала. Но на время морока забыла. Сейчас этот человек был в плену. И всё же... в темницу томления духа эти строки ворвались мощным потоком, и лукавому стало тошно. Он не вынес порыва любящего человеческого сердца. Узы пали. Он отпустил... А были это слова духовного канта, который тогда пелся двумя авторами А. Емельяновым и И. Мыльниковым. Текст большой, приведу лишь часть его. Самое начало:

Где ты, агница моя, сокрылась?

Я которую люблю.

Что ты от пастыря отлучилась?

О душе своей скорблю.

Вы, луга, леса и реки,

Рцыте к Вышнему Творцу:

Не видать ли где овечки?

Где овечку я сыщу?

Агница моя, найдися.

Тебя ищет пастырь твой...

Эту записку она хранила потом долго. До пожелтения. В заветной тетрадке она лежала с молитвами, да потом делась куда-то вместе с тетрадью. А в ней словно Сам Господь заговорил с ней тогда. С бедной овечкой, потерявшей в страхе. И она очнулась, рванулась душой к сладости этих простых слов, вовсе не похожих на молитву или вопль к Спасителю.

Да, несомненно, это Сам Бог, давший ощутить ей отсутствие благодати и любви, вернул потерю. Она вновь задышала. Радость обрушилась словно со всех сторон, прошла её насквозь, заполнила опустошённое пространство и осталась внутри. В этих словах, старательно написанных её духовной сестрой, сквозь строки чужого текста окликнула её душу обычная любовь. Любовь соединяющая. И Вера в тот день откликнулась на неё, очнулась и ожила.

Стихи эти, которые поются и становятся при этом духовным кантом, я слушала несколько раз в чудесном исполнении авторов, один из которых теперь давно уже священник. И поверьте, слова, читаемые духовными глазами и воспринимаемые духовным слухом, не просто звучат иначе. Их иначе и исполняют. Тем же духом. Потому они и входят сразу в глубину сознания, в глубину души, минуя сферу обычного ума, чья задача лишь анализировать и выбирать рациональное. Анализ таких стихов ничего не даст. И замечательно.

Когда обе монахини говорят о том, как много было разных усилий со стороны людей для их разлучения, становится очевидным, что враг не оставляет попыток никогда, всегда ищет слабое место в душах окружающих, чтобы наносить свои удары со стороны. Какое счастье, встретить тех, кто прошёл сквозь это горнило испытаний и утвердил собой Любовь Христову.

Решение о монашестве они тоже приняли обе разом. Как одна. Потому как втайне мысль эту лелеяли, но обе достойными себя не считали. Высок ведь монашеский клубок! Вдвоём стали ходить в храм на улице Васнецова, потом на беседы после воскресной литургии оставались, которые проводил отец Сергей Баранов, теперешний духовник их Иверского монастыря. Два сердца, как одно, увидели в батюшке того, кто может вместо мамы Саши повести их дальше и выше. Вместе они сменили поначалу светлые платочки на чёрные. Потемнела и их одежда. Затем были молитвенные бдения и житие в посёлке Херсон, что недалеко от Орска, где зародилась изначально женская общинка будущего монастыря. А когда стало известно о строительстве монастырского здания, когда вырос на их глазах сам монастырь, как-то без сомнений и поисков иных духовных мест приняли они одним днём, на Рождественский пост, монашеский постриг. Хотя и тут не без искушений великих. Не без препятствий от мира сего. У матери Михаила ещё мама тогда жива была, старенькая. Но благословение на монашество она Гале своей всё же дала. Досматривать её взяла к себе сестра Люба, и знали мать Михаила и мать Гавриила, что ей не будет плохо. Так она и упокоилась в те дни, когда подходила к концу эта книга. Теперь её имя появилось и в моём помяннике об усопших. А эти сёстры, знаю, молятся обо мне ежедневно. Молюсь о них и я.

Они всегда рядом. Если увидишь в монастыре одну, глаза сразу ищут: а где же другая? И она непременно появится вскоре.

Раз в неделю чёрные одежды двух монахинь убеляются до совершенной ангельской белизны: это день, когда по особому послушанию выпекают они круглые хлебы-просфоры для литургического богослужения, совершая вовсе не кулинарное действие, а нечто сродни настоящему таинству. Ведь это будет хлебом литургического Причастия! Залогом спасения всем

приходящим в монастырский храм для встречи со Христом, Который избрал их задолго до совершения этого действия, испытал на верность, одарил истиной любви. И самой Истиной. Ибо она и есть Христос. Иных истин нет.

А с отцом Сергием их свёл Иосиф Исихаст. Да-да, сам святой, книгу которого об Иисусовой молитве и аскетике они читали с особым внутренним трепетом и ликованием дома. Так она им на сердце легла. И вдруг узналось, что мощи святого самолётом будут доставлены в Орск, в храм Покрова Пресвятой Богородицы, бывший женский монастырь. Они пришли тогда на службу и молебен, приложились к ковчегу с мощами и уж хотели уезжать. Но к ним подошёл батюшка, отец Сергей, и пригласил приехать на ночную службу. Попасть на неё очень хотелось. Но мороз стоял в те дни немилосердный. За тридцать пять ниже нуля! Дома они всё переглядывались сначала: ехать — не ехать? Как ехать? Когда решились, на улице совершенно не было транспорта. Всё бело от мороза. На остановках людей мало. И всё же добрались. Батюшка узнал их, проходя мимо, воскликнул, обрадовавшись:

— Приехали? Молодцы какие!

А служба была чудесная! На третий день мощи перевезли в храм Георгия Победоносца, они поехали и туда. И Иосиф Исихаст одарил их не только ещё одной встречей с собой, но и явил чудо исцеления Галине: исчезли страшные головные боли, которыми она мучилась в своё время. Просто враз их исцелил святой. После трёх служб у мощей и практически без отдыха приложилась она к мощам и ощутила какое-то изменение. Но осознать сразу не смогла. И только чуть погодя сказала Вероньке:

— А ведь у меня голова больше не болит.

И день, и второй, и третий... не болит. Две недели кряду она всё ждала возвращения боли. Но с тех пор больше не страда-

ла и благодарила всё время за то любимого святого. Иосифа Исихаста.

Им обеим почему-то казалось потом, гораздо позже, что именно монашеский дух этого афонского святого какими-то невидимыми нитями связан с обретённым в лице отца Сергия их теперешним духовником. А своё духовное родство с ним ощутили после первой беседы на Евангелие. Будто мама Саша заговорила с ними через батюшку! Так всё было похоже. И с тех пор их пути с ним уже не расходились. Сердце поселилось рядом с этим священником.

Чудесен как всё же духовный мир! И ищущие этого мира не посрамляются. Путь двух сестёр Иверского монастыря, матери Гавриилы и матери Михаила, тому явное подтверждение! Всего рассказать о них и невозможно. Есть в их услышанной мной повести и сокровенные до времени предсказания о будущем. Но пусть время идёт своим чередом, куда и как ему положено. Наша задача — принять всё с надеждой на Господа. А для них пусть останется главным, что их обе веры и любви слиты в единый океан. А океан, как известно, безмерен...

Через какое-то время после диктофонной записи мать Михаила постучала в дверь и ещё раз вошла в гостевую келью. В её руках были две небольшие записочки. Она отдала их мне со словами:

— Если можно, скажите ещё вот об этом.

После её ухода, прочла написанное. И поняла, что не хочется пересказывать просьбу своими словами. Вот они, эти записки, читайте сами.

Первый листочек: «Наш монастырь к Богу зовёт, от него веет таким благодатным миром и спокойствием, что душа радуется, забывая все горести и невзгоды».

Второй: «У моего отца, «мамы» Сергия, любовь обильная, мудрость рассудительная, мирный спокойный характер. И я его очень люблю.

Люблю внимательную и заботливую матушку Ксению, родных своих сестричек. Желаю и прошу Господа, чтобы каждая из них достигла меры того святого, имя которого носит. А я — меры своих сестёр.

Люблю наших прихожан, таких близких и ощутимых по духу и добру. Встречи с ними моя душа ждёт каждое воскресенье. Пусть у всех будет всё по-Божьему!»

И подпись в уголке последней записочки: «М. Михаила».

СХИМНИЦА СИЛУАНА

Когда после ответного возгласа «аминь», разрешающего вход в келью любого монаха или монахини, я вошла в её небольшое жизненное пространство, в котором не было совершенно ничего лишнего, мать Силуана сидела согбенно на своей кровати. Быстро подняв голову почти от колен, она вскинула было маленькую ручку с чётками и готовно соскочила с места так быстро, что остановить её движение мной не удалось. Мириады тонких морщинок на её лице стали тесниться, двигаться друг ко другу плотнее. Это чтобы дать простор её улыбке. Глубоко посаженные глаза в тот же миг сверкнули тёплыми смешливыми искрами. Как слюдяные камушки на речном берегу при солнце. Она вся потянулась ко мне и негромко вскрикнула:

— Ах ты, радость моя!

Мы обнялись...

Мать Силуана — схимница. Её чёрный острый куколь на службе я всегда вижу примерно в одном месте. Стоять ей тяжело, тело само сгибается от прожитых лет. Ей уж недалеко до девяности. Но удивительным образом она выпрямляется, стоит только встать кому-то перед ней. Она сначала поднимет

маленькую свою головку, а потом неизменно радостно вскрикивает любому именно это:

— Ах ты, радость моя!

Потянется руками и обнимет.

Она знает цель моего прихода. Указывает, куда я могу сесть, а ладонь её тщательно расправляет для меня едва видимые складки на покрывале. Сейчас она «в домашнем». Без своего вызывающего у меня трепетный страх облачения схимника, а в вязанной крючком и облегающей голову чёрной шапочке, простеньком подряснике. Чётки на левом запястье распущены, по ним текла молитва до моего стука и возгласа:

— Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную.

Странно, но её совсем не пугает диктофон. Она машет на него рукой. Забывает про него тут же. Всё внимание — на меня, на живое общение. Мы уговариваемся о начале записи, и она, вновь согнувшись в корпусе, а иногда подпирая головку ладонью, начинает историю своей жизни...

— Так, моя радость, родилась я в Ульяновской области. Бабушка моя была церковная. Тятя и мать тоже. Отец всегда сам мог сосчитать, когда Пасха, знал пасхалию по ладони. Его брат Николай, мой дядя, пел на клиросе. Да, у нас такая семья была. Бабушка всегда брала меня на службы в храм Божий. И всегда, и везде с собой, куда бы она ни пошла.

Тут я плохо помню... Но тятю брали на Финляндскую, но он заболел. Комиссовали его. А к тому времени дядя и тётя уж жили в Казани. Вербованы были. Отец там и остановился у них по болезни. Тётя меня из деревни и забрала. Войну я встретила в той самой Казани. А тятю забрать-то хотели на фронт, предупредили, но оставили по брони для тыла.

Как войну объявили, так в тот же день магазины все враз закрыли. Кто рано встал и забрал хлеб, у того хлеб был, а кто не

успел — не было уж ничего. И началась моя жизнь по очередям с утра до вечера. Помню, все руки исписаны были. В номерах. Двенадцать годочков мне тогда было. Ладно. Начало пережили, а потом тятя отправил меня в деревню нашу. Помаево звалась. Большое село. С храмом. Там бабушка, мама и брат. Мама болела, порок сердца был, а всё равно работала. Сорок второй год. Как же... Весна. Сначала ничего, жили-пережили. А в сорок четвёртом году сильный голод пришёл. Ой, сильный! Бабушка весной и умерла. А мама — осенью. Сорок два годочка и было ей. Мы с братом остались одни...

Мать Силуана смахивает слёзы. Замолкает. Вместе сглатываем ком. Непросто это ей — возвращенье в сиротскую память. Разве есть в ней что забвенное до такой степени, чтобы не встало перед глазами? Только оклики что из прошлого.

Мать Силуана так и говорит короткими, чёткими фразами. Будто маленькие гвоздики забивает, выделяя нужный смысл особым акцентом. Хотя вовсе не многословна. Тянет тихим, но не слабым голосом ниточку за ниточкой свой рассказ. Но мне видится, как волнуется её голос, временами дрожит, срывается. Часты в речи недолгие паузы, будто старательно сеет она сквозь сито муку самых тяжких лет, чтобы сказать главное, а незначительное, на её взгляд, оставить в себе. Насовсем.

— А со школой-то как? — спрашиваю я. — Училась, мать Силуана?

— Училась. Да школу бросила. Какая школа? Сорок четвёртый год... тяжкий. Голод. Топить и то нечем было.

Голос вновь дрожит. И я решаю не мешать ей вопросами. Пусть сама говорит, что скажется. Она продолжает, называя точную дату дальнейшего, немыслимого для теперешнего осознания события.

— В сорок пятом году уж... В ноябре мне шестнадцать исполнилось, а первого февраля тётю вызвали на совещание. Из

Ульяновска, видно, распоряжение пришло в район: отправить надо из села в город одного человека на стройку. Кого? Ну, кого? Вот меня и определили... Тёте муку дали, чтобы мне на дорогу испечь хлеб. Утром приходит дежурный из сельсовета:

— Стеша, пошли. Председатель ждёт. Собралась я и пошла. Всё помню, как было... Зашла в кабинет к начальнику района когда, он глянул:

— Да что ж она такая маленькая?

— Росту во мне совсем нет. Вроде, он удивился: куда меня? А кого ещё? Некого. Я-то уж тут. Собрали всех нас с разных мест, кого откуда. Зима. Снегу много. Холод. Сильные морозы стояли тогда. Дали нам старичка. Побросали котомки свои на сани. И пошли... Пешком.

Я вскрикиваю невольно:

— Неизвестно куда!

Мать Силуана поправляет:

— В Ульяновск. И на шестые сутки мы только дошли.

Замолкает схимница моя. И — ни слова больше. А я просто оторопела: как? Как зимой в лесу? В ночь? Юной хрупкой девушке? Этому, в сущности, подростку? Одинокой девочке? Когда вокруг незнакомые все и чужие?

Внутри у меня начинается горестное томление. Я вижу её, тонюсенькую, маленькую... Едва ли росточком к метру пятьдесят, шагающую в валеночках за лошадьёю заиндевелой по зимней дороге. И душа чувствует, что услышу дальше историю, поверить в которую трудно.

Мать Силуана будто слышит мои мысли, успокаивает:

— Ночевать нас пускали. Правда, только через сельсовет. А вот пришли когда, назначили по частным квартирам нас. Поселок Свяга под Ульяновском есть. Четверых к одной хозяйке на постой определили. Спали на полатах. В выходной, чуть свет, собирается хозяйка утром куда-то. Спрашиваю:

— А вы куда, тётя Саня?

А она:

— За дровами для печки. Пойду по берегу Свяги, нарежу хоть тальниковых веток. Топить-то нечем. Выхолаживает избу.

Я спускаюсь с полатей, собираюсь и иду с ней, чтобы больше принести. А дома-то и думаю:

— А как же она растапливать их будет, сырые?

И стала просить у неё мешок какой, чтоб на работе щепочки собирать на растопку. Носила ей.

Нам на стройке хлеба начали давать по семьсот граммов. Ведь Ульяновский автозавод строить начали. Не что-нибудь. Выдали «берки» на хлеб. Она так и говорит: «берки». Пусть и останется. Трогательно звучит, как и произносилось когда-то, видимо. Нечто вроде бирки. Или талона, знака видимого для справедливого распределения хлеба в самой... справедливой по замыслу новых правителей стране.

— Денег у меня ни копейки ведь с собой не было. Стою я с этой «беркой» и не знаю, что делать. Буфетчица увидела меня, что в руках держу бумажки эти, подошла и говорит: мол, давай мы один талон твой продадим, а второй отоварим и пополам хлеб разделим. По триста пятьдесят граммов выйдет. И денежки мне дала. Потом другая подошла: не помогу ли в рабочей столовой после стройки чистить солёную рыбу? Лещи были в чешуе. Их оскребать надо. Я и согласилась: хоть накормят, думаю. Так и жила.

Весной в половодье нас, пока разлив, в Ульяновск перевели. Тут и война кончилась. Военных таких сильных, справных привезли откуда-то, а нас, молодёжь, собрали и — в лес. На разработку. В телячьи вагоны погрузили и отправили. Место такое было: дом лесничего, две конюшни. Лес кругом необозримый. Из одной конюшни барак быстро соорудили. Нары двойные, двухрядовые. Всех сперва собрали в одном. Скопом.

Потом второй оборудовали и разделили уж. В татарский барак я угодила. И вместе с одной бабой Мотей нас на одну лежанку определили. Она сторож, ночью работает, я сплю. Когда мне утром на работу, она ложится. Отдыхает. И нам три года ни копейки никакой за работу не давали. Я даже не знала, какие это... деньги. Только в Казани видала да хлеб вот продала за копейки тогда раз. А дали как-то ситец белый. Простую материю метражом. Не помню уж сколько. Татарочки мне мои, помню, раскроили кофту простенькую, и я сшила её руками. А потом сарафан. Они меня любили. Я ни с кем не связывалась, не ругалась никогда. Помогала всегда, что надо. И татарский язык понимать стала, да... Любила так, когда они пели. Хорошо так...

Норма рабочая на день была у нас — десять кубометров дров. Деревья свалить надо было, сучья все обрубить и в штабель готовый ствол поставить. Это рабочая разрядка. А когда приезжает машина за лесом, тебя никто не спрашивает: устала ты, есть ли хочешь? Грузим машину и едем в вагоны лес штабелевать. На разъезд, где состав уж стоит. Четыре человека на вагон, чтобы загрузить его. Двое внутри встречают и втаскивают брёвна, а двое снаружи подносят и подают. Два человека на бревно! И больше нигде не взять! Вот так... Тяжесть какая! А ничего не поделаешь. И тогда у меня лишь одна помощь была на всё это:

— Господи, помоги!

И бревно — на плечо, чтоб до вагона дойти. Так всё время и просила. Кого ещё просить? Кто поможет?

Тяжело слушать... Мне даже трудно представить, как это происходило? Но происходило же! Маленькие Стешины плечики погрузили сотни кубометров леса! Брёвен! Любое из которых могло надорвать, искалечить, выпав из рук... Немыслимо. А не придумано. Быль настоящая. История строительства Ульяновского автозавода... Когда она сказала мне, что обуви

никакой другой не было даже зимой, кроме калош, я застонала, как от зубной боли. А вместо носков и всего прочего для тепла лишь портянки тряпочные в несколько слоёв. Это мне показалось невыносимым. Просто чудовищным. Как она это перенесла? Один Бог ведает. Сама и теперь об этом не говорит совсем. Не жалуется...

— И вот в один день, моя радость, в воскресенье, пошла я на этот разъезд, сама не знаю и зачем. Это там, где мы вагоны загружали. Сорок восьмой звался, разъезд-то. Подхожу, состав стоит, ребята-машинисты возятся. Чего вот я у них спросила, куда, мол, они? Отвечают, что в Ульяновск. А возьмёте меня? Возьмём. Залезай в уголь. И... поехали. Проехали до остановки первой, я вышла. Опять иду. А куда? Как же я назад-то вернусь, думаю: ни денег у меня. Ничего с собой. Как я вот так? Иду, размышляю. А навстречу мне наш сельский парнишка попался, Ваня:

— К кому идёшь-то, Стеша?

А мне и ответить нечего. Не пойму и сама: зачем я уехала? Куда я? А, видно, так Господу Богу было угодно, иначе объяснить не могу. И взял меня этот Ваня на станцию с собой и на военном поезде — в сорок восьмом году это было — как-то договорился с охранниками, и уехали мы домой. Не вернулась я назад на свою лесозаготовку. Да и не на что было. А ни о чём другом не подумала. Что хватятся меня.

Недалеко от нас были торфозаготовки тогда. Я работать устроилась. Резали вручную торфяные кирпичики. Складывали, сушили. И вдруг приходит дед Семён:

— Стеш, а ведь тебя арестовали. Пошли. Я ведь за тобой.

Привёл меня в КПЗ. Закрыли. И до суда я там была. Судьи дали мне три месяца тюрьмы за уход с работы. Потому что амнистия подходила очередная. Если б не она, то сказали, мол, от пяти до семи бы лет получила. Тогда строго с этим было, с

трудоустройством. Увезли меня на открытой машине в ульяновскую тюрьму. Всё, как положено: с конвоем. И одну только ночь я в общей камере женской была. А там... Духота. Скученность. Окошечко наверху. Дым от курева столбом. Утром вывели на прогулку меня, и вдруг слышу:

— Качалина, на выход. Без вещей.

Повели в контору тюремную, отпечатки взяли с пальцев. Ладно. Назад привели. Маленько прошло времени, опять:

— Качалина, на выход. С вещами.

А какие вещи? Что на себе, то и вещи. Брать нечего. Привели в комнату отдельную. Три кровати стоят. Решетка на окне. Одна кровать уж застелена. Две пустые. Оказалось, что определили в тюремную столовую. И стала я разносить хлеб и обед по камерам. Постучу в окошко, подам поднос, там разделят тарелки, поедят, и я забираю. Два этажа. Камеры разные: мужские и женские. Так и носила. Если кого ведут по коридору, команда «бокс», и я прижималась к стенке. Так положено было.

Вот так я и прожила эту войну. Голод, холод... Ты думаешь, у меня валенки были?

А я ведь валенки и рисовала себе в утешение, слушая её о работе в зимнем лесу.

— Нет, родная моя: галоши и обмотки. Я ноги обмотаю ими и — в галоши. Разгружать машину с лесом ездили когда на разъезд, напарница посмелее, прыгнет быстро в кабину, а я не смею проситься. Куда? На дрова? Страшно и холодно. Знаешь, где я ездила? Прижмусь между кабиной и крылом, почти лягу, чтобы держаться, и так ездила. Бог миловал. Весной, в половодье, мы сучья жгли, а летом — лесоповал и погрузка. Был лес такой, что только верёвками грузить можно было. Лес есть лес. Он тяжёлый.

А я всё только:

— Господи, благослови!

После тюрьмы (всё же как нелепо звучит это из её уст) пошла работать в детский дом. Три километра от нас был барский дом когда-то. Хозяина, говорят, прямо на лестнице красные расстреляли. Дети в том детдоме были эвакуированные из-под Смоленска. Вместе с воспитателями. Все дошкольного возраста, маленькие. Днём мы картошку копали, осень уж. Гоняли нас то туда, то сюда. Делали, что надо было, а по ночам, когда дети спали, полы мыли. Кровати нужно было передвигать, они сплошь стояли, и мыть, чтоб восковые были, чистые, потому что доски без краски были. И мы их не скоблили, а делали из полыни веники и вот этими пучками отдирали до белизны с песком. На коленях. Сутки работала я, сутки отдыхала. Нас мало было. Девяносто рублей платили.

И вот в сорок девятом тятя вдруг приехал. В марте. Жил он тогда уже в Горьковской области. В Дзержинске. Женился, другая семья у него. Чего-то вспомнил про нас двоих с братом, а решил забрать только меня. Ехали с ним в вагоне на второй полке оба. Он молчал, что к мачехе меня везёт. А я не спрашивала и не знала. Оказалось, жили они на частной квартире. Вокруг одни химические заводы. Тятя работал с завербованными из-под Нальчика. Они по вечерам, после работы, так пели. Как артисты! Голоса чудные! Рабочие их просили, и они пели. И я приезжала послушать. А предприятия вокруг вредные стояли. Химия сплошная. Многие травились, здоровье теряли. И уезжали, как срок вербовки кончался.

Привезла через год я брата из деревни. Пошла сама устраиваться на автозавод Горьковский. На химические тятя не велел устраиваться. Пришли с одной девушкой в отдел кадров, а там разнарядки только в кузовной корпус. Ох, а он и опасный! Руки часто отрывало людям. Там прессы. А мне страшно было. Но всё же уговорила меня одна работница в этот корпус на среднюю штамповку: она сама там работала. С подружкой взяли

нас в этот цех, сам начальник обрадовался, что молодые мы, когда встретил. А то, говорит, вчера прислали двух старушек: как я с ними? И вышли мы на работу. Никаких комиссий. Сразу пропуска нам выдали.

Весной я заболела сильно, потому что сквозняков много, стёкла кругом побитые в цехах. Ветер гуляет. Температура у меня поднялась сильная. Когда пришла в больницу, меня прослушали и сразу в больницу. Я помню, ночь пролежала, а утром врач пришел меня послушать, а я встать уж не могу. И потом в бессознание ушла. Очнулась когда, медсестра рядом сидит. И не знаю, сколько я была в беспмятстве, спросить не решилась.

И проработала я на том месте семь лет. Жила уже на частной квартире сама. Комнатка маленькая, фанерой отгорожена. Кровать и всё. Я её сама купила. Места совсем мало было. Фанера даже до потолка не доставала. А тут и Николай мой из армии приехал...

Я не выдерживаю вновь. Прерываю её вопросом. Уж больно тепло и обыденно сказала она это «Николай мой». Когда же успел появиться? До этого момента Николай этот даже не мелькнул ни разу в её рассказе. А в жизни, выходит, был? Спрашиваю: знакомы ли были раньше или на работе приглядели друг друга?

— Мы познакомились, знаешь когда? — вопрошает скорее к себе самой мать Силуана. — Когда я за братом в село приехала, чтоб его забрать. И познакомились. Его в армию забирать должны были. Он адрес мой и взял. Так мы переписывались всё это время. Четыре класса грамотки во мне-то было.

Вот всё у неё так... Просто. Проще некуда. По жизненной кайме двигалась стёжка за стёжкой. Без жалоб, без описаний личных трудностей. Ни разу не сказала, как тяжело было или чтобы возмутило её хоть что-то. Всё принимала без рассуждений и выгадывания для себя хоть малого удобства или облег-

чения. Верила людям, принимала на слово всё, что ни скажут. Слушала я её и понимала, какая ценность всё же это самое смирение в истинной простоте, умение незлобиво принять всё... Всё, что ни послано судьбой. Ведь именно такие люди, как Стеша и её Николай, ни на что не претендуя и ничего особо не ожидая, умели проживать свою жизнь самоотречённо и честно, так и не научившись думать ни о сладкой сытости, ни о комфорте. Мелькало в рассказе матери Силуаны и такое признание не раз:

— А я безотказная была...

Потому и шла туда, куда сам бы никто не пошел. Разве что поистине безотказный.

Поженились они с Николаем. Он на шофёра выучился, стал работать. Первая дочка когда родилась, задумали было под Пермь ехать. Там, сказывали, жильё можно было заработать. Николай рассчитался и поехал, а Стешу по её безотказности начальник цеха уговаривал не уезжать. Обещал, что тоже с жильём поможет. Раньше при заводах было такое явление: коллективное строительство жилых домов при предприятиях. Выделяли место, стройматериалы, распределяли очерёдных, и после рабочего дня люди строили себе жильё сами, двухэтажные дома по так называемому «горьковскому методу».

— А была у меня тётя деревенская, Мария. Ей чуть больше сорока было, когда она к тятё приехала. А он и скажи ей: не пойдёт ли она ко мне с ребёнком сидеть, чтобы я на работу вышла? Витя уж у меня родился. И эта тётя с тех пор со мной так и жила до кончины своей. Уволилась всё же я, поехала к Коле. И тётя со мной, конечно, поехала. Как добрались до места, то все вместе в двенадцатиметровке жили. Впятером умещались. Сам (это она о Коле) уж под Сталинградом работал, поехал на заработки. На лесозаготовку. А что? Платили там хорошо. И за два года собрали деньги. Хоть и небольшие, но на дом.

Коля позвал жить в деревню, там дом купить. На земле, сказывал, всё ж полегче прожить. Это уж поехали мы к Нижнему Тагилу. И снова тётя с нами поехала. Коля уехал весной, пораньше нас-то, купил дом, всё сам и уж картошку посадил.

— А как же в Орск попали?

— После родов третьих мы купили к дому тёлку, овечек, курочек. У нас уж хозяйство своё. Даа... Сам-то всем хозяйством занимался, Коля-то. Но при Хрущёве всё ограничивать стали. Если корова — масло в сельпо сдавать надо. От кур — яйца. А как с тремя детьми? Давать-то не с чего было. Вот и беда...

С шестьдесят пятого года жили мы в Орске. И вот уж восьмидесятые. А я к брату и тятю всё ездила в Горьковскую область. Там храм тогда начали восстанавливать. Благовещенский храм-то. И приехала я к празднику как раз престольному к ним. Храм ещё не готов, штукатурить и штукатурить его, а народу на службе увидела впервые столько: руки не поднять! И люди много жертвовали на храм, много. На подносах, помню, деньги горами лежали. Истосковались так все по вере. Радостные такие. И там брат Алексей для меня молитвослов и Псалтирь попросил у одной женщины. Та и дала. И с тех пор я стала читать: молитвы краткие и Псалтирь. И вот было чудно: так быстро я наизусть выучила молитвы многие. Когда начала, вот прочту вечером, например, а утром встану — наизусть помню. Не знаю уж, как это было? Будто ангел помогал. Легко. Как само собой. Детей ещё в Горьком окрестила, хотя нельзя было. Наказывали ещё.

Удивительно, но как жила Стеша просто и безотказно, так и в монастырь попала. Будто само собой, как и всё у неё.

Когда в Орске начала ходить в храм, одна прихожанка позвала её как-то поехать в посёлок Херсон за Гаем, где начиналось сестричество. Самые простые вещи нужно было взять и прямо сразу ехать. Так и было. Даже раздумывать она не стала. Дома

мигом собрала самое необходимое и поехала. Это на восьмом десятке жизни с ней такой порыв произошёл! Сразу, с самого начала сестричества, была там Степанида. И недели ей мало стало для первого молитвенного подвига. Попросилась ещё на неделю остаться... А осталась на три года, пока болеть не стала сильно. Появились даже мысли о смерти. И как-то, приехав проведать сестёр, отец Сергей сказал ей такие слова, что похоронит её за алтарём храма. Чем очень удивил. Она искренно считала, что и заносить-то её в храм по грехам незачем, а вот во дворе отпеть — так было бы ей за счастье думать да раздумывать над этим и радоваться.

Когда отец Сергей заговорил с ней о монашестве, она тоже посчитала себя совершенно не достойной. Да и давление стало мучить. Разве она такая в монастыре нужна? Так вслух и рассуждала:

— Восемьдесят шестой годок! Куда? Такую меня батюшка уже и сам не возьмёт! — говорила. — Одна маета со мной.

Эти слова её и были переданы отцу Сергию. Ответ батюшки был тоже быстрым: хоть сегодня переехать насовсем в сестричество, которое уютилось пока на улице Васнецова при храме Георгия Победоносца. Монастырь тогда только начинал строиться.

Мать Силуана именно на этом месте своей простой речи оживляется совершенно и начинает жестиковать своими ручками, говоря:

— И вот тут я понимаю: ничего мне больше уже не надо! Ничего! Только сюда! У меня душа-то тут.

Дома дети сначала не хотели отпускать её. Дочь плакала. Сын младший говорил об обиде: как это так? Разве ей плохо? Приехал и старший сын. Все собрались. А она попросила их всех, просто и сердечно:

— Отпустите меня, детоньки, с Богом!

И услышала в ответ, хоть и с сожалением:
—С Богом, мама, с Богом.

А вещи уж собраны были. Так её и отвезли.

Когда монастырь был выстроен и его приводили в порядок, я видела уже своими глазами, как работала мать Силуана! Наравне со всеми, а то ещё и проворнее. У неё так споро получалось отмывать окна. Наблюдала я её и во дворе за уборкой территории. Труд её маленьких рук везде пригождался. Трудилась она всегда как-то задорно, заразительно и умилительно. Заговори с ней — она тут же выпрямится, сверкнёт искорками глаз и непременно скажет что-нибудь доброе и весёлое. К этим словам и прибавить совершенно нечего. На первый же зов Бога она, как и во всю свою жизнь, ответила безотказно, с радостной готовностью молитвенно трудиться, потому что был труд основой её простой и тем в глазах Бога абсолютно чудесной жизни. А Он знает, кого особо призывать к ангельской монашеской стезе. И возраст тут совершенно ни при чём!

МОНАХИНЯ МАКАРИЯ

Странная штука — симпатия. Необъяснимая. Ни с какой точки зрения! Видишь человека порой лишь несколько минут, и что-то внутри тебя сразу затеплится: то ли радость неброская, успевшая согреть собой, то ли близость по каким-то не осозанным пока моментам в движениях и голосе. Не знаю. Трудно это в слова заключить. Они до самой главной сути явления не дотягивают.

Мать Макария, на мой взгляд, величественно красива! Не знаю, какой была в юности. Но именно сейчас часто посматриваю на неё и люблю её. Мне очень нравится гармоничная, со всеми иными составляющими эта несуетность внешняя,

которая есть отражение внутренней собранности. Очень люблю вглядываться в её закрытое со всех сторон апостольником лицо. И на многочисленных монастырских фотографиях глаза в первую очередь стремятся отыскать именно его. И кажется мне, что даже морщинки на нём гармонично упорядочены. Симметрично проложены жизнью. Глаза спокойные, глубоко посаженные, с округлыми, но чуть опущенными книзу краями век. Надбровные дуги потому кажутся нависающими сверху, как гроты над морской водой. А дальше — умная глубина... Руки у неё тоже красивые. Пальцы длинные и сильные, как у музыканта. Ладони крупные, рабочие, привыкшие трудиться. Кисти с выступающими белёсыми косточками сверху по суставам.

Говорит она неторопливо, амплитуды голоса невысоки. В нём спрятана характерная хрипотца, свойственная любящим молчание людям. Потому, когда заговорят они, голосовые связки словно неохотно расступаются для звуков, приглушают их. Если она чему-то радуется, то улыбка неспешно тянет в стороны линию губ. И, увидев её, понимаешь: это проявление, идущее из глубины сердца, а не дежурная эмоция гостеприимства. А ещё мне казалось после первых встреч, что она очень строгая. Видимо, это от той же собранности, к которой она давно привыкла и сама её уже не замечает. А скажи — так будет отказываться: не про неё. Волосы давно белы, как степной, вызревший ковыль на взгорке. Отливает чистым блеском.

Подобье таких лиц можно найти на Коринском полотне «Русь уходящая». И зная, что оно не было закончено, я мысленно поместила бы облик матери Макарии именно туда. Пусть время не совпадает. Но теперешнее монашеское её содержание вполне могло быть вписано в идею грандиозной картины. Когда я буду работать над портретами моих героинь по благословению отца Сергия, то, возможно, первой начну писать её лицо.

Жизнь Матери Макарии, носящей после пострига имя святого величайшего подвижника, можно назвать совершенно, по её словам, обыкновенной, лишённой и в рассказе каких-то особых эмоционально цветовых оттенков. Она всё пережила в себе, уложила в определённые ниши памяти. И теперь живёт будто одним настоящим, которое как пришло к ней, так и стало самым главным. И трудится она теперь над этим главным, как трудилась всю свою жизнь прежде, научаясь с молодости честному ко всему отношению. Чтобы всё по совести. Этот критерий главный.

В её рассказ не хочется вставлять почему-то никаких дополнений. И пусть он звучит, как звучал от неё самой. Лишь по самым основным событиям и этапам жизни, с самого её начала, где, вспоминая детство, мать Макария тоже не удержалась от слёз. Голос дрогнул уже на третьем предложении. Веки наполнились. Но ни капли не уронила на апостольник. Смахнула ладонью с сильными пальцами сразу всю влагу, справилась с волнением, задышала ровнее:

— Родилась я в тридцать девятом году в нашей области, в селе Новосамарском. И родители тут жили. Мне три года всего было, когда умерла мама. Сначала воспаление лёгких получила, потом начался туберкулёз. Открытая форма. Говорят, когда нас хотели забрать две тётки, что жили здесь же, в селе, мама меня от себя не отпускала. Спала даже со мной. И нет, я не заразилась. Хотя в сорок втором году уж ни мыла не было, ничего. Бельё ходили стирать на речку.

Было нас трое детей у лежачей мамы: сестра девяти лет, другая шестилетка и я, трёхлетняя. Это уж война была.

Иконы у нас всегда были в доме. Они и посейчас те же. Целы. И знаю, что тятя всегда говорил, наказ это его будто:

— Живите с Богом. Только с Богом, дети. Никого никогда не обманывайте. Выгоды своей не ищите. — Хотя я не видела,

чтобы перекрестился хоть раз. Храма в селе тоже не было, конечно: сломали. Ближайший — километров за семьдесят, в Кувандыке. Но Пасху все праздновали всегда. А для нас, ребятишек, это такая радость была великая. Ждали как!

После смерти мамы тятя женился. Один бы не справился. Взял из села же, здешнюю. Да не смогла прижиться в доме она с чужими детьми. Разве просто это?

Отец взял в дом другую женщину. Она и растила нас всех как могла. Мама приёмная тоже никогда о Боге не говорила. А вот обе тётки мои молитвенницами были, но молились по домам. От Бога не отходили и не отошли. Но нас к вере не приучали. Ничего не говорили.

— Первые четыре класса закончила я в своём селе. В школу первые четыре класса ходила за три километра каждый день. Потом — в Чулпане семилетка. Тоже ходила. А закончила уже в районной школе, в Зиянчурино.

Тятя работал бухгалтером в сберкассе, имея четыре класса образования, а грамотный был какой! Его и взяли потому на приём денег. Но ещё до смерти Сталина указ вышел такой в одно время: не принимать деньги от населения после шести часов вечера. Но случилось так, что он принял по просьбе заведующего сберкассой сумму какую-то в пятнадцать минут седьмого. Стало известно о нарушении приказа. Кто-то сообщил, видимо. И осудили их двоих по групповой статье. Дали по 10 лет.

Мать приёмная нас не оставила, когда тятя в тюрьму сел. Бить она нас — не била. Но ласки, конечно, не было. Растила и растила. Кормили, когда без отца мы были, две тётки нас, делились продуктами. Да мы почти и жили у них.

В пятьдесят третьем году Сталин умер в начале марта. А уж в конце этого месяца тятя домой и вернулся. Отпустили.

Когда я десятилетку окончила, поступать в медицинский

хотела, но не добрала баллов. Конкурс тогда был большой. Осталась пока в селе.

Тятя раньше умер мамы на много лет. Мама с нами осталась, ни куда не пошла. Мы её ведь мамой все и звали. Потому не оставили одну до смерти.

А после школы два года ещё я никуда не могла поступать, работала на лесопосадке: мама ногу сломала как раз, на костылях только и ходила.

Дядя по маминой линии у нас в Москве жил, а тётя одна ещё в Алма-Ате, в Казахстане. Я им письма написала, что хочу поступать. Ищу место подходящее. Ответила тётя: и поехала я в пятьдесят девятом году к ней в Алма-Ату. Помню, как меня дома собирали в поездку! Вот где нищета! У нас учительница тогда на квартире стояла, так и она участие приняла: из нижнего белья дала мне хоть что-то. Штанишки какие-никакие. Большие, не по размеру. Но взяла. Ничего ведь не было.

Отправилась я туда уж в декабре. И там устроилась сразу на хлебокомбинат, в подсобные рабочие, в булочный цех. Девка я деревенская, здоровая, работать могла. И меня за это все любили. На укладке тяжело очень: вся попечённая была, в болячках, в ожогах! Основная работа — по ночам. Если надо остаться было за кого-то в смену, всегда соглашалась. И хвалили меня. Два года отработала, бригадиром поставили. Поступила заочно в Московский институт пищевой промышленности. Шесть лет отучилась. Комиссия тогда приезжала прямо в Алма-Ату. Там и защитилась. А вот технологом работать не захотела. Попробовала — нет, не моё. Ну что это за работа? Один-два анализа пробы сделаешь и сидишь. Нет, я работать любила.

Перешла в Московский оргпищепромтрест, отделение было тогда и в Алма-Ате, да и во многих союзных республиках. Как перевелась, так и 29 лет отработала на одном месте. Прямо до самой пенсии. Замужем была, да. А детей не было.

Те года ведь какие были? Все почти жили без Бога. Совесть только и была. Когда на пенсию пошла, уж девяностые начались, а у меня ещё ни иконок, ни книг никаких не было.

Кума у меня первой в храм ходить начала. А я боялась даже войти, хотя душа тянулась к божественному. Вот в газете где увижу что написанное про храмы, прочту, и сердце само откликается.

У священника одного прочла о покаянии. И стала думать: а как это? Каяться? У кумы всё спрашивала:

— Вот заходишь в храм, а что там? Как?

Сама и думать не смела. Конечно, партийная же была. Начальница. Ещё совсем молодой считалась, а уж партию предлагали. Разрядки ведь были, а я руковожу. Но долго отказывалась. Уж потом заставили-таки на предприятии. Кума Валя тоже партбилет имела, но она не в городе работала, а в поселке. Ей легче. Потому в храм ходила, но, говорит, встану в уголочке где-нибудь, чтобы не видно было, и так молюсь. Прятались ещё, побаивались.

Как-то договорились мы всё же с ней, что зайдём вместе. Уж больно я думала об этом всегда. Договорились, а она не пришла к назначенному времени. Я жду. Что делать? Не уходить же? Зашла сама с робостью. И боюсь, что увидит кто. Нашла уголок укромный, от света подальше, стою. В первый раз в жизни! Служба идёт. Ничего не понимаю. Попала на вечернюю как раз. И показалась мне служба длинной, долгой. Стоять тяжело с непривычки, спина изнылась. Но не ушла, до конца достояла. И всё оглядывалась: не видит ли кто?

Так и стала ходить понемногу. Однажды, позже уж, пришла на крестины, стою в храме и вдруг:

— Здравствуйте, Екатерина Ивановна!

Глянула — наш человек с управления, смутилась, но никто мне ничего не сказал на работе. Да уже и перестройка началась.

Хотя раньше докладывали в райком, знаю, списки верующих, вызывали. А тут перестали, видно.

И стала я уже часто ходить в храм. Время такое началось. Вот так я и стала верующей... Обыкновенно.

Когда осталась одна после смерти мужа, переехала в Орск. Две сестры у меня тут с семьями были:

— Чего ты одна? Переезжай к нам.

И я переехала. Продала там, в Казахстане, квартиру. Впервые тогда начала молиться горячо Николаю Чудотворцу. Акафист читала ему. Чтоб помог продать жильё. Трудно это тогда было. И правда, словно по помощи свыше покупатель нашёлся. А ведь время такое подступило: и убивали, и деньги отбирали. Ехала когда, благословение взяла в храме у священника. Деньги же при мне были. И на таможне обошлось всё, в бумаге моей пропускной почему-то не было указано, что я насовсем еду в Россию. А иначе бы меня и не выпустить могли. Увели и обчистили бы запросто. Так тогда многие и жилья, и денег лишились. А я доехала. И точно знала, что Николай Чудотворец мне помогал.

Приехала как раз Великим постом. Сперва багаж отправила. А сама осталась ещё в Алма-Ате. И первую неделю всю там ещё в храм проходила. Потом уж сама двинулась поездом.

Гражданство приняла ещё в Казахстане. А говорить об этом вслух лучше не надо было. Вот такие времена стали! Приехала в Орск, сразу пошла паспорт получать. И вот ведь: один день — и паспорт российский мне выдали. Чудеса просто!

Первый мой храм в Орске был на горе. Преображенский. Туда я пришла. И сразу прилепилась душой к отцу Сергию. Сразу. Именно к нему. И на исповедь только к нему стала ходить. Помню, что стеснялась: я слышу плохо, а батюшка говорит тихо, читает молитвы перед причастием тихо. Много не разбираю. Сказала ему как-то, а он отвечает:

— Ничего. Лишь бы ты была.

Так и была. Так за батюшкой и пошла: сначала в храм на Васнецова, когда строили. На все уборки являлась с радостью. А не просилась к нему в духовные дочери: не решалась. Потом посёлок Херсон появился, сестричество. Я там жила и молилась. Мы с матерью Антонией обе были. Ну, конечно, тогда ещё с именами светскими.

О монашестве сама я не думала. Жила и жила. Молилась, в храм ходила. Лишь бы с батюшкой рядом. Готова была поехать с ним, куда бы ни позвал. И уж когда батюшка монастырь начал строить, у меня цель появилась: хочу постриг и монашество. Так и стала монахиней с именем Макария.

Да, именно они с будущей монахиней Антонией были первыми постоянными насельницами херсонского сестричества. И потом одними из первых — монахинями. Это уже когда при старом деревянном храме кельи обустроились для будущего монастыря. И они стали готовиться к монашеству.

Матушка Ксения, игуменья, совсем недавно рассказала мне историю с кувалдой. Спросила, знаю ли я о ней? Нет, не знаю. Тогда она поведала следующее...

Под осень, когда монастырь на Тракторных Прицепах ещё строился, решили они по благословению владыки Иринаея посадить на пустыре, что через дорогу от будущего монастыря, несколько десятков ёлочек. Вернее, их уже посадили раньше. А чтобы хвойные малышки выстояли под снегом, приехали монахини вбить рядом с каждой ёлочкой по колышку, чтобы привязать их для поддержки. Да упустили тёплые деньки. Уже морозило ночами, и земля закаменела. Не возвращаться же назад, если приехали дело делать?

Кто-то сказал, мол, хорошо бы принести кувалду. Она тяжёлая и своей массой сможет пробить землю, если хорошенько ударить сверху. Пошла матушка Ксения сама к рабочим. Они

вынесли кувалду и вновь скрылись в здании. Матушка взялась за ручку, попыталась поднять, да не тут-то было! Поволокла её по земле, понимая, что и это непросто. Но тут её увидела мать Макария и бросилась на помощь. Матушка ободрилась, думая, что теперь уж вдвоём они точно справятся, чтобы доволочь кувалду до пустыря. А мать Макария, подойдя к игуменье, молча подняла кувалду и сама закинула её к себе на плечо. Развернулась и бодрым шагом направилась к месту работы. Матушка обомлела и в восхищении бросилась догонять худую по комплекции, но жилистую «богатыршу».

Самое интересное ждало всех впереди. Мать Макария, не сказав ни одного лишнего слова по поводу дальнейших инструкций, сняла с плеча кувалду и, размахнувшись двумя руками, вбила первый кол в мёрзлую землю. Все ахнули. А она продолжала колотить по деревянным конусам, будто молотком по гвоздям. Восхищённых возгласов не слышала по причине глуховатости, а удивлённых глаз не видела по причине трудового энтузиазма. С тех пор довольно долго сёстры с улыбкой, глядя на неё, кто про себя, а кто и вслух, восхищённо произносили одно лишь слово:

— Кувалда!

Как она трудится, так и молится. Глубоко уходит внутрь себя в молитве. Видела не раз, как она замирает порой, когда вокруг что-то решается или обсуждается совместно в монашеском кругу или на чаепитии у батюшки. А ещё когда гостей принимают за трапезой. Мать Макария закрывает глаза и... уходит в безмолвную молитву, по привычке сжав пальцы в кулак у самых губ.

При нашей беседе говорила она о себе скупой, неспешно и размеренно. Ещё раз всё же дрогнула голосом, когда речь пошла об отце Сергии. Но знаю, что всей полноты чувств и благодарности от того, что появился он в её жизни, словами было

не выразить. И дело тут не в умении говорить и описывать состояния и ощущения. Душевные связи можно ещё вместить в слова. А вот когда соединяет Дух Господень, таинство любви в словах не нуждается.

На том и поставим очередную точку.

МОНАХИНЯ МАРИЯ

Если бы не монашество, она бы пропала. Характер решительный, порывистый и горячий увёл бы её хоть куда, только бы подальше от пустой квартиры и горя, свалившегося так внезапно на пике драгоценного её счастья. А было у счастья тёплое, шелестящее, как листва золотая по осени, имя Алёша...

Вот с фотографии смотрят умные мужские глаза. В такие хорошо глядеть в радости, а при горе и неурядицах они вберут в себя всё, что выпадает на долю двоих, и будут до последнего согревать возможным теплом и покоем: не волнуйся, всё хорошо...

Так и было. Её Лёша в те последние полгода смотрел на неё дома слишком тёплыми глазами и молчал до тех пор, пока... Пока однажды утром больше не смог подняться, чтобы пойти на работу. Так она узнала, что он неизлечимо болен. Он сам сказал ей об этом, когда она отказалась верить:

— Марина, я врач. Я знаю...

Надо было знать и характер тогдашней Марины. Она готова была схватить его в тиски своих рук, трясти и кричать, рыдая:

— Почему? Почему ты ничего не сказал? Почему только сейчас? Неужели уже ничего нельзя сделать?

И она задавала бы ему эти вопросы, только внутри в тот миг что-то надломилось и откололось. Это распалась, рушилась, разлеталась на части её прежняя чудесная жизнь. Трясти мужа за плечи она не посмела: он был слаб, хрупок, больше не имел

сил молчать и бороться в одиночку. А её сердце с того дня полетело в бездну, глубина которой была с непоправимое отчаянье.

Она по-прежнему молода и красива. Её трудно до сих пор всем родным и бывшим знакомым вместить в монашеские, отгороженные от привычного мира рамки, облачить в чёрное вместо цветного. В длинное вместо короткого. В кроткое вместо взрывного и прямолинейного. Но она уже монахиня. С чудесным евангельским именем Мария, в котором и неотделимая от своей сестры Марфы, «избравшая благу часть» сестра Лазаря, что застыла у стоп Спасителя, забыв обо всём. И загадочная Мария Клеопова, стоящая у креста с распятием Учителя. И та Мария, из Магдалы, что первой бросится к воскресшему Христу при пещере погребения. И, наконец, самая кроткая в мире Мария, согласившаяся вместить в себя Бога. Ставшая одновременно матерью и оставшаяся «невестой невестною». А ещё та, которую чтим мы Великим постом как святую пустынницу, Мария Египетская. Вот какое у неё теперь имя.

Начав рассказывать о себе, она уверенно говорит, что путь к Богу неосознанно начался ещё в детстве. Ей нравилось складывать пальцы в троеперстие и креститься. Сама купила в магазине, в отделе с бижутерией, крестик из камешков и носила его, не будучи даже крещена: тоже нравилось. В подростках она по выходным оказывалась странным образом на горе Преображения, где стояла колокольня — остаток от разрушенного храма, а потом спускалась в Покровский нижний храм, где шли службы. И странным было то, что с подружками она вообще-то собирались ехать совсем не туда.

Крещение приняла вся семья в один день. Мать Мария вспоминает, что это предложил папа. А препятствий к тому было в тот день масса! Уже в довершение ко всему по дороге в храм их остановил работник ГАИ за превышение скорости. Тогда папа буквально просительно вскрикнул:

— Да пустите вы нас! Я везу всех креститься!

Гаишник оказался не лыком шит, сметливый, стал возражать с недоверием: кто ж, мол, в такое время, под вечер, крестится? Но и родитель не отступал: договорился специально, чтоб всех враз после работы, и надо приехать без опоздания. Сработало: все были отпущены.

Так и крестились впятером: мама, папа, сестра, младший брат и Марина. Всем отец купил простые самые крестики. Закончился обряд, все вернулись домой, в обычную жизнь. Но показалось тогда Марине, будто жизнь её дальше пошла как-то иначе, качество будто иное стало. И отношение к жизни гораздо внимательнее что ли? Или это благодать покрова Божьего начала проявлять себя в действии, а она уловила?

Но молитвы не было ещё тогда. А появилась, пожалуй, впервые, когда, насмотревшись замужнего опыта своих подруг, как-то взмолилась она в высоту, стоя на балконе вечером и глядя в бездонность неба, в звёздную мерцающую россыпь:

— Господи, покажи мне любовь истинную. Дай мне её. Чтобы одна единственная — и на всю жизнь. До конца.

И через некоторое время в её жизни появился... Алёша. Вернее, не просто появился, а проявился сначала в несколько ином качестве, если первой встречей считать уже их первое свидание потом, как это бывает. Потому что в травмпункт обычно приходят без каких-либо романтических порывов: там не до этого. И она тогда сломала ногу и пришла за рентгеновским снимком, подтверждающим перелом. А ещё, соответственно, — за гипсом. Именно там она во второй раз увидела своего Лёшу. Хотя был, конечно, и первый.

Он случился гораздо раньше, но в этом же кабинете. И для этого первого раза вполне хватило укуса собаки. Тогда уже она обратила внимание на молодого и симпатичного доктора-травматолога. Травмпункт вообще как-то слишком настойчиво

предлагал ей поводы для посещения: то растяжение, то ушиб. Бедовой девицей была Марина. Билась в детстве наравне с мальчишками во дворе за справедливость. Играла потому совсем не в куклы.

Но именно в последнее посещение вышеназванного заведения, с ногой, стоя в коридоре с мамой и дожидаясь приёма, она машинально, будто в большей степени для самой себя сказала вслух:

— Мам, видишь доктора? Я выйду за него замуж.

И проводила глазами до двери кабинета идущего Алёшу. Мама попыталась охолонить дочку:

— Не выдумывай. Но Марина без тени сомнения отрезала:

— Выйду, мам.

Через год они «случайно» встретились в городе на центральной площади и познакомились.

Она никогда не сомневалась после их главной встречи, что это он и есть: единственный на всю жизнь, её Алёша. Хотя отношения развивались по-разному. И не всегда идиллично. Но, имея самостоятельный и упрямый характер, никому с позиции силы сызмала не подчиняясь, даже родителям, с ним она постепенно становилась иной: перевоспитывала себя. Научилась с благодарностью подчиняться его мужской за всё ответственности, перестала считать себя центром решения всех проблем. Во-первых, разница в возрасте была в шесть лет, и она ощущала его внутреннюю зрелость. Во-вторых, он сам сказал ей как-то:

— Марина, я мужчина. И в доме главным буду я. Тебе придётся с этим смириться. Ты фамилию-то менять будешь? Будешь Воронцовой?

Так он позвал её замуж. Она согласилась. И она смирилась. Хотя притирка была нелёгкой и довольно продолжительной.

Изменения они заметили оба, когда Алёша принял полноту крещения. До того считался лишь погружённым. Храма не

было там, где он жил, священника — тоже. Крестили в таких случаях богомольные бабушки с уговором, что при возможности полноту крещения нужно дополнить миропомазанием. Случай представился, когда его позвали в крёстные, и он обрёл крещальную полноту.

Многое бурное с того дня вдруг удивительным образом улеглось в их отношениях. Пришло понимание: с жеста, со взгляда, с полуслова. Закончились ненужные споры и выяснения лишних деталей. Слово высшая житейская мудрость опустила над их домом покров покоя.

— Кажется, сам Господь пришёл и невидимо поселился у нас. Всё любовью управлялось. И прожила я девять лет в настоящей сказке, — произносит мать Мария с улыбкой. А я радостно изумилась тихому Божьему «многообразному чело- веков управлению».

К первому причастию она пришла в храм после осмысления одной серьёзной неприятности, случившейся с ними за пределами дома. Наметилась как-то в выходные поездка с друзьями в зону отдыха на Урале. И что-то в Марине сразу щёлкнуло тогда тревожно. Ехать совсем не хотелось, но отказываться было бы странно: всё договорено. Ещё одним покуда не осмысленным сигналом стал отказ сестры отпустить с Мариной племянника. Всегда позволяла брать его, а тут вдруг — нет! И не напрасно. Случилась драка, когда вызвали такси, чтобы добраться домой. Неожиданно к приехавшей машине вывернулась подвыпившая изрядно компания, на которую Марина с тревогой ещё днём успела обратить внимание: слово за слово. И ведь она тогда вышла встречать такси одна, пыталась уговорить молодых людей одуматься и не спорить. Увещевала, не хотела ссоры. С ними на отдыхе был ребёнок друзей, нужно не затемно вернуться домой. Но — напрасно. Кто-то из пьяных парней просто ударил её по лицу. Она закричала. Лёша мгновенно

бросился на помощь и не избежал неравного боя. Бьющих было двенадцать человек. И избивали они Алексея жестоко и истово. Марина пыталась мешать, но её отбрасывали. Милицию было вызывать почти бессмысленно. Да и администрация дома отдыха сразу обратиться за помощью не посчитала нужным. Все попрятались. Из соседних домиков никто не вышел. Женщинам с ребёнком вообще приказали отойти от греха. А его... Его просто убивали в жестоком водочном угаре. И всё же кто-то из отдыхающих позвонил, как выяснилось. Приехала милиция. В этой машине их двоих с Мариной и привезли в больницу. Сотрясения мозга не обнаружили, но Алексей был чёрный от ударов.

Тогда Марина впервые захотела на исповедь и причастие. Вспоминает, что во время драки проклинала нападавших, гневно кричала, желала немедленного отмщения для обезумевших парней. И хотя всё было, как ей показалось, в первый раз неуклюже и скомканно и грехи она написала на листочке, всё же душа ощутила нечто из иной области покоя, нежели известного ей покоя жизненного быта. Не хотелось никуда уходить. После службы она села в храме на скамеечку и подумала, что могла бы сидеть и сидеть здесь долго, очень долго. Так стало хорошо и легко. Странно, что снова нужно выходить в город, к людям, в суету и шум... Душа наслаждалась тишиной. Ещё не развеялся и не осел запах сладкого ладана. Внутри тепло щемило. Но её ждал дома Лёша! И она тогда пообещала Богу: пусть только он побыстрее пойдёт на поправку. А она почаще будет ходить в храм. И совсем откажется от традиционных встреч с подругами по пятницам. Будет больше бывать с ним, ещё больше любить его.

Вечером пришли гости. И её первый опыт исповеди получил добрую, хотя и ироничную оценку от окружающих: кем же ты будешь впоследствии, если так говоришь о церкви и ощущении

себя в ней? И вдруг её Лёша произнёс очень серьёзно и будто с какой тайной грустью:

— Она монашкой будет...

Слышать ей это тогда было нелепо. Какая монашка? С чего бы? Когда он повторил утверждение ещё раз, реакция вспыхнула и вырвалась из её прежнего характера:

— Дурак какой-то. Как это? Ты же у меня есть!

Всё стало ясно гораздо позже... А тогда она и предполагать не могла: когда муж ездил на специализацию в другой город, случился с ним там первый приступ смертельной болезни. И когда взяли анализы, сказали про серьёзные и необратимые процессы в печени. Он уже всё знал о себе. Один на один встретил приговор. Один готовился к уходу. Но ничего не знала Марина. Лёша берёт её, сколько мог. До того самого дня, когда не в силах был подняться от слабости.

В храм она всё же ходила, правда, не так часто, как обещала тогда Богу. Появились и первые иконки. Она их купила для Лёши: Алексея, человека Божия, Ксении Петербургской, Матроны Московской, Николая Чудотворца. Иконки были с молитвами. Всё это она тайно положила в тот кармашек борсетки, которым он обычно не пользовался. Ведь говорить о Боге в доме не было принято. Как-то Лёша сказал ей, что область веры — это внутреннее пространство человека, и он не готов открывать его.

Но вечером, вернувшись с работы, обнял и сказал тепло:

— Спасибо. У тебя был такой загадочный вид вчера, и на борсетку ты то и дело поглядывала. Я решил проверить на работе и... обнаружил.

Но более всего он был рад своей именной маленькой иконке: человеку Божьему Алексею. Забегу вперёд и скажу: вот хотите верьте, а хотите нет, но постриг её немногим более, чем через полтора года был именно в день... Алексея, человека Божия. Тогда и стала она «монашкой».

Помнит мать Мария, как переживали они, что не давал им Бог детей. Она плакала часто, а Алёша говорил:

— Ну что ж... Значит, не заслужили мы у Бога пока детей нашей прошлой жизнью.

Но обвенчаться согласился, когда Марина предложила:

— Если ты очень хочешь и для тебя это важно, то я не против. Хотя все слова тебе в ЗАГСе сказал, добавить нечего.

Этот разговор у них был в апреле. Но закрутилось как-то всё. У Марины появилась новая работа, все силы были отданы туда, а в августе Лёша слёг. И не было в земной жизни их обряда венчального... Лишь обоюдное согласие было.

Лёша «сгорел» за две недели. Всего лишь за эти недолгие четырнадцать дней.

Одну неделю до реанимации он ещё был дома. Не хотел в больницу, понимал, что уже не вернётся, и радовался каждому проведённому вместе часу. И ещё, если были силы, уходил на работу. Хотя медсёстры потом рассказали, что работать уже не мог. Один из дней просто пролежал на кушетке. Домой отправляли, да только он не хотел: сопротивлялся болезни до последних движений. И Марину пугать не желал, всё оттягивал время: до последних прощальных слов.

Был у них особенным и их последний выходной день. Она не отходила от него ни на шаг. Вместе они шли пить чай, говорили о разном, не разнимали рук. Она лежала на его плече. Взгляд у Лёши был пронзительный и грустный. Она понимала: прощается. Убегала прореветься в ванную.

В готовую для него палату не соглашался ложиться до того момента, пока давление не упало до критических единиц. И когда оказался всё же на больничной кровати, врачи понимали, что шансов у него нет. Попросили Марину забрать у него цепочку и обручальное кольцо. Цепочку Лёша снять позволил, а кольцо нет. Снял сам, зажал в ладони и не давал забрать. Марина уговаривала:

— Ну чего ты? Вернёшься домой и наденешь. Но он уверенно сказал: — Нет, Маришка. Нет, я уже всё.

А она гнала плохие мысли, не придавала его словам трагического значения, не верила. Лёша и смерть не совмещались в её сознании. Оно сопротивлялось. Да и врачи не забирали у неё надежды, пожимали плечами, давая возможность цепляться сердцем за чудо. В один из дней она ушла вечером домой, а когда появилась утром, Алёша был уже в коме. Медсёстры сказали: он отключился сразу, как только она вышла из палаты.

Но и будучи в коме, он ждал её. Он слышал её, когда, войдя в палату, она начала плакать и просить его не уходить, рассказывала, как он нужен ей, как необходим. Ведь он её свет, её дыхание, сама её жизнь. Уходящий, он слышал ещё всё своим полусознанием. Знаком стала маленькая слеза, выкатившаяся на щёку. Тогда она начала осознавать неотвратимость его ухода. И всё же не ждала такого быстрого, каким он случился...

Днём ещё была на работе, и где-то в третьем часу вдруг поймала себя на звучании одной знакомой мелодии. В памяти слышимо крутились две строчки из любимой Лёшиной детской песенки. Это показалось странным. Но обдумать странность она не успела. Раздался звонок. Трубку брать не хотелось, она уже боялась звонков. И... Это был папа, в трубке она услышала:

— Мариш, я знаю, ты сильная. Держись, дочка, Алёши больше нет...

Всё дальнейшее и даже сами похороны она помнит плохо, хотя от уколов и таблеток успокоительных отказалась наотрез именно по причине того, что хотела помнить. После поминального обеда ей захотелось уйти ото всех, остаться одной. В их съёмной квартире. Но её вряд ли оставили бы, и потому пришлось слухавить: своим родителям сказать, что будет в одном месте, его — что в другом, а самой поехать туда, в то место, где должно было прийти осознание её теперешнего одиночества: домой.

Внутри зияла сквозная дыра. Чтобы не ощущать её, попыталась заняться стиркой. Везде были их вещи: почему-то начала собирать его носки, свои гольфы, всякую мелочь. Всё это положила в одну кучку. И вдруг... именно Лёшин носок плавно поднялся, сделал круг и сам полетел в машинку. Она видела это собственными глазами и осознавала, что не сумасшедшая. Вслух попросила: — Лёша, ну пожалуйста... Не пугай ты меня.

Поздним вечером легла спать в его рубашке. Обхватила себя руками. Знакомый запах живого тела, оставшийся в ткани, давал секундную иллюзию. Но разум тут же отнимал её: всё кончено. С её жизнью всё кончено. Спать не хотелось. Жить не хотелось. Дышать не хотелось. В какой-то момент ей показалось, что она поднимается над собой, над кроватью и пытается зависнуть в таком положении. Но кто-то осторожным движением опускал её на лежащее внизу тело. Так было несколько раз. Возможно, она действительно умирала по доброй воле, не желая больше жить. Но кто-то упорно боролся с ней именно за эту ненужную теперь жизнь. В последний раз был сильный толчок в грудь, она оказалась даже на другом конце большого дивана, словно отброшенная, и не почувствовать этого перемещения было нельзя. Она очнулась: болело сердце, дыхание слабое, его не хватало. Смогла позвонить маме и вызвать «скорую».

На другую ночь она заговорила — ей казалось, что с ним, — сама:

— Лёш, покажи, как тебе было больно.

И почти мгновенно боль пришла в область поджелудочной и печени. Невыносимая боль. От неё закружилась голова, она поднялась умыться и вот тут увидела, как нечто бесформенное, чёрное пролетело мимо. Больше она не хотела повторять подобного общения.

Жаль, но тогда Марина не знала, что нужно читать Псалтирь об усопшем. Что ей было бы гораздо легче, начни она всё время

молиться о его упокоении. И только небольшое время спустя одна из знакомых, беспокоясь о ней, посоветовала найти и прочесть житие Ксении Петербургской.

Узнав судьбу святой, Марина поняла, что ей непременно нужно в Питер. На Смоленское кладбище. Надо выплакать Ксенюшке всё своё потаённое горе, потому что лишь она поймёт. В это же время начала ходить по субботам на панихиды, молиться об упокоении души Алёши и читать семнадцатую кафизму из Псалтири.

Появились в её жизни те, кто ощущал её горе, старался помочь. Это были, конечно, родители и самые близкие. Но находились и те, кто не хотел верить в такую любовь в наше оскудевшее любовью время. Не зря говорят: там, где многие горбаты, стройность становится в их глазах уродством. Говорили, что от горя она просто сошла с ума, потому и начала ходить в храм. Говорили, что поскольку они не были венчаны, им всё равно никогда не встретиться и в загробной жизни: зачем тогда столько молиться и так убиваться? Некоторые откровенно удивлялись на улице, что она ещё жива.

Этот мир вообще принялся с усердием всячески уговаривать её то одуматься и взять себя в руки, то искать замену горю в каких-то делах, в карьере в конце концов. И потому он перестал быть ей нужен.

Нужным по-прежнему было самое главное — живая любовь, которую возможно ощущать, которой можно жить и с которой можно по-настоящему радоваться. Где-то интуитивно она уже начала понимать, что это вовсе не та любовь, о которой так громко и красиво поют, не та, о которой пишут страстные романы и издают в мягких переплётках с яркими обложками. С них едва вмещаемые в глубокие декольте и сжимаемые в объётах тарзановидных юношей смотрят куда-то в небо длинноволосые, с нездешней красотой большеюки

женщины. Нет, не такой любви теперь искала Марина. Совсем не такой.

Стоя на службах, она всё же часто сокрушалась о том, что не была венчана с мужем. Это не давало покоя. Все мысли были устремлены к не исполнившемуся по разным причинам желанию. И вот на одной из литургий совершенно неожиданно после раздумий над этим она услышала голос. Ни до того, ни после ничего подобного с ней больше не было. Объяснить, каким был этот слышимый голос, невозможно. И властным, и в то же время любящим:

— Венчается раб божий Алексей Воронцов с рабой божией Мариной Воронцовой.

Ей показалось, что ток пробежал по телу, её слегка тряхнуло, и мысль пришла мгновенно:

— Ну, всё, это уже явное сумасшествие...

Но в ответ голос повторил вновь те же слова:

— Венчается...

Сказать об этом она никому и не решилась бы... Подтвердился бы её самодиагноз. Но в третий раз те же слова прочлись ею по губам служащего священника, хотя в тексте литургии нет ничего подобного. Голос звучал, а она, глядя на батюшку, слышала будто от него самого слова об их с Лёшей венчании.

Когда она всё же спросила об этом, то услышала: верить голосам нельзя, что, кстати, абсолютно верно. Слышала и то, будто сердце «произнесло» само и приняло это для успокоения. А истинный ответ и покой пришли в душу, лишь когда она была уже в монашеском постриге. На одной из послелитургических бесед отцу Сергию, её духовнику, был задан кем-то из прихожан вопрос о несостоявшемся крещении умершего одного человека, который хотел крещения, но не успел совершить обряд. И тогда батюшка произнёс фразу, которая поставила точку в её сомнениях:

— Доброе намерение Господь всегда целует.

И ещё сказал:

— Бог говорит с нами. Но мы почти всегда не слышим Его голоса. И она больше об этом не думала. Через духовника пришло то, что рассеяло её личные сомнения. Насовсем.

А ритм её жизни тогда, после смерти мужа, похорон и сорока дней, стал особым: неделю она работала, суббота была обязательным днём панихиды в храме, подготовки к исповеди, а воскресенье — утром с литургией и причастием. Практически без пропусков.

Она молилась и дома. Чтобы молитва была чище, соблюдала постные дни, постилась перед причастием. Но жить одной было невыносимо. Их жизнь с Алёшей была тихой, уединённой, а шум вокруг становился для неё всё более тягостным. Она пыталась уйти к родителям, но и там не смогла. Пыталась делать ремонт в их бывшей квартире. Ничего не помогало. Ночного сна по ночам не было: то видения со страхованиями, то давящая осязаемая тяжесть. Бесовский морок нависал над ней, требовал дани тоской, раздумьями о никчёмности теперешней жизни, опасными помыслами, что всё можно прервать... Не мучиться. Это приходило к ней дважды: в первый раз до девяти ещё дней, когда она ощутила свою вину в Лёшином быстром уходе: та драка могла сказаться на ускорении болезни.

Вторая волна отчаянья накатила после сорока дней. Она носила в себе этот страшный помысел, ещё ничего толком не зная о том, что конец земной жизни — вовсе не конец для жизни души, от томления которой она и хотела освободиться. Ночью в провалах снов уходила за каким-то чёрным силуэтом мужчины и слышала голос Лёши:

— Не уходи. Не оставляй меня... Я без тебя не смогу.

И это были в точности те слова, которые они порой говорили друг другу в прошлой жизни.

А в это же самое время мама Марины увидела сон. В нём её умершие родители смотрели на неё и плакали. Оба. Проснувшись, она поняла, что может случиться что-то непоправимое именно с дочкой. Всё это вместе взятое словно отрезвило и саму Марину. Откуда-то пришло осознание: эти мысли в ней — к полной гибели. И исполни она задуманное, встречи их душ никогда не случится. Нужно молиться. Молиться о нём, как молилась Ксения Петербургская, бесконечно любя мужа, своего Андрея. Нельзя жалеть себя. Это неправильно. Припомнилось ей вдруг, что когда она сидела у гроба, откуда-то пришла, как лёгкое дуновение, мысль:

— Ну, значит, монастырь...

И как-то сами собой начали складываться сопутствующие события... Её попросили с работы, на которую помог устроить до проявления болезни Алёша. Сказали, что она профнепригодна на должности главного экономиста, но может согласиться на понижение и остаться. Она не осталась. И после увольнения даже ощутила определённое облегчение. Ничто земное больше не имело над ней власти. Осознавая точку, в которой находилась, она уже и смотрела на себя будто со стороны, иными глазами. У неё теперь совсем ничего нет: нет Алёши, нет детей, нет квартиры, нет работы. Денег тоже не было.

Но из Питера приехали друзья, с которыми их связывали долгие годы дружбы, и позвали её с собой. Для неё это значило одно: зовёт Ксенюшка Петербургская, ведь она так настойчиво молилась ей и просила:

— Приведи меня к себе!

Друзья предлагали кров, заботу. Она готова была ехать с ними и пожить там. Найти что-то по специальности, устроиться на работу. Но попала сначала в Липецк, к своей родной тёте...

Это теперешней матери Марии видно, как и зачем всё складывалось именно так. Как выстилал ей Бог путь к Себе. А тогда

она просто заехала к тёте, вся семья которой была глубоко церковной. И именно там к ней пришли ответы на мучительные вопросы, которые она задавала сама себе и не могла понять, почему Алексей ничего не сказал о болезни? Почему не захотел попробовать бороться? Лечиться? Может быть, они справились бы все вместе: он, она и их любовь, которая не скудела, не искала своего, долготерпела и росла день ото дня?

Дело в том, что в доме, куда она приехала, лежал раковый больной. Муж тёти. И то, состояние, в котором была сама тётя, задолго зная всё о его болезни, было невыносимее в сто раз её, Маринино, неведенья. Ответ пришёл к ней сам собой: Алёша и здесь уберёт её от того, что она увидела в этом доме. Как нужно улыбаться больному, а потом убегать подальше, рыдать неслышно и вновь возвращаться, что длилось долгими месяцами.

Марина начала жить рядом, но иной жизнью: она обходила храмы, молилась, очень мало ела. Но сил не убавлялось. Было ощущение, что её кто-то поднимает по утрам, зовёт на службу, ведёт дорогой, помогает молиться. Ничего больше было ей и не нужно.

Но её ждал Питер. Ждали друзья. Часовня Ксении Петербургской. Смоленское кладбище, где тишину звуком сотен крыл рассекают взлетающие от резкого движения разноцветные голуби. И слышатся из людского потока с утра до вечера тёплые слова акафиста:

— Радуйся, уныние тяжкое, душу сокрушающее от нас отводящая; радуйся, надеждо несумненную на милость Божию окриляющая. Радуйся, Ксении блаженная, молитвеннице о душах наших.

А просила Марина Ксенюшку вот о чём:

— Помоги мне вымолить Алёшу, как вымолила ты своего Андрея Фёдоровича. Если у Бога есть планы на меня: новое

замужество, дети, квартира, достаток, забвение прежней жизни, то скажи, что мне ничего этого не надо. Я хочу быть потом с ним. Только с ним. И трижды ездила она на Смоленское. Трижды просила об одном. Часто её дорога проходила мимо одного женского монастыря, душа тянула: зайти. Но ворота оказывались всё время закрытыми. А ей бы хотелось попасть туда, просто взглянуть впервые на монастырские стены, вдохнуть монастырский воздух. Где-то тайно, в самой глубине её сущности, уже ощущалось некое томление, зов, о котором она решилась впервые заговорить лишь здесь, в Питере, при близких друзьях.

Но Питер не оставил её в себе. Хотя на собеседованиях ей говорили, что готовы трудоустроить, но в разных местах случались разные изменения, и работа обходила её. Нужно было возвращаться. Снился Лёша, смотрел на неё грустными глазами. А перед самым отъездом, проходя мимо монастырских ворот, она, наконец, увидела их распахнутыми. После внутреннего борения всё же решилась войти и даже поговорить с одной из послушниц. Конечно, поведала о своём состоянии, о полных изменениях в жизни. А ещё, что ничего ей не хочется, кроме молитвы за мужа. Что есть мысли о монастыре, но она совсем не знает, а как это? Послушница сказала тогда ей очень правильные слова: она сейчас под особой благодатью Господа, просто не знает этого. И не надо мучиться. Если монастырь её путь, она сама не заметит, как Бог приведёт именно туда. Если же нет, значит, монашество не её дальнейшая стезя.

Вернувшись домой, она начала всё время думать о монастыре. Искать сведения, чтобы быть где-то недалеко от родителей. Понимала, что для них её решение будет тяжёлым.

Первой серьёзные раздумья дочери ощутила мама. Как-то она напрямую спросила:

— А ты не в монастырь ли надумала?

Ответ был коротким, ей не хотелось многословия: как Бог даст. И мама заплакала. Она знала Маринин характер. Знала, что никакие уговоры не подействуют, если дочь решится на уход из мира.

Перед годовщиной, за неделю или за две, боль и тоска утрюились, выедали всё изнутри. Она усилила молитву. Постоянно находилась в храме. И заметила, что особое успокоение приходило к ней после проповедей отца Сергия, которого она всё чаще хотела слышать. Подойти к нему стеснялась, но ей необходимо было поговорить с кем-то из священников, сказать о своём внутреннем зове. Один из батюшек просто накричал на неё, когда она попыталась сказать ему о своём решении. Он посоветовал ей почитать Феофана Затворника, чтобы она хотя бы имела представление о том, что такое монастырь! Что это бесконечный труд, лишения, борьба со страстями, а не то, что она себе навоображала!

Но этот резкий разговор ещё более усилил её внутреннее стремление. Женщины из храма стали советовать обратиться всё же именно к отцу Сергию. У него есть тяга к монашеству. Есть и первые четыре монахини в постриге. За городом, в стороне от заводского района, им с Божьей помощью строится монастырь. Но как говорить? С чего начать? Ей уже было сказано, что это просто фантазия, надо выходить замуж, рожать детей. Ей всего тридцать пять! Но объясняя, что ничего этого ей не нужно, она же просто зальёт слезами всё вокруг, не сможет убедить в главном...

И тогда она решила написать письмо. А практически исповедь. Описать свою жизнь до Алёши и те недолгие восемь с небольшим лет, которые они провели рядом. А ещё рассказать о том, что произошло и происходит у неё там, внутри. О той невыносимой, так и не утихающей боли, которую она ничем не может утихомирить. Ничем, кроме одного: молитвы. Она

просто писала, не думая даже, кому и как отдаст эту свою боль, едва ли вместившуюся в листы бумаги. Да и кто это должен и будет читать? Может быть, и писала для самой себя? Но когда письмо-исповедь было закончено, рука уверенно вывела имя: протоиерей Сергей Баранов. А в самом конце появилось предложение: «Подскажите, как жить дальше?»

Она сама принесла письмо в храм. Но батюшки в этот час не оказалось. Марина заметалась, не зная, что делать: оставить письмо секретарю или зайти в другой раз? Ей посоветовали не спешить и прийти самой в другой день. Выйдя из храма на улице Васнецова, она вдруг совершила странный поступок: села в трамвай, чего никогда прежде не делала. Трамвай тронулся, и, глядя в окно, она вдруг увидела... батюшку. Он шел неторопливо с двумя женщинами в сторону храма. Стоп-кран дёргать она не решилась. Подумала, что положится на обстоятельства: если на следующей остановке будет транспорт, чтобы вернуться и догнать отца Сергея, то она так и поступит. На остановке стоял трамвай и ждал её.

Письмо она отдала ему сама. Прямо в руки. Отойдя, заплакала какими-то странными для себя слезами. Это были слёзы облегчения, не отчаяния. Неведомо откуда пришла первая радость, неожиданная, необъяснимая, словно дарённая кем-то невидимым. Дома она обняла маму, но та и сама увидела перемену:

— Марина, у тебя сейчас такие глаза счастливые, как были лишь при Алёше.

Батюшка позвонил ей сам. Минут через двадцать, как только прочёл письмо. Потом они встретились ещё раз и поговорили серьёзно. Началась совместная молитва о том, чтобы Марину, в первую очередь в лице её родителей, отпустил от себя мир. С миром отпустил... С мамой ещё можно было надеяться на пусть слёзное, и всё же благословение, но папа... Папа — это

настоящая проблема. Он импульсивный, порывистый. Марина в свой характер зачерпнула большую часть его генотипа. Потому надо было продумать разговор весьма тщательно.

И вот она сказала ему, находясь в комнате и слыша, как отец возится на кухне после работы:

— Пап, а я решила уйти в монастырь.

В ответ довольно быстро прозвучало неожиданное:

— Ну монастырь, так монастырь.

Хотя можно было не предполагать даже, что этот словесный отпуст — лишь разминка перед бурей. Схватила маленького племянника, бывшего у них, и выскочила на улицу. И буря громыхнула незамедлительно. Уже выходя из подъезда, она услышала крик отца:

— Какой монастырь?! Тебе всего тридцать пять! Ты с ума сошла! Я тебе покажу монастырь! Да я куда угодно пойду!

Никуда не пошёл, помолчал несколько дней, а потом спросил:

— Благословить тебя надо, что ли? Благословляю.

И как-то странно это было. Совершенно необъяснимо. Что бы папа?! И так быстро? Душа не верила. Ожидала какого-то резкого выпада. И вот... Вдруг мама сказала буднично и твёрдо:

— А я не благословлю. И всё.

Но у Марины тоже спокойно вышло в ответ, как вздох изнутри:

— С вашим благословением или без него, я всё равно уйду. Просто с благословением буду знать, что у меня всё получится. И это будет мой путь. Ведь с вашим благословением обязательно благословит и Господь.

Но мудрая и добрая мама сама вскоре сказала так:

— Знаешь, Марина, я вот эти дни вспоминала всю твою жизнь: до замужества и то, как вы жили с Алёшей потом, то, как ты восприняла его смерть, какой становилась и стала за

год. Как я могу не отдать тебя Богу? Это ведь Ему. В Его руки. Не на войну же. Не на погибель. Что ж я так горюю? Благословляю, дочка. Иди.

Но тут снова взбунтовался папа. Нет — и всё! Ни в какую. Они даже перестали разговаривать, поссорились, хотя Марина открыто собирала вещи.

В день отъезда папа сам подошёл к ней:

— Идём, помогу загрузить в машину. Долго я смотрел на тебя, долго думал. Сначала казалось, что ты точно умом тронулась, потом думал, что кому-то доказать хочешь что-то, обратить на себя внимание, выделиться из толпы, и даже думал, что цену себе набиваешь. А потом я просто понял... Я увидел, как осознанно ты идёшь к этому. И потому — иди.

Они крепко обнялись, и Марина шагнула в иную жизнь, совершенно иную, практически ей ещё незнакомую, но такую желанную, выстраданную. Полную, наконец, каких-то светлых надежд, которые предощущало сердце, уставшее от бесконечного поиска того, что прекратило бы полёт в ту её безнадежную бездну и заполнило собой чёрную дыру потери. Она почему-то очень верила в это. Весь путь этого самого трудного в жизни года уводил её от мира и разворачивал к Богу. Звал. Она просто слышала этот зов. И дальнейшую жизнь решила сделать ответом.

Да только враг рода человеческого не собирался отпустить её к пути спасения без последней попытки и войны за душу. В какие-то дни, пока она ещё не переехала к сёстрам, тоска её стала внезапно такой чёрной... И ей показалось, что она не отступит от неё никогда. У неё было слабое сердце, оно порой болело, пошаливало. Появился навязчивый помысел: нужно просто пить крепкий кофе. Много кофе. И тогда, может быть, сердце само не выдержит и перестанет работать. Мысль не отступала. Она начала один из дней именно так, как думалось.

К вечеру ей стало плохо. Лицо побелело. Стали холодеть ладони. Лёжа в постели, она всё же испугалась. Пришли вопросы: куда собралась отправиться? Прекратится ли мучение, если насильно отделить душу от тела? Ведь и этот подсказанный ей в третий раз путь — обычное самоубийство. А самоубийца всегда даже хоронили за церковной оградой. За храмом, который один и спасал её всё это время, давал душе ощущение покоя, наполненности, той тишины внутри себя, которую она искала и жаждала. Поднявшись с кровати, она опустила на колени и начала просить у Бога прощения за нелепость последней попытки. Взмолилась о том, чтобы Господь услышал сейчас и дал ей ещё один, самый последний шанс, помог ей.

Этой ночью она была в аду. И следующей. То ли во сне, то ли в тонком видении она смотрела на множество красных и дымных кострищ, вокруг которых кружились мерзкие чёрные силуэты с глумливыми мордами. Она пыталась не спать, держать под контролем сознание, но оно уплывало, таяло, и в эти проталины, как в окна, лезли не менее мерзкие старушечьи лица, хохотали, скалились. И весь этот inferнальный ужас не отступал от неё три дня.

Когда-то её тётя из Липецка сказала ей фразу, смысл которой лишь теперь стал ей абсолютно ясен: одна молитва со слезинкой за Лёшу ценнее всех рыданий, метаний и саможалений. И надо думать не о себе. Раньше она помнила это, но приняла в сердце лишь теперь.

Постриг был определён Великим постом. Она начала готовиться. И пришли новые помыслы и сомнения: правильно ли она делает, не будет ли жалеть об этом, не слишком ли быстро, в тоске и горячке, принято решение? Брань приняла иное направление. Её будто увещевали, внушали жалость к нерастраченной в миру молодости. И тут вдруг позвонила давняя подруга их бывшей с Алёшей семьи. Она сказала ей именно те

слова, которые отбросили навязчивые спазмы саможаления: Лёша любил так глубоко, что, пожалуй, её любовь ничуть не превышает той меры и степени. Если есть они вообще, эти мера и степень. Нужно жить не собой. Нужно думать о душе Алёши. А ещё появилось желание расширить молитву, вместить в неё не только его, но и всех родных, близких, тех, кому необходима молитвенная помощь.

На постриг родители идти отказались. Они не готовы были смотреть на то, как их прежняя Марина «умирает» для этого мира, отходит от сонма людей, оставляет видимым образом всех, кто знал и любил её. И переходит к невидимой для всех жизни. Вряд ли они понимали, что при этом никто из них не исчезнет, не отодвинется, не забудется. Как раз наоборот: теперь они все станут смыслом её молитвы, её заботы о них, сокровенной внешне и соединяющей их новой глубинной связью. Связью в Духе.

Но промысел Божий и тут помог удивительным образом. У мамы заболели ноги, и она, обратившись в больницу, попала к медсестре, которая работала с Алёшей, тоже врачу по профессии. Она была верующим человеком и смогла объяснить маме, что именно происходит на постриге. Какой силы и благодати исполнено это таинство. Какой неземной красоты! И мама сказала:

— Да, конечно, я пойду!

Для Марины это стало Божьим подарком. На постриг пришли все, кроме брата, который всё же не смирился до времени с решением сестры. Пришли родители Алёши, племянники, двоюродные сёстры... Готовясь к таинству, Марина едва справлялась эмоционально от волнения и радости одновременно. Увидев перед таинством отца Сергия, она взглянула на него испуганными глазами:

— Батюшка. Кажется, у меня вот-вот будет истерика. Но батюшка улыбнулся и согласился:

— Ты же девочка. А с девочками это бывает.

Теперь она монахиня Мария. Сказать, что её совершенно оставило чувство потери, будет неправдой. И она не скрывает этого. Ей непросто. Но в теперешней жизни её есть мощный стимул, есть высокий смысл. У неё есть монастырская семья. Есть духовник, которому она доверила главную составляющую любого человека — свою душу. Драгоценную в очах Бога более всех сотворённых миров и галактик вместе взятых. А если это так, то и вся дальнейшая жизнь её приобретает теперь совсем иную ценность.

МОНАХИНЯ АГРИППИНА

Ей почти восемьдесят. Если начать перечислять все болезни, которые она претерпела с детства и которые составляли всегда пухлый том её медкарты, то один перечень займёт целый лист машинописного текста. Глядя на меня своими светло-голубыми круглыми глазами, она и сама всё время удивляется, что живёт, дышит, и самым большим чудом нелёгкой жизни считает свой монашеский постриг. И это действительно так. Её спасала в многотрудном пути её живучесть, энергия движения, доброе сердце, а ещё цепкость, которая никогда не позволяла ей отойти от храма, как только она поняла, что кроме Бога никому так не нужна. Лишь Его живой, всеобъемлющей и готовой вместить в себя и её маленькое сердце Любви. Это Он всегда помогал ей дышать, а не умереть. Он звал её дальше и выше. Он давал ей ощущение радости в самые нелёгкие моменты, не позволяя отчаянью завладеть силами души. Она была лёгкой на подъём, закалённой в нужде и готовой двигаться туда, где видела свет среди тьмы.

Почему-то очень чётко представляется она мне в возрасте лет восьми-десяти. Совершенно худенькой, почти прозрачной

девочкой с внимательными, ярко-голубыми, как два цветочка незабудки, глазками. Рассказывая о своей жизни, она ни разу не заплакала. Только каждый раз, подходя к моментам самых сильных испытаний и страданий, которые, в сущности, и не прекращались, не забывала она удивляться тому, откуда и как брались силы? А потом неизменно отдавала дань благодарности Богу и накладывала крестное знамение. Благодарила... Одно из привычных её движений — взмах ладонью. Так машут, когда хотят сказать:

— Что там! Много горького было. Да я не жалуясь.

Начинает она свой рассказ с вывода, касающегося практически всей её жизни: детства у неё не было, юности не было, зрелости не было. И только старость есть то, что она безоговорочно признаёт истиной бытия: церковь, монастырь, монашество. Именно теперь её жизнь являет себя полнотой, любовью, радостью, отсутствием одиночества. Всем тем, чего так не хватает многим в миру. Увы, слишком многим...

Родилась мать Агриппина в Челябинской области. Отца своего не знает. Мама, сколько её помнит, всегда болела, болела, болела... Характера была строптивого, непокорного, всё пыталась решать сама и потому рано оторвалась от дома, от сестры и переехала в Орск. Здесь и родилась у неё девочка, названная Валентиной.

Детская память обычно цепко запечатлевает любые яркие моменты, но в тогдашней жизни маленькой девочки запечатлелось почему-то одно состояние, имя которому бесприютность. Она всегда помнит себя бродящей где-то, чего-то ищущей, вечно голодной, практически раздетой. Болящей маме было трудно ухаживать за ребёнком без помощи родных и близких. Когда она не болела, выходила на самую простую какую-нибудь работу. Старалась устроиться туда, где давали хоть какой уголок жилья или просто позволяли ночевать не на улице. Пытал-

ся взять от такой жизни маленькую Валю к себе родной дядька, но у того самого пятеро ребятишек, и лишний рот раздражал всех живущих в доме. Обижали её. Смотрели косо, ругали за любую шалость. Там оставаться было просто нельзя, она сама это чувствовала.

Когда пришло время учиться, мама устроилась на работу в школу. Обычной уборщицей. Своего жилья так и не было. Да и откуда? Потому разрешили им ночевать прямо в школе, где-нибудь в классе, где и стол для еды, и кроватью была обычная парты. Утром лишние вещи из класса убирали, и девочка садилась за парту по прямому её назначению. Когда школа пустела, тут же делала уроки, тут же играла чем-нибудь из школьных принадлежностей: указкой, счётами. Рисовала на доске мелом, листала книжки. И тут же они с мамой ели вечером скудную еду. Денег всегда не хватало. Одета она была плохо. А ещё часто помогала маме мыть большие классы, отодвигать стулья, менять воду.

Мама была слабой, быстро уставала, у неё резко поднималось давление так, что она могла упасть где-нибудь на улице. Иногда её приводили в школу просто прохожие. А лечиться не было ни сил, ни возможности. Уйти отсюда она боялась. Потому разрешение на ночёвку и заработок держали её при школе. А Валя всегда боялась за маму. Всегда. Только бы она жила, не ушла совсем, не оставила её одну.

Чуть позже дали маме комнату в бараке. Семиметровку всего, а они рады были как! Но комната оказалась неотопливаемая. Нужно было нагревать её самим хоть как-то осенними и зимним вечерами. А чем? Дров не было. Купить не под силу, об этом и думать нечего. Помнит мать Агриппина, как рано по утрам будила её мама. И они вдвоём шли за гудроном, набирали его тайком. Она обычно везла тележку в полусонном состоянии. Собранными смоляными кусками топили маленькую

печку. Чёрный дым из неё лез из всех щелей в дверце, поднимался к потолку, осаживался на стены, проникал в лёгкие. Но иного способа обогреться просто не было. С тех самых пор её лёгкие забиты пылью и не дышат в полную силу.

Уроки учила Валя на коробке, взятой у магазина, потому что стол в комнате бы и не уместился. Да и взять его было неоткуда. Она нашла выход: садилась на кровать, ставила перед собой коробку и на ней писала. Как-то к ней пришла учительница, посмотреть учебные условия, а её и посадить было некуда. Так что осмотр условий практически не состоялся за полным отсутствием оных. Так и жили...

Удивительно, но мама была в то безбожное время верующим человеком, ходила в церковь и Валю брала с собой прямо с маленького возраста. Мать Агриппина вспоминает, как в пасхальные ночные службы, устав от ожидания и длительности их, засыпала прямо где-нибудь во дворе. Но радость праздника, самой Пасхи была ей знакома и любима. А какое детское счастье было, когда после Причащения и запивки с подноса раздавали ребятишкам конфеты! Особенно желанные и сладкие. Ведь у них с мамой лишних денег на конфеты не было.

Помыкались они довольно и по общежитиям, где им давали лишь тот же самый ночлег, одну кровать на двоих. Девочка плохо спала по ночам, ворочалась. И вообще они с мамой в паре были всегда нежелательными жильцами в комнатах, где коротали вечера после работы молодые одинокие женщины, у которых чаще всего что-то не сложилось в жизни. От матери с довеском всегда пытались отделаться, открыто ища повод для этого. В одном месте выяснилось, что у кого-то пропала посылка с печеньем, обвинили маму и выгнали их из комнаты. В другом месте после их появления со стены исчезли часы, и маму даже забирали на допрос в милицию. Запомнилось Вале, как милиционер успокаивал её в коридоре, пока маму завели

в кабинет следователя, и дал карандаш, листок чистой бумаги, чтобы она не плакала, а что-нибудь порисовала. Маму тогда выпустили, но их снова выгнали из комнаты.

Скитались долго и много. Жили даже в парикмахерской какое-то время. Валя спала тогда на скамейке. Холодную одежду промозглыми утрами мама грела над раскалённой железной печкой, чтобы одеть дочку в детский сад.

А в следующий раз произошло вообще нечто безобразное по последствиям. Она очень хорошо помнит и этот случай, ведь он был связан именно с ней. Валя никогда не брала ничего чужого. Никогда. Несмотря на вопиющую бедность и постоянное недоедание. В одной из общежитских комнат женщины устроили ужин, мама была на работе, Валя, как всегда, «жила на кровати» — ждала возвращения единственного родного ей человека. Женщины резали хлеб, не заметив, что одна корочка упала под стол. А может быть, и не случайно вовсе обронили... Валя видела это, но промолчала, была голодна и мечтала о том, чтобы в шуме и сутолоке кусочка упавшего хлеба тётеньки не хватились. Хоть бы не хватились! Когда все женщины поднялись и вышли, она бросилась под стол подобрать корку. Есть сразу было и нельзя.

А ещё она спрятала её под матрас, чтобы поделиться с мамой. Разборки по поводу пропажи этой тонкой верхней корочки начались именно тогда, когда вернулась мама. Валя сразу достала и отдала кричащим на маму женщинам пропажу. Та оказалась целёхонькой, девочка так и не отщипнула от корки ни крошечки. Но повода было достаточно, чтобы двое скитальцев вновь отправились на поиски другого жилья.

Помнит мать Агриппина, как жили они с мамой какое-то время в тёмной, оставшейся без света и оборудования кинобудке одного почти разорённого клуба. В практически заброшенном помещении, где совсем не было съестных запасов, но странным

образом обильно водились крысы. Иногда они забирались в кинобудку, игнорируя двух приютившихся здесь людей, и падали откуда-то сверху прямо на сооружённую лежанку.

Маму взяли в это место уборщицей, а ремонтировать клуб присылали откуда-то арестованных и отбывающих трудовую повинность мужчин. Женщина должна была присматривать за ними. Но разве это возможно? Они ускользали куда-то, возвращались, когда им вздумается. Но зато они порой угощали её хоть чем-то, показывали пойманных в крысоловку животных, пугая её для веселья. Помнит она, как один из этих работников посадил её как-то на колени и угостил ломтиком белого хлеба, а потом с грустной улыбкой смотрел, как Валя тонкими пальчиками отламывает от него по крошечкам и с удовольствием кладёт в рот, как какое-то лакомство. Почему-то в её память чётко врезался облик этого грустного человека, который потом тоже, как и многие, исчез, когда за ним пришёл милиционер и увёл насовсем.

Перед самой школой выяснилось, что она даже не крещена. И не по причине нежелания мамы. Желание было. Денег не было. Просить окрестить дочку бесплатно мама не решилась, а лишних денег не было ни копейки. Всё впритык. Но тем не менее нашлась одна мамина знакомая, которая стала крёстной. Валю окрестили, надели на неё крестик, который она с радостью носила и в школу, пряча его под одеждой.

Но это было недопустимо в пору октябрят-пионеров. Религиозные проявления выявлялись и пресекались жёстко и безотлагательно. Однажды верёвочка сама высунулась из-под платья так, что одноклассники заметили. Они и без того любили потешаться над тихой и стеснительной девочкой, одетой так бедно, что это не могло ускользнуть от взгляда задиристых мальчишек, от их безжалостных в детстве шуток и дразнилок. А тут устроили просто публичное ей позорище: кричали,

улюлюкали, смеялись, толкали её, плачущую и беззащитную. Дома она сама сняла с тоненькой шеи крестик. Сняла, просто не понимая возможности своего малолетнего исповедничества. Да и как ей было противостоять тому, что за этим последовало бы, прояви она упрямство и не сними креста? Ведь ей и было-то всего десять лет. Духовных сил тогда не могло в ней быть. Для детского исповедничества нужна крепкая вера и стойкость родителей. Но одинокая, больная и неграмотная мама сама нуждалась в поддержке и защите.

А в церковь Валя после того раза всё же ходить не перестала. Бегала туда тайком, но регулярно, прячась за спинами прихожан. Сердце девочки уже любило и ждало служебных стихир, возгласов священника, сокровенной атмосферы храма с мерцающими свечами и сладким дымом ладана. Хорошо ей там было. Спокойно. А ещё душа наслаждалась храмовой красотой, убранством, ризами икон. В её простом быту никогда не было ни одной лишней вещи, игрушек, и потому храм был для неё каким-то сказочным дворцом, где живут добрые люди. Где со стен смотрят такие лики, в которые смотреть не устанешь, сколько ни смотри! Там ей протягивали сладости, совершая помин. Она радовалась и принимала с благодарностью. Всегда бежала к маме, делилась с ней.

После семилетки, которую она окончила хорошо, хотелось учиться, обрести какую-нибудь профессию. Но вновь та же беда: не хватало денег. Совсем не хватало. Мама болела практически беспрестанно, и Валя устроилась на телеграф. А десятилетку закончила уже в школе рабочей молодёжи.

Когда Валентина подросла и стала невеститься, заметил её один парень. Стали встречаться. Добрые люди, увидев это, предупредили: характер у него уж больно своенравный да скверный. Когда выпьет, даже на мать может поднять руку. Но... разве слушает ли кто чужих советов в этом деле? Поже-

нились. И сразу начались ссоры из-за его ревности. А позже и бить он начал. Валентина пыталась закрывать от ударов хотя бы живот, где уже носила ребёнка. Свекровь относилась к ней с полным пренебрежением и неприязнью. Никогда не заступалась: сын её не послушался. Невесту выбрал самостоятельно. Да какую? Голь перекатную, без кола и двора. А расписались они, когда та в отъезде была. Перед фактом уже поставили мать и свекровь-то.

И потому всегда она Валентине будто мстила: мол, нищую тебя взял, просто нищую... Зачем? От соседей слышала обратное, когда они говорили: богатые девку-то взяли чего-то... уж таку бедну! Приживётся ли? И внимательно приглядывались, как молодуха бельё стирает да синит, чисто ли? У рубашек мужниных манжеты чисто ли руками отмыты? Как с ребёнком возится, всё ли доглядывает?

Пыталась Валентина не раз убежать от мужа и свекрови, но никто её к себе не принимал: ни дядька, ни тётя. Сказывали так: ты замужем, вот и иди к мужу. Нечего бегать.

Что было делать? На работе, где она в то время трудилась телеграфисткой, посоветовали устраивать ребёнка в ясли. А пока надо было как-то обходиться. Терпела много, молчала, не защищалась. Потом всё же пришла к маме. С собой ничего не взяла. Из детского корытца устроила для девятимесячного сына кроватку. Настелила разных тряпок. Там он и спал. Мать Агриппина вдруг говорит:

— Как же мне всегда было жаль потому Божью Матерь, когда читала о ней, что родить Бога ей пришлось в хлеву да класть Его в ясли. И постелить особо было нечего. На соломе Господь и Властелин Мира лежал! А я на себе испытала, что такое, когда голову негде приклонить.

Хватился, конечно, её супруг законный, разыграло его сердце гордое озлобленно. Свекровь сказала, что к матери убежала,

оскорбив её. Куда ж ещё? Он и явился за ней. Ночью. Для совершения «законного наказания», выпив предварительно немало. Отбросил Валину маму, на ребёнка плачущего и не взглянул, а её за волосы тащил до самого дома несколько длинных городских улиц. Приволок и стал допытываться о причине ссоры и ухода. Свекровь испугалась, видимо, начала уговаривать, чтобы жили все мирно. Но душа её уже не могла слышать ни лжи, ни угроз, ни ругани. Помнила только, что она мать. И, когда уснули в доме, Валентина выскользнула из двери и пошла назад. К сыну.

Дорога ночная лежала вдоль старого кладбища. Виднелись сбоку надгробья и пики оград. Всегда боявшаяся покойников Валентина шла мимо могил и крестов без страха, думая тогда лишь об одном: хоть бы её убил кто-нибудь и прекратил разом мучения. Сил больше не было. И про дитё маленькое не подумала даже, а он-то как останется? Но ни один человек ей не попался. Никто не встретился. Пришла в барак, поговорила с мамой, что больше к мужу не вернётся. Так и осталась здесь.

Требовать от свекрови с мужем для ребёнка ничего не стала, да они её и выписали быстро из дома. На работе жильё тогда не давали. А из семиметровки маминой её тоже начали гнать почему-то. Комендант велела маме выписать Валентину. Вызывали её и на комиссию, да какой-то добрый человек заступился: куда же ей идти? Пусть живёт. Оставим давайте в покое. На том и оставили. Но не мог никак успокоиться законный супруг. Порой приходил пьяный, ничего не требуя, бил её и пропадал снова. Бил сильно, до крови, оставляя синяки, а однажды рассёк над глазом кожу ударом кулака, в котором был кастет. Сказал, что делает это намеренно, просто уродует её, чтобы «никому не досталась». Залил кровью всё вокруг, а она стояла, держа ребёнка, закрывая его и потому совсем не защищаясь.

Маленький мальчик почти всегда был в эпицентре этих

ужасных событий, криков, избиений. Порой разгневанный пьяный отец тряс его в руках, не обращая внимания на страх и слёзы самой Валентины. Потому, когда начались у него в детском саду приступы эпилепсии, врачи сказали, что одной из причин вполне могут быть сильные стрессовые ситуации. И правильно она тогда сделала, что решилась уйти от постоянных агрессий мужа. Поди угадай теперь, что это было? Какие злые и тёмные пороки скрывает в себе порок пьянства? За безобразными проявлениями которого стоит непременно враждебная человеку бесовская сущность, овладевающая душой. И в данном случае можно сказать, что такая жестокость вряд ли мистически не была самым обычным мщением inferнального мира, страхованием, попыткой увести с пути, постепенно ведущего к Богу в её будущем. А ещё просто потому, что была Валентина красивой внешне. Кожа по щекам сквозила розоватым румянцем, глаза были ясной цветочной синевы. Сама тоненькая, почти прозрачная. Только здоровья не было. В двадцать шесть лет начались первые приступы болезни, которая не оставляла её долгие годы. Впору было отчаяться, но ей посоветовали учиться, поступить в техникум. Что она и сделала, хотя это только проговорить легко. А сколько нужно было ездить на сессии? Сколько читать и писать? Не спать ночами, переживать. И всё же она защитилась, хотя сразу после попала в больницу с инфарктом. А сына она постепенно вылечила. Муж отстал, терзания сродни пыткам прекратились. Покоем, любовью, заботой и вылечила мальчишку. Никогда не давала ему никаких таблеток, которые выписывали врачи, поставив мальчика на учёт. Со временем приступы совершенно прекратились. И служил он даже в армии за границей, вырвав из истории болезни всё, касающееся детской эпилепсии. Пытался работать потом во внутренних органах в Москве. Но по характеру не подошёл: слишком добрый. С себя всё снимет

и отдаст, всех жалеет. И приступов больше с ним не было по милости Божией.

Техникум дал ей новую возможность роста на работе в электросети. Ей стали давать общественные нагрузки, потому что была Валентина исполнительницей и безотказной. Великой радостью стал день, когда ей дали, наконец, своё жильё: четырнадцатиметровую квартирку, в которой она и вырастила сына, проводила его в армию. Всё время болело сердце, мучил полиартрит, но она практически никогда не пила и сама таблеток, лечилась обычно в стационаре и только уколами: таблеток не принимал желудок.

Храм, в который она временами ходила, среди забот трудовых и общественных отступил, отодвинулся. Жизнь требовала всего времени, всех сил. И только после смерти мамы она вновь вернулась в церковь, к службам. Начала ездить по святым местам, ближе узнала отца Сергия и начала ходить в храм на Васнецова. Помогала убирать, её знали постоянные прихожане, храмовые работники. Торопиться ей после ухода на пенсию было некуда, и потому всё свободное время отдавалось духовной жизни. А до того практически жила при больнице, ухаживая за мамой, которую готовили к операции по диагнозу онкологии. Потом ещё три года ходила за ней до самой кончины.

Интересно, что монашеский путь матери Агриппине предлагался трижды. Один раз даже известным старцем. Но она отказывалась, потому что было немыслимо оставить в то время Преображенский храм на горе, где служили два первых священника со дней его восстановления: отец Олег Топоров и отец Сергей Баранов. Это было время первого возрождения духовных скреп России: монастырей и церквей. Она сразу откликнулась сердцем. И нужно было помогать. Уехать куда-то для неё оказалось сродни предательству. Потому оставалась всегда на месте.

Было время, когда Великим постом на службе в будничные дни никого не было, кроме её и будущей схимонахини Матроны. Батюшка выходил в храм и спрашивал, окинув пустое пространство:

— Что? Будем начинать?

И она утвердительно кивала:

— Начинай, батюшка. Мы же здесь.

И начинались долгие постовые бдения.

Когда отец Сергей перешёл на Васнецова, она тоже была рядом. Когда потом началось строительство нового храма — тем более. Как-то батюшка благословил её съездить в Москву к сыну, но она не забывала звонить в храм, интересоваться тем, что происходит. И вдруг услышала: есть те, кто надели чёрные платочки и начали особые молитвенные правила. Сердце оборвалось:

— А я как же?

Когда вернулась, стала размышлять:

— Может быть, и нет на то воли Божией, чтобы быть мне монахиней? Трижды предлагали, а я отказалась. Вот ведь и бабушка Агриппина когда-то, знаю, что ушла в монастырь, хотела быть монахиней, но разогнали всех, власть красная монастырь закрыла. И вышла тогда она замуж. Не случилось Божьей воли.

Но как-то незаметно и неспешно словно двигало её всё ближе и ближе к тем, кто уже определился для монашеского пути среди её знакомых по приходу и сестёр из херсонского сестричества. Она стала молиться своей бабушке, которая когда-то читала на клиросе, знала чинопоследование служб. Просила её о помощи, о том, чтобы управилось Богом её дальнейшее определение. А сама всё же удивилась, когда вскоре подошёл к ней отец Сергей и вдруг сам спросил её о том, есть ли у неё мысли о монашестве? Это её обрадовало и укрепило в желании. Стала Валентина молиться великомученице Варваре.

Хотелось, чтобы при постриге, если Богу угодно будет видеть её в монастыре, она могла бы носить её имя. Она вообще много лет молилась великомученице и просила об одном: не умереть без причастия предсмертного. И практически не сомневалась, что святая Варвара позволит ей носить в монашестве её имя.

Все два месяца подготовки она продолжала молиться усиленно. А когда на постриге услышала имя Агриппина, то в первые мгновения испытала недоумение: почему Агриппина? Откуда это? И только чуть позже осознала, что ей дано при монашестве теперь не случайное имя, а имя её бабушки, Агриппины, которую она и просила тоже о помощи. Ещё выяснилось, что у игуменьи, матушки Ксении, тоже была прабабушка Агриппина, и это было и её желание, когда определялось имя для новопостригаемой. Мать Агриппина говорит, что сразу почувствовала особую теплоту и покров от этих двух ходатаиц за неё теперь, а ещё будто тонкую родственную связь с матушкой Ксенией. Эту молитвенную ниточку, протянутую к ней из далёкого времени в теперешнее её житие. Ведь молитвенная духовная связь гораздо крепче обычной родственной. И мать Агриппина с теплотой говорит о том, как по-особому радуется с тех пор её сердце, когда она видит матушку Ксению. Отношение к ней стало иным по ощущению радости и теплоты. Слово ко внучке. А осозналось по времени раньше даже, чем она о том узнала. И это стало для неё опытным осознанием того, как чудесно связывает Господь Своими узами любви!

Кое-что мать Агриппина рассказывает лишь мне, не желая, чтобы это попало на страницы книги. И всё же прошу её разрешения написать о двух чудесных откровениях, которые она после раздумий позволяет сделать.

Было это в 1995 году, как она помнит. Наступило время каких-то странных перемещений священников на приходах, тогда прихожане Преображенского храма переживали за своих

служаших батюшек, молились, ждали любых событий. Ведь веры без испытаний не бывает.

И увиделось ей как-то в тонком сне, как из храма на горе крестным ходом выходят пять незнакомых ей монахов. Она поклонилась им земным поклоном, встав на колени. А монахи пошли друг за другом в сторону нижнего Покровского храма, что недалеко от Преображенского. Валентина считала их по одному, как они исчезают, уходя за гору: вот один, вот второй, третий, четвёртый. А пятый вдруг остановился и показал ей рукой то же направление, словно зовя её с ними. Но Валентина бросилась к нему и каким-то странным ощущением прожила момент, когда её душа, словно птичка, как говорит она сама, выпорхнула и влетела ему прямо в ладони. И так хорошо ей стало, так легко сразу и радостно. Она и проснулась от радости. Было ещё темно, но теплота не уходила, держалась, согревая собою. Днём она поделилась тем, что видела, с одной работницей храма. И посетовала, что совсем не знает того, к кому в руки порхнула её душа. По виду был он высоким, статным, красивым, с густой бородой. Похож будто чем-то на отца Сергия. Но постарше годами. И вот удивительно: всех известных святых она уже знала к тому времени, могла без ошибки назвать каждого. А этого не знала. Никогда не видела прежде. Так и не узнала тогда.

Спустя время выпала её поездка в Оптину. Валентина с радостью согласилась. Ещё бы! Давно мечтала. И вот теперь Господь управил так, что она вместе с одной знакомой прихожанкой отправилась в поездку. В какой-то из дней, находясь там, пошли две женщины на источник, чтобы окунуться, набрать водички. Дорожка шла через лесок. Хорошо было, вольно! И вдруг они обе увидели на пеньке сидящего монаха. Подруга воскликнула первой:

— Смотри, Валя, старец какой-то. Смотрит на нас, улыбается.

А подошли поближе, она и узнала:

— Так это же Амвросий. Амвросий Оптинский. Смотри, какие у него глаза синие, яркие.

Интересно, но факт: живя несколько дней в Оптиной, она так и не узнала в том монахе из крестного хода в видении Амвросия Оптинского. И лишь в последний день, перед отъездом, купила свечи и, обходя всех старцев, последним подошла к его иконе. А когда взглянула прямо в глаза, то и вскрикнула:

— Так вот же ты! Амвросий!

Ну да... Те же глаза, что на горе тогда. Те же, что на пенёчке у старца, который, как только стали подходить ближе, исчез, будто его и не было! А ведь сидел когда, глядел на них и ясно улыбался. И к мощам она его прикладывалась сколько раз вкупе со всеми. Но не открылся. И вот только...

С тех пор она молится ему особо и чувствует его молитвенную поддержку. Считает своим небесным покровителем. А подобное неузнавание, случившееся до времени, — обычное явление в духовном мире. Озарение придёт тогда, когда будут к тому самые нужные мгновения. И не раньше!

Оглядываясь на жизнь, мать Агриппина ещё раз изумляется тому, что дожила со своими болезнями до теперешнего возраста. И, глядя на меня светлыми добрыми глазами, всё спрашивает меня вслух, будто я могу знать ответ:

— Вот скажи, разве это не чудо? Разве всё, что было, не милость Божия теперь ко мне, грешной? Вся жизнь — беда за бедой, напасть за напастью, болезнь за болезнью. После всего, что было, ещё и монахиней стала! Но это батюшка... Если бы он не спросил меня сам тогда, я бы так и не решилась по недодействию своему. Вот чудеса, правда?

Да разве можно с этим не согласиться, мать Агриппина?

СХИМОНАХИНЯ МАТРОНА

Лишь на большие праздничные службы в монастырский храм схимонахиню Матрону вывозят в инвалидной коляске. Маленькая головка её пригнута почти к коленям, движения от болезни паркинсона не дают ей возможности выпрямляться, и тело давно усохло, сжалось, косточки позвоночника сцепились между собой так, что она застыла в вечном поклоне перед Богом, Богородицей и святыми, которым непрестанно молится.

Дверь в её келью всегда открыта потому, что её сердце не любит закрытого пространства. Вся её теперешняя схимническая жизнь час за часом проходит на кровати и рядом с кроватью, когда она, устав молиться лёжа или сидя, поднимается на правило перед столом с иконами. Поднимается, правда, это не то слово. Скорее, просто встаёт на ножки. При этом тело её не меняет согбенного положения. Она совершенно слепа. Для слуха едва осталось открытым одно ухо. Но иногда бывают такие часы, когда слух словно приоткрывается, и она немного выпрямляется, чтобы увидеть того, с кем говорит.

А вот голос у неё твёрдости необыкновенной: сильный, с чёткими акцентами там, где она хочет выделить особо смысловое наполнение фразы. Глядя на неё, понимаешь, что, лишив её солнечного света, лишним окружающим звукам, возможности самой передвигаться в пространстве, Бог оставил ей главное: Самого Себя для молитвенного безмолвного председания, предлежания и предстояния. Тем она и живёт, никогда не унывая от практически полного ограничения. В её прекрасной и чёткой памяти запечатлён не только её собственный жизненный путь, но она помнит и читает наизусть множество духовных стихов, отрывков из Писания, поэтических строк Псалтири. Её сухие, обтянутые тончайшей кожей тыльные стороны ладони с выпуклыми синеватыми жилочками мне

несколько раз хотелось накрыть своими, чтобы она ощутила, как благодарна я ей за то, что слышу. Ведь я помню её очень хорошо по первым службам в выстроенном на моих глазах Преображенском храме, близ которого я прожила двенадцать лет. Куда и вошла потом на первые в своей жизни службы, ничего толком не зная, но ощутив «на слух» космичность звучащих текстов и какое-то невидимое извержение души в это наполненное живым смыслом пространство. И там хорошо помню её маленькую, сухонькую фигурку, низко опущенную уже тогда голову. Помню, что её словесной прямоты и даже замечаний побаивались молодые священники, потому что говорила она сразу, если что оказывалось не так в её глазах у «зелёных», недавно рукоположенных батюшек.

Когда, войдя в её келейку, я вдруг припомнила всё это, то заволновалась. А вдруг сейчас эта молитвенница-схимница не захочет говорить со мной или скажет что-либо, на её взгляд, вполне меня достойное по заслугам? Но она, выслушав игуменью, без которой идти к ней я всё же не решилась, с готовностью начала говорить, обрадовавшись возможности общения. Матушка Ксения сказала мне потом, что и ей порой достаётся от схимонахини Матроны, если что не так. Но слушая твёрдый её голос, я скоро успокоилась, потому что рассказчицей она оказалась удивительной! Думаю, что вы тоже в этом убедитесь...

— Родилась я в семье церковной, — начала мать Матрона, которая до схимы была монахиней Прискиллой.

— Папа — псаломщик, мама — певчая. Приучали нас к Богу с самого раннего детства. Больше всего запомнились её слова о совести. Мама всегда просила жить только по ней. Ею в поступках руководствоваться. Это самый верный наставник и помощник.

В детстве, когда училась в школе, я и в пионеры не вступала. Нет. Надо мной смеялись: богомолка, отсталая. Помню, все в

галстуках красных. Красиво. Мне было тоже захотелось. Но мама сказала:

— Ты радоваться должна, что всё так. Как бы ты в клуб ходила? Там храм был, а теперь пляшут, срамники, на святом месте. Кривляются.

— Так и не научилась я танцам за всю жизнь. Не пришлось. А вот петь очень любила и по сей день люблю. Песни-то пела.

Жили мы в селе Николаевка, тогда Троицкого, а теперь Тюльганского района. Школу закончила я там, семилетку. А сестра, миленькая ты моя, монахиней Еленой от отца Кукши Одесского приняла постриг. Знаешь Кукшу-то? Вот, у него. Его келейницей ведь одно время была. И избранницей Божией с детства ещё. Родители разрешали гулять на улице нам только в субботу и в воскресенье. Мы убежим, гуляем с сестрёнками, радуемся, а она брала Священное Писание, жития и — на чердак. Скажет, бывало, маме:

— Если за мной девчонки зайдут, ты скажи, что я ушла куда-то.

Папа, когда закрывали храм, церковную утварь по ночам выносил из храма. Хотел сохранить от поругания. Стропила вскрыл в доме под крышей и туда всё спрятал: звездицу, помню, потир, служебные книги. Даже антиминос там же схоронил. И вот что удивительно: то ли власти были у нас полаяльнее, то ли уважали его так, но никто не тронул ни его, ни нас, и допрос власти не учиняли о церковных ценностях. Хоть и про папу-то знали. А церковные чаши тогда серебряные да золотые были.

И ещё вот чудо: на большие праздники у нас в доме тайком собирались помолиться уж после разорения храма, и никто ни разу у нас даже обыска не сделал. Хотя священника арестовали быстро после указа о закрытии. И судьба его неизвестна. А папу сделали начальником почты и не трогали.

Однажды в зимнее время — на почте холодно зимой было — он забрал сейф домой и дома работал. А тут комиссия из райо-

на приехала неожиданно. Пришли к нам домой, а у нас угол — весь в иконах. Да не каких-нибудь, а хороших, с окладами. Папа будто даже извинился, что, мол, так вот у нас. Уж не взыщите. Жена не захотела убирать и прятать. А главный из начальства спрашивает:

— Как имя у жены?

Папа даже испугался немного, говорит

— Ефросинья Филипповна...

И этот начальник кричит маму с кухни:

— Ефросинья Филипповна, идите-ка к нам сюда!

Вышла мама, а он вдруг и говорит ей:

— Будьте такой, как и сейчас. До конца.

Так и сказал. А мама склонилась перед ним в пояском поклоне и поблагодарила. Строгая она была и в жизни, и в вере. И в воспитании нас тоже строгая. Папа всё больше на работе был, нас не трогал, не воспитывал. Всё на почте и на почте. Только мама. И потому никогда не нарушались у нас в доме посты. И постные дни неизменно соблюдали: среду и пятницу.

К седьмому ноября, к празднику новой власти, все белили дома снаружи, приводили дворы в порядок. И мама белила и убирала. Ей сначала говорили: а чего, мол, ты? Власть эту не признаёшь, в прежней душой осталась. А она отвечала спокойно:

— Так я к Казанской прибираюсь, а не к вашему празднику.

Вот так и было! Разве не удивительно? Где-то людей и священство стреляли, а где-то вот так...

Войну переносили мы тяжело. Очень тяжело. Голодали. Но у нас был папа, его уж не взяли на фронт по годам. А в сорок шестом году мы приехали сюда, папа привёз меня в Орск. На верхней полке мы с ним ехали. Мне шестнадцать лет исполнилось. У меня новенький паспорт, денежки какие-то были, так всё вытащили как-то ночью, когда я спала. Но всё равно доехали. И год ещё проучилась я в школе здесь, в Орске.

Сестра моя работала на железной дороге. Она была тогда Марией ещё, не монахиней. Я с ней и попросилась как-то до Оренбурга поехать, посмотреть город. А любопытная была. На станции Чебеньки показалось мне, что машина стоит наша, знакомая. Сошла я со своего поезда-то, решила разглядеть получше, она ли? А на путях встречный пассажирский стоит. Хотела перелезть там, где сцепка вагонов, а он и дёрнулся резко. Я и упала да повисла. Пока до бригады машинистов сестра добежала, меня уже проволокло по шпалам да гравию. Поезд остановили, меня вытащили, а я без памяти, конечно, была. Сказывали, что скорую вызвали, меня — в больницу. Все глаза ведь кровью полностью налиты были и голова побитая. Левая часть тела — сплошь чёрная. Но я ещё потом долго была прямая, не согнутая, как сейчас. Согнулась уж после, как упала с крыльца. Тогда и кости сильно деформироваться стали. Меня и сгорбило. Намного меньше я ростом потому стала. Правая нога давно короче, потому ходить почти не могу, да и боюсь упасть, тогда со мной хлопот ещё больше будет. И так, как барыня, на всём готовом живу тут. Вся моя работа — молитва. Да и слава Богу за это! Отец Сергей взял меня такую.

Так вот... Что-то далеко я ушла... После того случая сестра меня назад в село привезла, там я семилетку окончила, а в Орск потом сама уж поехала. В сорок седьмом или сорок уж восьмом году владыка тогдашний, Мануил Лемешевский, освятил молитвенный дом, который открыли в посёлке на Никеле, где перекидной мост через все пути. Знаешь? Освящение было в день усекновения главы Иоана Предтечи, крестителя Господня. И он тогда говорил, владыка-то, что всем, кто страдает от головной боли, прибегать к помощи Крестителя. И поминать и чтить его во все праздники, посещать храм, причащаться, тропарь выучить и славить его.

Мать Матрона очень почитает Иоанна Крестителя, молится

ему, и удивительным образом разные важные события в её жизни и жизни родных происходят именно в дни праздников Иоанна Крестителя, которых, как известно, в церковном году не один. Мать Матрона назвала мне рождение своей дочери-первенца, смерть свекрови, рождение одного из её внуков. Всё это происходило именно в дни той или иной памяти святого, названного всем миром христианским Предтечею Господним. Признаюсь, что и у меня с этим святым тоже особая встреча произошла: я приняла крещение в день второго обретения его честной главы. И тоже всегда ему особо молюсь, первым называю его среди каждодневно поминаемых имён святых. Он особый покровитель.

А схимница Матрона продолжает:

— Когда в Орск приехала, на работу устроилась на мясокомбинат в разделочный цех. Что греха таить, тогда голодно было ещё, и каждый умудрялся как-то выносить хоть понемногу мяса с обрезки. А у меня коса была хорошая, вот как-то приспособила я три тоненькие дольки в косу-то заплести. Сама иду, горю вся: стыдно-то как! Охранники даже заметили это и сказали:

— Идёт, будто вся мясом обвязанная. А ведь нет ничего. Так что ж ты так краской налита? Вот чудная!

А я отвечаю:

— Да я ж деревня-матушка!

Но не смогла я пользоваться положением своим. Маме сказала однажды, а она в слёзы:

— Воровство ведь это, дочка. Обычное воровство. А заповеди чётко говорят: не укради.

И не смогла я там работать, ушла. Сестра меня тогда проводником на пассажирский поезд устроила. Там много молодёжи работало. И вот собрал нас как-то наш начальник поезда, раздал анкеты и объявил, что создаём из нашей бригады

ударно-комсомольский коллектив. А я анкету не заполняю. Он спрашивает:

— А ты чего же не пишешь ничего? Сейчас же заполняй.

Отвечаю:

— Не буду.

— Почему? Что за капризы?

— Не хочу.

— Не хочу? Это как?

Тогда начальник стал пугать меня отстранением от работы, от рейсов. Но я не согласилась. Ответила, что все, мол, про меня знают: я в церковь хожу, а комсомольцы народ передовой, учёный. А я тёмная. Все загалдели тут: подумай, как это так может быть? И всё же не верили мне:

— Ты серьёзно?

Будто я ребёночек малый. Подтверждаю, что серьёзно. Тогда начальник говорит, что отстраняет меня от поездки. Я и ушла назад. Они все уехали на двое суток в поездку. Что мне делать? Пошла в церковь, прямо сразу и пошла через Сенную гору. Было такое место раньше, где сено складывали для коров, теперь на этом месте торгово-закупочная база. Знаешь? Пошла пешком в храм на пятую улицу. Слышала, что там как раз священник вернулся из заключения, который за веру наказание отбывал. Его одна вдовушка недалеко от храма в дом свой приняла после лагерей, комнатку выделила. Я — к нему. Рассказываю, что заставляют в комсомол вступать. Что за непослушание отстранили от работы. А он услышал и прямо заплакал радостно:

— Правильно, деточка, держись. Не уступай.

И начал рассказывать, как их мучили за веру. А сидел-то он не где-нибудь. А на Соловках.

Соловки, Соловки... Истинный антиминс России, где в любом месте можно на островах служить литургию под открытым

небом, ибо там мощи мучеников за веру погребены повсюду, где подвизались в суровом краю сначала святые подвижники Герман и Савватий. Где стоит монолитом на самом большом из шести островов, что посреди холодного Белого моря, всем хорошо знакомый по крупной каменной кладке сам Соловецкий монастырь. Как благодарна я Богу за то, что благословил Он такую возможность: побывать там, помолиться и причаститься, побродить по святой земле, подумать о многом. Трудно даже представить, что испытал там этот названный матерью Матроной священник, к которому пришла она тогда за укреплением в вере. И не напрасно. Многое он поведал ей тогда, но тем и ободрил:

— За Бога пострадать — это великая милость. Потому надо держаться. Даже если это будет стоить жизни, всё равно стой.

И батюшка обещал молиться о ней до конца своих дней.

И она держалась. Держалась в этой бескровной, но не простой схватке с требованиями безбожного мира. Одна в своём тогдашнем окружении. Но за спиной были родители с их крепкой верой. Ещё её поддерживала сестра. И она уже ничего не боялась после. Так и сказала:

— Хоть что мне делайте! Как сказала, так и будет!

А делали с ней вот что: несколько раз подряд отстраняли от рейсов, предварительно предлагая всё же не портить себе жизнь и заполнить ту самую анкету. Она стояла на своём. Тогда с ней поступили иначе. Она была включена в график нескольких поездок вовсе без отдыха. Только возвращалась из одного рейса, как сразу нужно было ехать в новый рейс. Но безропотно терпела всё совсем ещё юная исповедница. Устали с ней бороться на работе, оставили всё, как было, но убрали с Доски почёта, лишь в личное дело за трудовые успехи благодарности вписывали. Да разве она тужила об этом?

Когда ей впервые дали отпуск, она пошла к одному батюшке. И ведь помнит до сих пор, что к Вениамину. За советом. Свя-

щенник тот хоть и был молод, но дух имел твёрдый, все знали его как духовное чадо митрополита Мануила Лемешевского. А вопрос у девушки был такой: куда поехать на время отпуска, чтобы провести его с духовной пользой? Но сказала батюшке, что хотелось бы ей к Сергию Преподобному, в Загорск съездить. Не благословит ли? Но батюшка, подумав, вдруг сказал:

— А я тебя дальше благословляю ехать. В Киев. К мощам. В ту лавру.

Так и попала она Великим постом в святыню православия, в место, где крещением в водах Днепра преобразил когда-то русичей великий князь Владимир Красно Солнышко.

Вспоминает мать Матрона ощущения от службы в соборе. Говорит, будто от земли оторвалась и витала на небесах. Стояла, закрыв глаза, забыв обо всём, слушала чтение и пение, вбирала сердцем, пила, поглощала богослужение. Приняла там Великие Святые Тайны: Тело и Кровь Христовы. Отец Вениамин дал ей адрес в Киеве, где в одном домике жили две сестры родные с братом. Жили все вместе всегда. Никогда не ссорились, ничего не делили. Матери Матроне показалось их житие тогда похожим на жизнь друга Божьего Лазаря с двумя своими сестрами — Марфой и Марией, о которых мы знаем из Евангелия. Ночевала девушка у них, а дни проводила на службах.

Тогда же в соборе Андрея Первозванного приложилась она впервые к большой православной святыне: «головишке великомученицы Варвары». Благоговение своё и чувства описать мать Матрона не взялась, только стало ощутимо ясно, как билось, видимо, её сердце, как радовалась душа сокрытой от глаз встрече с великомученицей, которая до смерти исповедовала Христа. И ещё подходила к ней за время пребывания в Киеве, и ещё. А в последний раз, перед самым отъездом, подошла проститься и вдруг ощутила такое чудесное благоухание и радость, хотя пришла прощаться, что слёзы в ответ и стали свидетельством

этой явленной ей милости. Страх и умиление на несколько мгновений словно сковали её, и она боялась прикоснуться к мощам, понимая, что святая дала ей знак из невидимого духовного мира.

Приехала девушка домой окрылённая. А вскоре перевелась на другую работу: ушла из проводниц в стрелочницы. Зарплата на новой работе была немного побольше. Вскоре отошла ко Господу мама. Тяжко перенесла её смерть тогда мать Матрона. Начала вязать для утешения и забвения пуховые платки. Жила она в Орске на квартире у семьи, состоящей из трёх поколений женщин: бабушки, дочери и внучки. Это они занимались платками, научили ремеслу квартирантку и доверили ей самой связать полностью первый в её жизни пуховый оренбургский платок. Но не получилось испытать тогда первой радости от трудов. Она ещё работала проводницей и брала вязание с собой, чтобы где-то в перерывах между работой вязать понемногу. Хотелось поскорее закончить, увидеть готовое полотно. Но... платок этот недовязанный у неё украли. Прямо вместе со спицами: открыта была дверь в проводницкую, вязание лежало на полке, и кто-то, видимо, не погнушался лёгкой добычей, оставленной без присмотра доверчивой девушкой.

Вернулась она из рейса вся в слезах. Рассказала о потере. Пообещала хозяйке, что за платок будет расплачиваться постепенно из зарплаты. А услышала следующее: пусть не беспокоится и не горюет, ничего они с неё не возьмут, а украденное пусть послужит во славу Божию тому, кто совершил кражу. На том и порешили. А ещё поняла она тогда впервые и осознала с помощью боголюбивых женщин такое понятие, как «тайная милостыня». И запомнила с тех пор твёрдо: если и украдут что-то, горевать не стоит, нужно мысленно передать украденное Богу как эту самую тайную милостыню. Такая милостыня, слышала она ещё от мамы когда-то, как стрела, пронзает небеса и ложится на престол Самого Господа. Тем тогда и утешилась.

Когда перевелась она в стрелочницы, появилась возможность в отпуск очередной попасть уже в Почаевскую лавру. Очень стремилась она туда по той причине, что там теперь была духовной дочерью известного всем старца Кукши Одесского её родная сестра, ставшая впоследствии монахиней Еленой и сопровождавшая своего духовного отца по всем этапам его многочисленных гонений. Конечно, как не попасть было к старцу? Стала готовиться к встрече. А сестра, тогда ещё не будучи монахиней, наставляла перед исповедью у отца Кукши, чтобы девушка взяла благословение на свой монастырский постриг, о котором мать Матрона втайне с юности подумывала. И даже, уезжая в отпуск, написала заявление на работе, что просит уволить её по окончании отдыха. Было намерение твёрдое — искать монастырь. И — монашество, постриг.

Самая первая встреча с отцом Кукшей у неё была практически мимолётной, как вспоминает она сейчас. Батюшка в схимническом одеянии шёл в храм, и она подбежала к нему на дорожке за благословением, но успела произнести:

— Батюшка, благословите меня идти в монастырь.

И отец Кукша, не остановившись в своей спешке и даже не взглянув на неё, ответил на ходу:

— Ан, нет тебе, чадо, благословения на монастырь.

И прошёл мимо. Заплакала она тогда горько прямо там, на улице. Потом разыскала сестру с упрёком:

— Ты говоришь, что отец Кукша прозорливый. Как же?! Он и не взглянул в мою сторону. И благословение не дал на монашество. А ты же знаешь, что я уже сама всё решила.

Сестра прочесала её тогда строго за такие слова. Сказала:

— Кто ж так делает? На лету благословение разве просят на такое дело? Вот когда пойдёшь на исповедь, там обскажешь всё, там и проси. Батюшка прозорливый, он всё про тебя знает. Но так с налёта никто не делает. Поторопилась ты...

Когда девушка подошла к месту исповеди, народу к известному духоносному отцу Кукше стояло великое множество. Великое! Заняла очередь. Долго ждала своего часа, а когда зашла к нему в отгороженную комнатку-исповедальню, где он сидел на низеньком стульчике, опустила в слезах на коленях и забыла обо всём на свете. Ничего не помнила. Странное что-то с ней было. Ни слова она ему про монастырь не сказала. А страх на исповеди испытала, как перед мощами Варвариньми в Киеве. Когда отошла подале, то вспомнила, что о главном и не спрошено. Как же так? Снова — в очередь. А за ней уж — никого. И осталась когда одна перед входом, сам отец Кукша вышел. Да что такое? Опять мимо неё. Она вновь бросилась: благословите, мол, на монастырь, все мысли её об этом. А он, как и в первый раз, на ходу отрезает:

— Нет, говорю, тебе дороги в монастырь!

Она — в рёв навзрыд. Про людей и стыд забыла. Обе щеки мокрёхоньки. Неподальёку от стопочки Божией Матери чудесной, отпечатанной на камушке, игумен или архимандрит с крестом стоял. Увидел её, ревушую на весь храм, окликнул, к себе позвал:

— Чего ж ты так горько плачешь, раба божия? Что случилось?

Она ему и пожаловалась на отца Кукшу: не благословляет на монастырь, а ей давно хочется. И услышала то, с чем пришлось потом смириться:

— А знаешь, девонька, воля Божия со словами отца Кукши не расходится!

Так и сказал. А потом добавил:

— Если хочешь убедиться, пиши три записочки, положим на стекло над стопочкой, завтра после причастия подойдёшь и вытащишь. Как Богородица управит, так тому и быть.

— А писать-то на записочках что? — спросила девушка.

На первой из них сановитый священник велел написать слово «монастырь», на второй «мир», а третью нужно было пустой оставить. Что она обозначала? Что молитва девушки не услышана Божьей Матерью. Так и поступили.

Она успокоилась. Утром, после литургии и принятия Святых Тайн, а ещё после акафиста, когда опускают с надвратного места при входе в алтарь чудотворную икону и прикладываются к ней, вновь поспешила к Богородичной стопочке. Вчерашний архимандрит стоял там же, указал на жребий: тяни. И только она взялась за выбранную записку, не успев её даже развернуть, как услышала:

— Ну, молодец! Вытащила ведь «монастырь»!

По всей видимости, архимандрит-то непростой тоже был!

Когда развернула записку, то от радостных слёз расплылось это желанное её слово «монастырь». Действительно — монастырь! Мать Божия благословила, выходит. Решила искать отца Кукшу, чтобы сказать ему об этом. И только повернулась, чтоб идти, а он уж сам рядом стоит. Тогда она вновь к нему бросилась за благословением, радостно сообщив о жребии.

— И тут отец Кукша, — со слезами говорит мать Матрона, — обнимает мою головушку двумя ручечками своими, прижимает к себе и в третий раз говорит те же свои слова, правда, с добавлением одного единственного слова:

— Нет дороги сейчас тебе в монастырь.

А дальше сказал батюшка такие слова:

— Ты, чадо моё, выйдешь скоро замуж и будешь нести очень тяжкий крест.

Взял иконочку великомученицы Параскевы прямо из иконной лавки, что напротив стекла со стопочкой, благословил ею и добавил:

— Вот тебе помощница в твоей скорбной и многотрудной жизни будет. Ступай.

И, обращаясь уже ко мне, мать Матрона говорит: — Вот она у меня. Тут. Гляди. Со мною всю мою многотрудную и скорбную жизнь. Как сказал, так было.

Остаться ей больше не было смысла. Отпуск заканчивался. Вернулась домой. Вышла вновь на работу. Заявление об увольнении начальник достал из-под стекла. Так им и не подписанное.

Но с тех самых пор стал отец Кукша её первым духовным руководителем. И при жизни старца, и после его отхода ко Господу. Мать Матрона качает своей маленькой головкой и восклицает:

— Сколько он мне помогал всегда, этого не передать! Живую мы с ним больше никогда не увиделись, но духовно я всегда обращалась к нему в самых трудных и отчаянных ситуациях. И он слышал меня, детонька. Слышал и помогал. Да.

Жизнь у будущей матери Матроны пошла действительно многотрудная, как было предсказано. Она вышла замуж. Человек ей попался пьющий. Детей народилось пятеро. Приходилось тяжело работать всё время. Всех кормила и одевала.

Уже в шестидесятых годах произошёл с ней самый удивительный случай, связанный опять же с отцом Кукшей, который тогда уже был перемещён из Киева в Одессу, где и упокоил его Господь впоследствии. Где находятся и сейчас его святые мощи, продолжающие чудотворить. А тогда, в шестидесятых годах, вновь она почувствовала, что ждёт ребёнка. И радости новость не принесла ни ей, ни тем более мужу, который образумливаться не собирался. Жили бедно, едва сводили концы с концами, а ещё и строиться решились. Сколько можно жить по съёмным углам с таким количеством детей? И хотя ей на работе чуть погодя даже предложили квартиру, семья решила, что без своей земли и огорода в городской квартире их будет ждать лишь нищета. Семье выделили ссуду. Надо было работать и отдавать деньги. Молодые женщины, узнав о беременности, стали под-

ступать с советами: хватит, мол, нищету плодить, все абортывают, а ты сколько рожать ещё будешь? Медицина сейчас хорошая, всё можно сделать быстро и бесплатно. Пошатнули они тогда её. И не устояла. И хотя очень боялась и про грех детоубийства в утробе ведала, но... куда? Соблазнили-таки её по совокупности всех обдуманных обстоятельств. А ещё и решила при этом: мол, если будет на то воля Божия, так всё сложится как-то, а нет — тогда уж что делать? Придётся рожать.

И вот ведь... Конечно, не по Божьей воле, но сложилось всё так чётко и аккуратно и с больницей, и даже с врачом знакомым, что прямо хоть действительно думай, что все причины по поводу прерывания двухмесячной беременности перевесили страх от недопустимости страшного греха, нависшего над ней. Дала ей тогда знакомая врач для начала сто таблеток каких-то, велела пить по три раза в день. И успокоила, чтоб не волновалась: препарат новый, результаты у многих такие, как надо.

Два дня пропила она таблетки, как прописали, а на третий стала смущаться душа, срок прибавлялся, сто таблеток неужели день за днём пить надо? Это ж ещё сколько времени пройдёт? Рассуждая так да по наивной своей глупости взяла она тогда и выпила сразу все оставшиеся таблетки...

Отравилась, конечно. Потеряла сознание. Очнулась уже в больнице, где её откапали, вернули в чувство и выписали направление на аборт. Недельку велели окрепнуть дома и приходить. Но разве могла она не работать целую неделю? Сразу же и вышла. Как раз дневное дежурство подошло в её смену. И обычное дело: надо было пропустить на проход гружённый состав, стрелку перевести. Помощница ушла по другим делам, а она взялась перевести рельсы. Перевела. Сигнал машинист получил: можно ехать. Поезд двинулся, набирая скорость. И тут... она резко потеряла сознание. Затуманило голову, зашумело, и повалило её мгновенно. И не как-нибудь, а прямо

на рельсы головой. Хорошо, что её падение заметил издали составитель вагонов, мужчина закричал машинисту изо всех сил, и тот вовремя успел остановить состав. Чуть больше полметра осталось до её тела всего-то. Поднялся было переполох, хотели звонить диспетчеру, чтобы убрать больную со смены. Но помощница уговорила не делать этого. До конца работы осталось не так много, мол, ничего, справимся. Больную на телефоне оставить попросила. Всё остальное обещала сделать сама.

Но удивительным образом сложилась вновь на несколько минут ситуация, когда помощница вышла из будки, где они дежурили, пошла за питьевой водой. Как на грех кончилась ведь! И тут раздался телефонный звонок. Диспетчер сообщил, что нужно срочно пропустить ещё один маневровый состав. А на один из путей поставить стальной «башмак». «Башмак»-то молодая женщина взяла и из будки вышла. А как к рельсам подошла, так вновь поперёк них и упала. Поезд стремительно приближался, гудел. Машинист понимал, что остановить состав он просто не успеет. И тут помощница, бегущая издали с бидоном, из которого во все стороны плескала вода, увидела рядом с телом молодой напарницы фигуру мужчины. Она даже не успела сообразить: откуда он мог вдруг взяться? А тот быстро поднял на руки потерявшую сознание женщину, шагнул в сторону от огромного тепловоза и отнёс в будку.

— Ничего этого, — произносит мать Матрона, — я и не видала, и не помнила. Когда очнулась, напарница мне сказала про незнакомого мужчину, невесть откуда вдруг взявшегося, который спас мне жизнь. Теперь уже во второй раз за одну смену. Сказала, что пыталась спросить его имя, но он только улыбался и, ни слова не сказав, вышел из будки. И вот думаю я, не Николай ли Угодник мне тогда помог не умереть без покаяния? Так загадкой и осталось. Но сердцу хочется верить именно в заступление его, Николы.

С тех пор она всю жизнь чтит именно Николая Угодника, молилась ему всегда и, говорит, чудес в её жизни, связанных с его заступничеством, было очень много. О них обо всех и не поведаешь за раз.

Но сама мать Матрона, вижу, устала говорить. Я предложила сделать перерыв, выключила диктофон. Но отпускать меня ей не хотелось. Она помолчала немного, сняла с плеч пуховый платок и спросила в свою очередь у меня:

— Ты, чай, сама утомилась? Передохнула бы. Я долго могу рассказывать. Жизнь длинная. Но про грех мой тебе доскажу. Передохну вот только. Ведь тогда меня от беды моей греховной отец Кукша чудесно спас.

Я кладу руку на её тёплую сухонькую ладонь и говорю, что готова слушать. И мать Матрона после долгой паузы продолжает...

— В то время сестра моя там, в Одессе, пришла к батюшке в одно утро за благословением на каждодневное послушание. А он ей с порога:

— Бегом, быстрее на почту! Срочно отправляй посылки. А то не успеем! Сейчас же!

Оказалось, что собрали для меня по его повелению три посылки с продуктами. С ними тогда как трудно было! Впроголодь жили.

Я на днях на аборт собираюсь уж, прихожу как-то с ночной смены, а мне муж говорит, что мне три уведомления из Одессы пришли на получение посылок. Пошли вместе. Получили. А там и печенье, и конфеты, и консервы, и крупы. А ещё три какие-то исписанные тетради вместе сложены. Школьные, обычные. И вот дочка тогда моя, Елизавета, она одна у меня посейчас осталась живая, все остальные дети уж похоронены... Так вот, она одну тетрадку в руки взяла и ко мне с ней, открыла, пальчиком тычет в строчку:

— Мама, что там? Что написано?

И просит прочитать. Я у печки стояла, мне разве время читать? Я её раз прогнала. Она другой раз с тем же ко мне. И уж когда в третий-то подошла, меня тут зло такое взяло, даже шибанула её. Она, бедненькая, упала, заплакала. А муж на кровати детской сидел как раз и вступился:

— Ты на убийство в утробе собралась, так давай и живых всех пореши заодно. Чего там?

Дочка поднялась, глазёнки вытаращила, смотрит на меня сквозь слёзы, а сама опять тетрадку поднимает и спрашивает, будто ей это прочесть надо вот здесь да сейчас — и всё:

— Мама, скажи, что написано?

Я тогда взяла рывком у неё из рук тетрадку-то и там, где пальчиком показывала, читаю вслух:

— Подошли мы к озеру кровавому, великому. А там плавают куски мяса. Я спрашиваю водившего меня: «Что это значит». А он отвечает: «Это место матерей убийц...». Дочитать тут я не смогла, убежала в другое место. И там в слезах сама всё и прочла про себя. Это в мытарствах Феодоры прописано. Знаешь ли? Слыхала? Как же я плакала тогда! Думаю, а я же отравилась таблетками. Как мне теперь рожать? Что с ребёнком там? Но и про аборт разве думать могу? Плакала, плакала, с тем и уснула...

И вот... Подходит время идти мне. Что делать? Пошла в храм. Прямо накануне Введения во храм Богородицы. Как же я молилась, милая. Ни на одну икону глаз тогда поднять не смела. Стояла да ревела в рёв, утираться не поспевала. Попробовала поднять глаза на Табынскую, а смотреть не могу. Лица не видно, а мне горько так. Упала перед ней на колени. Прошу прощения. Так, с таким покаянием горячим, я раз этот только и молилась в стыду великом.

Вот и родилась у меня моя младшенькая дочка потом. Да такая красавица вышла, что все вокруг подтрунивали над отцом её:

— Ой, Анатолий, а дочка-то твоя ли? Уж больно лицом не-наглядна?

А я ему всё говорила:

— Вот мы с тобой кого хотели убить-то! Красоту какую!

А ведь это отец Кукша жизнь дитя моего спас и меня от греха кровавого освободил. Царствие ему небесное!

Мы обе радостно крестимся. Вздыхаем. Мать Матрона — от воспоминаний о пережитом. Я радуюсь чудесам Божиим и угодников Его святых. Из Одессы почувал батюшка беду! Издалека и спасение прислал. Дух захватило от силы, какую человек носить в себе может и людям помогать.

А всё же... устала мать Матрона. Стала всё ниже клониться, паузы держать чаще. Говорить с ней больше в этот день было бы, на мой взгляд, нехорошо. Я попыталась попрощаться, приложившись к иконам Параскевы великомученицы, отца Кукши Одесского, который смотрел на меня с иконы пронзающим время взглядом. И Гавриилу Самтаврийскому (Ургебадзе) поклонилась. Засобиралась уходить из кельюшки, но как-то... не уходилось. Хотелось побыть ещё. И мать Матрона не замедлила, прочла мне несколько строк из духовных стихов, напутствуя и благословляя:

*В мире тленно всё, лукаво.
Моё сердце, не пленись.
Чтоб спастись тебе от ада,
Подвизайся и молись.*

Я знаю, что в её памяти много ценного. И прошу: ещё... Она вновь дарит мне несколько строк:

*Волны бушуют, как в море,
Ветер страшно и грозно шумит.
Но взгляни, как с любовью во взоре
На тебя Сам Спаситель глядит.
Жизнью нашей Он Сам управляет.*

*И защиту Он нам подаёт.
И даёт Он нам всё, что желаем,
И так радостно к счастью ведёт.
Так иди же путём сем тернистым,
А широкий-то путь забывай.
А Господь помогать тебе будет.
Ты на помощь Его призывай.*

Я понимаю, что это и есть её благословение. Не знаю, чьи стихи. Может, сердце матери Матроны само сложило эти простые правдивые строки? Не знаю. Не спрашиваю. Не всё нам дано и нужно узнать на земле. Многое откроется уже в вечности. И слава за это Богу!

Ухожу, оставляя тепло от встречи внутри себя. Спасибо, мать Матрона. Даст Бог, мы ещё свидимся! Твой жизненный путь привёл-таки тебя в монастырь, к монашеству. К высшему молитвенному чину — к схимничеству. А была к этому своя долгая тернистая дорога, предуведанная от юности одним из старцев последнего времени — Кукшей Одесским. И его тогдашнее слово про закрытое монашество, это самое «пока»... не было сказано напрасно. Исполнилось...

А у меня теперь в память о той встрече есть в доме иконочка Кукши Одесского. Вглядывается он в меня с неё строго и пронизательно, словно куда-то за зрачки, в самую глубь всего потаённого.

Это когда я сказала о Кукше монахини Серафиме, она обещала мне с благословения игуменьи Ксении вывести на цветном принтере образок, и получила его иконочка на картонке. И в следующее посещение монастыря её мне принесли и поставили на стол, удивив внимательной памятью, исполнением любой, даже малой просьбы.

Ах, разве уместить дела любви во Христе в страницы одной книги!

МОНАХИНЯ АНТОНИЯ

Мать Антония в Иверском монастыре благочинная. Если честно, именно она кажется мне самой строгой. Я слегка побаиваюсь её. Говорит она мало, очень чётко, при этом внимательно и с ожиданием смотрит в глаза. Лишних разговоров не любит. Хватает пары слов, чтобы дать понять монахиням, как и что нужно делать. Она и о себе поведала кратко и быстрее всех, говоря только о главном и очень чётко ведя линию рассказа. Особо задавать монахиням вопросы и не следует, а тут я тем более не решалась.

Знала она от своей мамы, что в их семейном роду было три священнослужителя. И вполне вероятно, они все трое есть в очах Бога священномученики или исповедники. Судьба их неизвестна, кроме того факта, что пришли за ними и арестовали в двадцать первом году прямо на Пасху.

— Может быть, — вспоминает мать Антония, — поэтому бабушка была верующей. Молилась. И того не скрывала. Но молчала об исчезнувших родственниках, тем пытаясь, видимо, сберечь детей и внуков. И мама о Боге открыто ничего не говорила. Когда она росла, храмов уже не было. Но вера в старшем поколении всё равно жила и пробивалась в душах невидимыми, но крепкими ростками сквозь попытку построения счастливого безбожного мира. И мать Антония говорит, что крест на её груди был всегда, сколько себя помнит, хотя сама в храм долгие годы, конечно, не ходила. Как и все...

Уже когда мама была в преклонном возрасте, она начала водить её в церковь на службу и ко причастию, но сама ни в богослужении, ни в таинствах до времени не участвовала.

Родом мать Антония из посёлка Шарлык Шарлыкского же района. Там жили всегда и родственники. Там она закончила школу. Профессию избрала по швейному делу, отучилась в об-

ластном центре. Сорок лет проработала на одном месте техником-технологом на Орской швейфабрике, куда её пригласили на работу. А ещё в швейном училище Орска была мастером производственного обучения, преподавателем, методистом.

Сейчас, беседуя со мной, она говорит о том, как не понравился ей сразу степной промышленный город, когда приехала сюда много лет назад. После шарлыкского чистого приволья и лесов он был растянут на плоскости, казался просторным и лишённым живой свежей зелени. Транспорт запылял листву, крупные заводы находились прямо в черте нового города. Сердце рванулось было назад. Но развернуться и уехать разве смогла? Характер твёрдый, менять решения казалось проявлением слабости, потому собрала волю в кулак, настроилась на работу и осталась. Но обычная человеческая слабость всё же находила лазейки. Не железная же она леди! И выливалась её память о родных с детства местах обычными женскими слезами.

И всё же характер, в котором присутствуют собранность, немногословность и ответственность, не позволил за время её самой короткой по минутам диктофонной записи, проникнуть глубоко в её внутренний мир и приоткрыть завесу жизни. Что ж, что сказано, то и сказано. Задавать вопросы, расспрашивать мне показалось почему-то неуместным.

Я ощущаю её характер в обыденной жизни монастыря, когда приезжаю сюда потрудиться и помолиться. О многом мне говорит, например, её обычный вопрос, когда мы обнимемся и поприветствуем друг друга:

— Надолго приехала? — непременно первым делом спросит она, как всегда близко и внимательно глядя прямо в самые зрачки. Обычно надолго вырваться бывает трудно, и, услышав, что это два или три дня, мать Антония говорит примерно следующее, тоже вполне традиционно:

— Тогда и разговаривать не о чем.

Или скажет так:

— Закрывать тебя надо, что ли? Где-нибудь? Чтобы ты не скакала, а пожила тут в тишине подольше. В следующий раз так и сделаю.

И понимается моему сердцу, что она рада моему приезду. Хотя в этом монастыре всегда рады всем, кто переступает его порог. Я не исключение, а только подтверждение правилу. Сёстры рады так, будто ждали только тебя. И чувство это яркое и честное. Им пронизано всё пространство монастыря.

Удивительно... Более чем удивительно... Вокруг — совершенно тихо. Но тишина эта бережная, тёплая, нестрогая...

Возвращение в храм у матери Антонии всё же началось по внутреннему зову. Атомы крови, текущие по венам и артериям, генный код, который держит в себе слова молитв, произносимых когда-то её родственниками, имеют свойство передаваться вперёд по наследству и обнаруживаться мощной тягой, той самой духовной жаждой, о которой писал когда-то Пушкин в первой строке своего «Пророка». Вот как-то же встретились будущая мать Антония, работавшая на обычной швейной фабрике, с женщиной, шьющей именно священнические облачения для молодых батюшек, которых часто рукополагали во священнический и диаконские чины в первые годы волны возрождения веры. Когда начинали восстанавливаться из руин или строиться заново храмы. Чаще всего облачение нужно было сшить в короткие сроки, и она помогала побыстрее справиться с подрясниками, рясами, ораями, епитрахильями — со всем, что нужно для служения в храме.

Сменяли друг друга церковные праздники, должны были меняться и цвета облачений. Потому помогать шить известной в городе церковной портнихе приходилось часто. Обычно это было после работы, порой до самого поздна по причине срочности.

Вспоминает мать Антония и первую свою плащаницу Спасителя. Её принесли и пожертвовали батюшке цыгане. Оказалось, что она каким-то образом попала в дом к осёдлым цыганам и висела на стене вместо ковра. Но как-то пришёл в дом цыганский барон и, увидев её, велел срочно отдать в какой-нибудь храм, добавив, что, мол, и без того грехов много, так ещё и церковную святыню у себя держим за обычную вещь. Так плащаница и попала к отцу Сергию. Была она от времени уже довольно ветхая, нужно было привести шитое полотно в порядок: обработать края, заправить нитки, украсить новой золотой бахромой. Над этими церковными святынями работать особо благодатно, любое сердце откликнется благоговейно. Кроткий лик Христа со сложенными на груди ладонями вызывает удивительное волнение.

Пока жива была мама будущей матери Антонии, она делила свои силы на храм и уход за мамой. А после материнской смерти всё внутри неё стало принадлежать лишь храму и батюшке, отцу Сергию.

Она уже практически всё время отдавала духовному взрослению, молитве, чтению книг святых отцов. Говорит, что о монашестве не думалось. Ведь она была практически в храме, думала уже в большей степени не о мирском. И жила не мирскими заботами от праздника к празднику церковному. Сердце покоем и тишиной внутри себя говорило, что она на том месте, где ему хорошо. Вспоминает, что её звали в возрождающийся монастырь Табыни, на святое место обретения самой загадочной чудотворной иконы России — Табынской. И хотя явилась она в древние ещё времена в башкирской земле, но почитаема была всем уральским краем, известна православным во всей России своими явленными чудесами и исцелениями. Она и теперь особо чтима в наших местах. Верится, что её образ, исчезнувший в годину гражданской войны, непременно найдётся

в то время, когда сама Царица небесная захочет возвращения.

Звали мать Антонию когда-то и в Херсон, в женскую общинку. Но и туда она ехать не соглашалась поначалу. Жила дома. Хотя и в Херсон ездила, если было нужно.

Когда произошла закладка первого камня для монастыря и должен был служить первый молебен, батюшка попросил сестёр общинки прийти в чёрных одеждах. Тут она сама повязала тёмный платок и надела на себя всё тёмное.

— А дальше, — произносит мать Антония фразу, которую в разных вариантах слышала я практически ото всех монахинь, — я просто пошла за отцом Сергием. Вернее, не отошла от него. Доверяю ему. Не ушла, когда стало ясно: на моих глазах вырастет здесь монастырь и надо быть рядом, помогать. Начались первые постриги. Я и тут не отошла.

Так и стала обычная Лидия монахиней.

Это была её последняя фраза из того, что решила открыть о себе благочинная монастыря, мать Антония. А я задумалась тогда: как много значит порой в жизни человека встреча с другим человеком, которая способна поменять кардинально всё. Кто руководит этим? Несомненно, Господь. Как появляется между душами та невидимая связь, крепость которой подтверждается не словами, а поступками, полным доверием сердца, желанием служить ближним более, нежели себе или родным по крови. Конечно, Господь. И это вовсе не эгоизм, как думают те, которые обычно себе лишь и служат. Это родство по духу, которое глубже и крепче родства по крови. Подобным словам можно и не поверить. Но подтверждение фактами будет в книге ещё не раз. А тот, кому выпадет в жизни всё же испытать подобное — блажен. Чего каждому искренне желаю.

МАТЬ СЕЛАФИИЛА

Про себя я зову её птичкой. Она такая маленькая и лёгонькая, хотя ходит шаркающей неторопливой походкой, что создаётся впечатление: ей лучше бы летать! Небольшая головка так аккуратна и кругла, что апостольник на ней похож, пожалуй, на чёрную шапочку синички. Как-то она проходила мимо, когда мы стояли с отцом Сергием и говорили о чём-то в гостевой трапезной. Батюшка вдруг заулыбался, увидев фигурку матери Селафиилы, и произнёс радостно:

— О, вот и мой мотылёк. Летит!

Хотя полётом трудно было назвать движения ног монахини, я мгновенно отреагировала на ощущение сквозящей от неё «крылатости», подмеченное и батюшкой:

— Верно. Именно...летит! Ещё в ней угадывалась какая-то особая гибкость, грациозность осанки, движений рук. Ничего о ней совершенно не зная, всё пыталась угадать, кем же она могла быть в своей домонашеской жизни. И терялась в догадках. Но артистизм в ней не успел спрятаться. Он проглядывает. Круглые глаза с тонкими веками спокойно смотрят на тебя при встрече. И только от радости зажигаются в них особые огонёчки-искорки. На губах появляется светлая улыбка, на которую в ответ непременно ответишь ещё более широкой и яркой по проявлению.

Она начинает свой рассказ с бабушки. Выросла с ней и благодарной памятью сразу обратилась к этим воспоминаниям.

Бабушка... Бабушка... Вообще-то по происхождению была она русская. Из обычных крестьян. Но выслали когда-то семью на Украину, и за время тамошней жизни она обукраинилась, если так можно сказать, повторяя за словами самой матери Селафиилы. И жили они там семьёй, и замуж бабушка там вышла. Образование — церковно-приходская школа в селе.

— А вообще-то, — как говорит опять же сама мать Селафи-

ила,— я себя называла всегда смесью негра с мотоциклом: каких только кровей во мне не намешано! Папа — финн, мама получается, что украинка. Была она весёлой, талантливой: играла на гитаре, пела, танцевала. «Художественная» была. Работала на почте, условия позволяли заниматься любимыми делами. А так как работа была далеко, то и дома она бывала редко. Порой лишь раз в неделю приезжала.

Потому именно бабушка была в доме одна за всех. Работу по дому любую выполняла сама, никого не дожидаясь. А кого ожидать? Зять ушёл из семьи в другую семью, когда своей маленькой дочке было всего два года. Бывает такое...

Там у него тоже вскоре дочка подрастать начала. И то же имя носила — Светлана, какое и матери Селафиилы когда-то было. А счастья у её папы никогда не было. Сам он любил выпить, вышел из большой многодетной семьи. Большой, да пьющей. Все пятеро братьев по его линии недугом винопития маялись. Но одарён музыкальностью был. Играл легко на аккордеоне, музыку любил очень. Чувствовал её вибрации и оттенки нот. Мог бы по зову искусства пойти, а работал на железной дороге путевым обходчиком. И такое бывает... И жизнь свою неудачную, текущую по обстоятельствам и законам, ему самому будто вовсе не подчиняющимся, закончил ужасной смертью.

— Ужасной, ужасной, — говорит грустно мать Селафиила. И замолкает на время. А я и не решилась спросить, что там произошло. Глаза монахини чуть прищурились. Стало понятно, что не всякую память доставать из души надобно. Пусть что-то в её глубине, как в потайном схроне, лучше останется.

Как-то приехал вдруг папа к ним домой и сам попросился:

— Примите меня назад, здесь хочу жить, с вами.

Светлане тогда уж годочков восемь от роду было, шесть из них она отца не видела и его, конечно, не помнила. Мама и спроси у неё вдруг тогда:

— А что ты скажешь, дочка?

И дочка ответила вовсе не по-детски, а как сердце подсказало от живой тёплой жалости:

— Конечно, пусть будет с нами. Ведь он же мне отец.

Папа обрадовался и прослезился. Засобирился сразу назад. За вещами. И среди прочих обещаний по возвращении уверил именно её, Свету, что привезёт свой аккордеон и научит играть. С тем и уехал. А она... Она начала ждать впервые какой-то новой, иной и неведомой жизни, которая наступит с возвращением отца. Теперь у неё будет настоящий папа! И очень хотела, чего греха таить, чтобы появился у неё большой блестящий инструмент с клавишами, какого в деревне ещё не было. Разве только гармошки!

Детская мечта так томила сладостью. А дни тянулись долго...

Она всё вспоминала, как впервые увидела папу. Во дворе с ребятишками они сидели на лесенке, играли во что-то своё шумное и обычное. И тут подошёл незнакомый мужчина. Остановился, стал вглядываться в их детские лица и вдруг сказал:

— А ну-ка, где тут есть моя дочка?

И, выхватив из ряда других детских рожиц её маленькое светлое личико, обрамлённое светлым пухом волос, безошибочно выбрал то, что искал: именно свою! Он поднял девочку на руки, высоко подбросил сильными жилистыми руками. Она запомнила его светлые, почти белые волосы. Худощавую высокую фигуру. Добрый и будто растерянный взгляд.

Это была их самая первая осознанная встреча. И, как оказалось, последняя. Папа больше никогда не вернулся.

Бабушка говорила, что родилась её внучка Светлана прямо посреди разгара войны, в сорок третьем году. Да такой маленькой и слабенькой, что смотреть на неё всех вокруг жалость брала. Соседи сокрушались, что не жилища девочка на белом

свете и не раз говорили, что уж помер младенец-то, видимо. Тихо в доме. И писка никакого не слышать. А она сначала всё лежала, а потом уже сидела на кровати посреди большой пуховой подушки слабым своим тельцем, тоненьким, бледным, как затенённая былочка в густом саду. Её и носили-то по дому не на руках. А на этой самой подушке, как хрупкую фарфоровую куколку. Она не умела даже ходить от болезней, и ничего о своей доле впредь не ведала. И никто не ведал. Лишь Господь. И был у Него на эту едва теплящуюся жизнь свой план, никому вокруг до времени не открытый.

Мать Селафиила растроганно говорит, что это Он заставлял её жить. Сказал:

— Будешь! У Меня записано!

Голос матери Селафиилы тут дрогнул, чуть поднялся в тоне. А и впрямь, видимо, написалось именно так. Так и вышло.

В хозяйстве у бабушки была корова, хотя в далёкий степной совхоз семья выехала из Ленинградской области перед самой блокадой. Успели. Но корову бабушка не продала, не оставила, с собой взяла. Ведь была та не просто коровой, а коровой щедрой, удойной. Истинной кормилицей. Молока давала много и жирности необыкновенной! Когда бабушка доила её, то к концу дойки сверху полнёхонького ведра плавали сбившиеся от тугих струй крупинки готового масла. Это молоко бабушка носила, как говорили, «на сдачу». А приносила домой время от времени целое ведро сливочного масла. Один раз, когда она вернулась с очередной порцией масла, внучка сама вдруг потянулась ручками и слабым кулачком показала: дай! Попросила именно масла. Бабушка раз намазала ей роток, потом другой и третий. А девочка всё просила и просила ещё. Бабушка словно уразумела знак и стала часто давать внучке именно сливочное масло. И маленькая Света вдруг пошла на поправку. Споро так пошла. И выжила. Начала крепнуть. Так и получается, что

сметливость бабушки и замечательная корова спасли будущей монахине жизнь.

— Хорошо в деревне было жить, — улыбается она. — Берёзки такие белые, тоненькие помню. Водичка бежит недалеко в ручье прозрачном. Птицы поют. Простор, небушко синее. Солнышко такое! Красота... Впрочем, у Бога всё красиво!

Росла Света, а начала учиться в школе уж тогда, когда мама и бабушка вернулись в свою Ленинградскую область. В свой совхоз. И всё мечтала научиться играть именно на аккордеоне: слишком долго ждала она возвращения папы и слишком ярко рисовала себе картины, в которых она держит на коленях блестящий большой инструмент и играет на нём легко и чудесно. Но эта мечта её так и не осуществилась без папы. Мать Селафиила говорит теперь, что так, видимо, было лучше. Иначе и судьба бы сложилась у неё иная. Кто знает, куда бы привела? Хотя мама с бабушкой нашли ей всё же настоящую учительницу музыки. Именно аккордеона. И несколько занятий было проведено, но внезапно нужно было уехать той женщине куда-то в иное место. Так занятия музыкой и прекратились.

Осталась лишь школа, по окончании которой она поступила в строительный институт в Ленинграде. Конечно, Бога тут нигде не было и не могло быть. Но Господь словно вёл её как-то над глубокими водами и дебрями грехов, совершаемых человеком часто по юности и ощущению первой свободы. А нравы были вокруг соответствующие молодёжным представлениям о жизни весёлой и обещающей исполнения многих желаний. Нашла там молодая девушка себе пару. Стала подумывать о замужестве. И, хотя избранник её не был образцом, как говорит она сама, всех добродетелей, ей всё же по молодости казалось, что всё преодолимо. Что семья образумит его, обяжет стать серьёзнее и ответственной. А он становился со временем хуже и хуже.

Мать Селафиила грустно вздыхает. Смотрит мимо меня, в сторону. Ей так легче. Понятно, что говорить об этом до сих пор неприятно и горько. Жизнь, когда родилась у них первая дочка Галя, она вообще называет не иначе, как адом.

Даже собачка маленькая всегда безошибочно определяла по стуку входной двери, что хозяин пришёл, и пряталась под кровать в мелкой дрожи. Муж был экспансивный, шумный, в нетрезвом состоянии совершенно неугомонный. Тяжело было с ним. Хотя и попытки у неё были не раз вернуть его к трезвому состоянию. Но напрасно. Становилось всё тяжелее и невыносимее. Теперь её состояние порой было жутким, доходящим до крайней степени отчаянья. Казалось, что в сумасшедшем доме гораздо спокойнее.

Вспоминается матери Селафииле, как ведёт она однажды дочку из садика. Той годочков пять уже было. Дочка позади за руку её держит, щебечет что-то по-своему. А она идёт чуть впереди, ничего не слышит, мысли лишь об одном. И такие чёрные, хоть в петлю лезть. И тут вдруг маленькая девочка радостно сообщает:

— Мамочка, а ты знаешь, мы сегодня в садике все-все друг с другом переженились.

Молодая женщина усмехнулась горько:

— И что? Всем хватило пары?

И тут с гордым и довольным видом дочка отпарировала:

— Нет, но мы в другой группе детей заняли.

Это словно вывело её из оцепенения. Она вдруг остановилась, взглянула на серьёзную в своём размышлении Галю и засмеялась. И тем стёрлись из ума нехорошие мысли. Мать Селафиила видит теперь в этом Божью помощь, пришедшую тогда к ней через ребёнка, её маленькую Галочку. Отчаянье отступило и пришли мысли о том, что нужно уходить. Просто спасти ребёнка и себя. Прощать больше нельзя и даже преступно по отношению к ним обеим.

И всё же... И всё же бесконечное женское терпение и обычная человеческая жалость к пропадающей рядом жизни перебивали ещё довольно долгое время её желание уйти тайком, всё бросить. Предел наступил, когда Галочке было уже почти десять лет. Однажды она просто спросила у девочки, оставив решение за ней, как и мама её когда-то:

— А давай уйдём от папы? У меня сил больше нет.

И услышала удивительно осмысленный и твёрдый ответ, тоже весьма не детский:

— Как же давно я ждала этих слов, мама.

И они ушли...

В награду за терпение и попытки образумить мужа, который сам не хотел перемены своей жизни, попался ей удивительно спокойный, мягкий и хороший человек, ставший отцом для Гали, а ей настоящим заботливым мужем. И так легко, светло и радостно она прожила с ним все двенадцать лет до его смерти, что после ещё явственней и отчётливей прежняя её жизнь казалась ей воистину адом на земле.

Первый её приход в храм случился после похорон её любимой бабушки. Ещё сидя у гроба и вспоминая бабушкину трудовую жизнь, а ещё то, что она, несомненно, была верующим человеком, тогдашняя Светлана думала о том, что просто так зарыть тело и уйти недостойно памяти бабушки. Умерла она тихо. Похоронена была тихо. Прошли поминки. Но душа требовала чего-то ещё. Нечто беспокоило, посасывало душу, звало куда-то, просило каких-то новых проявлений любви и памяти.

И вот тогда она впервые пришла в храм, чтобы узнать, что нужно сделать для умершей бабушки? Что заказать? Как поминать, чтобы душа успокоилась?

Было утро... Понедельник. Часов десять на часах. Во дворе она увидела колодец. Попила водички, вошла внутрь храма. Огляделась. Службы не было. Шла уборка. Пожилые женщины

неторопливо и тщательно чистили подсвечники. Сладко пахло ладаном и чем-то непередаваемо волнующим душу. И какой-то покой царил здесь, пока не веданный для души: лёгкий, незнакомый по подобному ощущению там, за стенами церкви. Его хотелось впитывать, вдыхать, носить в себе. Она села на скамью. И всё сидела, сидела... Ждала, пока придёт дежурный батюшка и даст отпетую землю за могилку. Её нужно было отвезти и рассыпать на месте захоронения.

Батюшка в храме перед чтением молитв попросил её перекреститься.

— А я не умею. Никогда не крестилась, — сказала тогдашняя Светлана. Батюшка взглянул на неё строго и, соединив свои пальцы в троеперстие, наложил на себя крестное знамение. Потом, повторяя движения, перекрестилась и она.

С того дня её стало тянуть к храму. Она начала приходить туда сперва редко, потом всё чаще и чаще. Как-то попала в деревянную ещё церковь на улице Васнецова. Там было несколько батюшек, но сердце выделило одного: это был Отец Сергей.

— Он такой большой, как богатырь, мне показалось. И добрый. Голос тихий у него, нестрашный.

И дочка младшая начала ходить с ней. Вдвоём и ходили.

Когда пришло время строить новый храм, стала приходить помогать. Вспоминает, как однажды дали ей лопату и сказали, что нужно копать ямку под столб. Мать Селафиила широко улыбается, качает головой. Ей приходилось до того работать лишь с авторучкой, не считая привычной работы по дому. А тут — лопата! Ямка нужна оказалась для забора, отнекиваться было неловко. И она была-таки выкопана. Правда, одна. За весь день. И всё же... Один столб в заборе вокруг храма держался вскоре отверстием, выкопанным её руками! Как говорится, от каждого — по способности! Принцип отдачи труда сработал чётко!

Шло время. Она была уже на пенсии. Росли внучки. Но душа её ощущала всё более тягу к храму. Очень хотелось приходить туда по утрам и после службы выполнять какую-нибудь посильную работу в храмовой живой тишине среди икон со святыми и Богом. Она решила спросить об этом в храме. Но нужно было говорить с отцом Сергием. Его она уже знала хорошо, часто оставалась на беседы после литургии. Батюшка спросил, а что она умеет делать? И будущая его монахиня тогда ответила:

— Писать что-нибудь. Больше я ничего не умею. Только писать.

Сейчас ей и это забавно припоминать. А тогда ответила серьёзно. И вдруг глаза матери Селафиилы наполнились слезами:

— Знаю, это вновь Господь милостивый, ведая мои грехи, их тяжесть, которую я набрала за годы жизни с первым мужем, теперь звал меня ближе к Себе. Призывал к осознанию, покаянию и спасению. Да и не только во взрослой жизни было за многое стыдно. В школе я любила заниматься чем-то типа гимнастики, были тогда всякие силовые упражнения. Мы, две девочки, постоянно выступали где-нибудь. Моя подружка была крепче и выступала как силовая. А я уже показывала чудеса гибкости. Все ахали, так я гнулась. Маленькая была, очень пластичная. И мне это нравилось очень. И восхищение окружающих давало особое тщеславие, гордыню: вот, мол, какая я.

Когда сестричество в Херсоне организовалось, и у неё уже был навык Иисусовой молитвы, батюшка предложил переехать в село насовсем. Она засобиравшись, доделывала дома недоделанное, но сестричество переехало вдруг на Васнецова, прямо к новому храму. Появилось место для келий, и все, жившие в Херсоне, стали носить чёрные платочки, тёмную одежду, стали обустраиваться маленькие комнатки для начала совместного жития и подготовке к будущим монашеским постригам тех,

кто почувствует тягу к труду, уединению и молитве иноческой. Сама она пока только помогала, приносила тёплые вещи, но внутри зрели вопросы, которые от себя не отгоняла: а она-то что, ей-то можно ли? Спросила у батюшки. Благословит ли и ей платочек тёмный надеть? А потом забеспокоилась: уж и кельи все насельницы обустроили и заняли. А она-то как? И опять к батюшке: можно? Кельи и правда были все уже заняты, но это её не испугало. На чердаке присмотрела она укромное местечко и попросилась туда. Батюшка позволил, пока было лето. А осенью, как стало холодать, переселил в оборудованную под ещё одну келью комнату. Так они все и жили. Учились молитве, совместным службам, общежительному обиходу. И дожили до первого пострига.

Первой монахиней монастыря стала мать Ксения, теперешняя игуменья Иверского монастыря. Когда её облачили в особые одежды, молодую, красивую, Светлана подошла к ней: а можно ли дотронуться? Монашеское одеяние казалось вершиной Божьего доверия. О себе она тогда ещё и думать боялась по осознаваемому в самой себе недостойнству. Ещё ходила домой, помогала дочке. Но так уже томила её суета мирская. Тянула всё больше тишина, Иисусова молитва, творить которую она начала с первых встреч с батюшкой.

А ещё, так уж вышло, но за довольно короткий срок она потеряла почти всех своих родных, что находились рядом с ней. Начались потери, правда, со старенькой кошки. Потом была собака. Пришло время, и отошла мама, потом бабушка. Внезапно умер муж. Эти смерти заставляли её размышлять, искать ответы на самые важные вопросы, читать. Они привели её к первым молитвам. А ещё Господь, словно заранее готовя её к будущему уединённому иноческому житию, ещё самой ею вовсе не подозреваемому, устроил так, что уехала старшая дочка её далеко, в Краснодарский край. Пространство вокруг

пустело, расширялось. До границ осознанного отказа от мирской суеты. Потом Бог привёл её к батюшке. К сёстрам. На тот самый чердак.

Во второй постриг уже три женщины из бывшей общинки облачились в ангельский чин купно. А в следующий по счёту постриг в зародившемся монастыре стала монахиней и она, ещё троих тогда стригли. И Светлану облачили в мать Селафиилу. Стала монахиней как-то без терзаний и раздумий, будто всё, происходившее с нею, для того лишь и было, чтобы привести именно сюда. И Господь Сам не торопился, и не торопил её. До семидесяти лет и не торопил.

Мать Селафиила вдруг сокрушённо произносит:

— Как вот ведь Бог устраивает всё дивным образом! И ничему не перечит. Ждёт. Думаю я вот теперь: почему пошла в строительный институт? Да потому что жили тесно. Было время, мы в пятиметровой комнате впятером и жили. Когда ложились спать, места совсем не оставалось. Укладывались по очереди, и последней из коридора затаскивали коляску с моим младшим братом, чтобы потом дверь закрыть. А когда выходили утром, сначала бабушка выходила, а после всех вытаскивала. Вот и думалось мне, что надо всем жильё хорошее заработать в первую очередь, чтобы жить всем уютно и комфортно. Вот ведь какие мысли в голове и сидели долгое время! Казались правильными. Бога не было. Чтобы там помолиться, подумать о Нём. Нет. Всё о жильё. Всё о квартирах. Стыдно...

Так вот, когда мне пятьдесят лет исполнилось, я осталась в трёхкомнатной квартире. Одна. Совершенно одна! Чего хотела, то и получила, трудясь всю жизнь для этого, казалось бы. Так вот оно! Живи! А радости не было. Даже подумалось: погибну здесь в одиночестве. Так что храм мне спасением стал во всех смыслах. Когда батюшка однажды собрал нас и сказал, что пришло время решать, куда вы идёте, чего дальше хотите

от жизни, я без сомнения мысленно решила: только с Богом. И так, как Он даст, так и будет. А дал эвон сколько — уместить бы! Монашество. Сестёр моих чудесных. Монастырь этот. Батюшку, богатыря доброго. Это он нас повёл по Божьей воле. А в моей жизни всё так оказалось уложено и поправлено, что диву даюсь и благодарю Его за милость и щедрость. И за любовь, ничем не заслуженную.

А когда дочка её старшая, Галя, заболела тяжело, то, будучи укреплена верой и батюшкиными беседами, сама стала ходить к болящим, с ними разговаривать. Утешать пыталась, чтобы не отчаивались в узах болезни. И говорила так:

— Мы всё равно все умрём. Никто не останется без смерти. Кто раньше уйдёт, кто позже. Главное — не уйти в отчаянье. Лучше — в уповании на Бога. Не нужно всё время крутить в голове самые горькие мысли. Лучше вспоминать из детства что-нибудь яркое, тёплое, нежное.

Взглянув на меня серыми глазами с неяркой вкрадчивой синью, монахиня задумчиво улыбнулась:

— Вот и отец Сергей нам часто говорит, что нужно думать всегда лишь о хорошем.

Как раз зазвонили в колокол к чину прощения. Мать Селафила легко вспорхнула со стула гостевой кельи, заторопилась. Мы обнялись, и, поцеловав её сверху в маленькую синичью головку, я умилилась, глядя на то, как, шурша тапками не по размеру, она «выпорхнула» за дверь. И «полетела» просить прощения и прощать всех и всё, выпавшее на сегодняшний день, красивым и трогательным монастырским чином. Он будет идти в полутьме, при тёплом неярком пламени свечей. Поспешу-ка и я туда.

Просить у кого-то прощения — это значит просить... упростить, сделать проще то, что могло усложниться за прожитый день. И тогда сердце станет лёгким, будет биться внутри без тени обиды и непонимания. В нём будет мир.

Дай Бог, чтобы всё между нами, людьми, было как можно проще.

Дай Бог...

МОНАХИНЯ ПАНТЕЛЕИМОНА

Было бы странно, если бы она носила иное монашеское имя. Этим её нарекли по роду деятельности, которая связана была по жизни с медициной. И теперь в Иверском монастыре есть у неё медицинский кабинет, набор самых необходимых медикаментов, а ещё она следит за соблюдением чистоты, питанием. Не раз я наблюдала её внимательный взор, когда она оглядывает всё то, что должно быть чистым. Это её особое послушание. И как же хорошо и промыслительно, что она здесь и может в любую минуту прийти на помощь. Ведь в монастыре в большинстве своём монахини весьма преклонного возраста. А ещё две схимницы, одной из которых за восемьдесят пять, а другой за девяносто. Но с Божьей помощью всем, кому нужно, оказывается медицинское внимание любого уровня. В этом помогают прихожане монастыря и люди, давно знающие отца Сергия. Её задача — вовремя направить на обследование, обо всём ведать. И делать всё возможное для своих сестёр ей радостно, хотя это весьма ответственно.

Было время, и я знала её ещё послушницей. Казалась она мне неразговорчивой, сосредоточенной на чём-то своём, внутреннем, ещё довольно молодой женщиной. Невысокая, круглолицая, с какой-то осязаемой силой характера, который проявится во всю меру при трудной какой-нибудь ситуации, а в обычной размеренной и спокойной жизни ничем особым себя обнаруживать не станет. Сказать, что она необщительна? Нет, не то. Скорее, малозаметна. Сказать, что строга? И это со-

всем не то. Скорее, сдержанна, что для монашества обретение порой многих и долгих лет. А ей вот досталось даром! А все дары у нас не с неба падают, а даются от Господа. Потому как ведаёт он любое сердце и окружает любого человека обстоятельствами, самыми удобными для пути ко спасению души. Главное — верить в Его благой промысел. И идти. Всё время двигаться вперёд, хоть по полшажочка.

Родилась она в мусульманской семье. Но в советское время большинство народов, принадлежащих по крови и роду к иной вере, тоже отходили от своей ортодоксии. Живя в безбожном Советском Союзе, и они становились нейтральными к вере своих отцов и дедов. Соблюдали обряды только разве в дни праздников. Но и тут лишь по традиции. Языка обе сестры не знали, младшая вообще ни слова не понимала по-татарски.

Папа был нефтяником, семья всё время переезжала по области с места на место по точкам бурения. Детей вопреки вековой традиции тоже было по-советски мало: она да сестра Марина. Из детства помнит мать Пантелеимона, что Пасху они с радостью тоже праздновали, во всяком случае, крашенки в доме неизменно были. Этого даже советская власть, вытравляя поначалу веру с кровью, пулями да террором, вытравить всё же так и не сумела. То, что внутри нас, неприкосновенно, если мы сами не отдадим этого в угоду власти или от страха.

Удивительно, но после смерти папы им пришлось обосноваться в Орске. И где бы вы думали дали им жильё? Во времянке, в доме, который был старым храмом на так называемом втором участке Орска. Помнит мать Пантелеимона тогдашней девочкой священника отца Николая Холопова, которого знали в советские времена все верующие в городе. Был он батюшкой колоритной внешности, с рыжей окладистой бородой, крупный, резковатый, строгий. Из старинного священнического рода. Все знали, что у него большая семья: пять сыновей росли

там. Помню, что с одним из них мы учились вместе в корпусе Орского пединститута, только на разных факультетах. Но что он сын священника, а тогда говорили «попа», все знали.

Как-то по надобности сидела я в архиве, искала сведения о монастыре и наткнулась в перечне документов на личное дело священнослужителя Холопова Николая. Поскольку я о нём слышала от своей коллеги, родители которой знали хорошо семью батюшки, жившей когда-то в посёлке Кувандык, то, открыв папку, обнаружила несколько телеграмм и доносов уполномоченному по делам религии. В них некто жаловался на его скверный резкий характер. Другой — доносили о том, что вопреки запрету поп тайно крестит и отпевает, набивая тем самым свои карманы. Просил принять меры.

— Эх, — подумалось мне, — как тихо и «праведно» можно было угождать властям по велению «совести и сердца». Помню, как поразил меня аккуратный почерк, красивые мелкие буквы, выведенные чернилами с нажимом в нужном месте. Если кто писал пером и чернилами, вспомнит, как это давалось непросто. Значит, старательный был человек.

И ещё в этой же папке с подшитыми документами времён упорной борьбы с религией конца семидесятых годов поразила меня одна докладная на имя ректора института, написанная наверняка рукой преподавателя или студента. В ней говорилось о том, что студент пединститута, тот самый студент физмата, без стеснения называет себя «сыном священника» при заполнении анкеты. Особо возмутил товарища «докладчика» факт, аргументацию которого я выписала в блокнот и далее процитирую: «В графе «профессия отца» студент без зазрения совести написал «священник», просто «священник», будто на самом деле в нашей стране есть такая профессия, наряду с космонавтом или шофёром».

А? Каково мастерство? Уловили плохо скрываемое раболеп-

ство и готовность услужить? А ведь всё ещё была одна незаметная и скромная профессия, выходит, тогда в стране — сексот. А если проще, то идеологический шпик, служить которым как раз и нужно было без абсолютного зазрения совести! И трудились-таки...

А мать Пантелеимона смотрела на жизнь семьи священника из-за забора. Это было очень интересно и необычно: знать, что рядом живут совсем не такие люди, как все. Они совсем иначе выглядят, иначе разговаривают. Спокойная величавость и несуетность движений привлекали её детское любопытство, а ещё вызывали неосознанное уважение.

К тому времени она закончила восьмилетку и поступила в медучилище. На практике была в детском доме, насмотрелась на брошенных детей, которых было жаль всех, всех без исключения. Глядя на них, девушка выплакала столько слёз, думая о том, что хотела бы каждого погладить по головке, обнять, обогреть короткой лаской. Осознавала сиротство при живых родителях высшей несправедливостью, понять которую она не могла, сколько ни рассуждала.

Отучившись, поработала немного в больнице, в отделении кардиологии. Была обычной медсестрой, где с её отношением к боли и страданию очень напряжённо ощущала себя всегда психологически и физически.

Накануне восьмидесятых вдруг взяла и уехала в тогдашний ещё Ленинград. А потом уже в Петербурге жила и работала. Долго. Целых тридцать пять лет отдала городу. Считаю, питерская была. Работала и в первом Медицинском институте, знаменитом на всю страну, и в детской поликлинике на Петроградской стороне участковой медсестрой. Почти всё время с детками, и это ей нравилось. Ведь с ними проще: они открытые, смешные и трогательные. А ещё ей всегда удавалось с ними договориться, чтоб без лишних слёз и капризов.

Получила она в городе прописку, потому что дали жильё там же, на Петроградской стороне. Сначала, правда, лишь комнату.

— А дальше, — говорит как-то смущённо мать Пантелеимона, — угораздило меня в сорок лет выйти замуж. Поздно. И очень быстро я поняла, что это вовсе не моё. Не моё и всё! Да я и не стремилась к этому. Как-то вышло само собой. Муж оказался коренным питерцем. Русский. Постарше меня. И верующий. В храм ходил в Никольский, так называемый «морской». Это благодаря ему, Николаю, и я тоже стала ходить в храм. Не крещена ведь была, а с ним ходила. И мне очень нравилось там. Спокойно становилось на душе, тихо и как-то радостно.

Крестилась-то я уже гораздо позже на Валаамском подворье. Это ещё и потому, что на работе у меня были очень хорошие девчонки-коллеги. Они меня по городу водили, многое показывали. По подворьям разным, по храмам и монастырям, которые открывались тогда то тут, то там, восстанавливались.

Я ведь и в Киев попала в восьмидесятых годах. Как попала? Сестра двоюродная, Светлана, у меня тоже детским врачом была, педиатром. В Киев ездила на курсы повышения. Я к ней туда и собралась. Пришла в лавру на службу и помню, что как только на службе утренней запел клиросный хор, я закрыла глаза и... улетела. В молитве, конечно, не участвовала, а сердце так отзывалось, словно на что-то родное. Хотя я больше как зритель или как турист туда ходила.

Но бегала регулярно слушать, как поют семинаристы эти киевские, учатся служить. Пещеры все исходила вдоль и поперёк по многу раз. Ничего ещё не понимала мозгами. Ничего не знала, а душа тянулась. Никуда меня больше не влекло, так по храмам и путешествовала. Все закоулки прошла, разглядела.

Креститься она одна. Не захотелось брать даже мужа на таинство, хотя он с ней просился. Вспоминает мать Пантелеимо-

на, как серьёзно готовилась ко крещению: много читала книг, размышляла, ещё и ещё раз обдумывала решение.

После крещения стала ощущать себя по-иному. Это она чётко помнит по состоянию теперешней «причастности» ко всему вокруг, а не отстранённости, как было раньше. Новое осознание себя христианкой было удивительным чувством. Ей хотелось знать всё больше и больше о православии, двигаться самой, совершать дела милосердия, проживать в полноте данное ей крещение. Хотелось познавать личность Христа, читать жития святых и подвижников веры. Никто не мешал. И времени было достаточно!

И вдруг случилось то, что и перевернуло всю её жизнь до дна, до самого основания: в далёком Орске «сгорела» от онкологии в тридцать девять лет её любимая сестрёнка. Её Марина. Она не могла смириться с этой смертью. Не могла и не хотела. Боль не отпускала, охватывал просто мистический ужас: как такое могло произойти с ней, с её любимой ближайшей родственницей? И просто с хорошим человеком, который никому ничего не сделал плохого? Никого не обидел?

Она была замечательной, доброй. Её Марина. Казалось, что от мыслей можно сойти с ума. Три первые года она фактически проплакала. Слезы не кончались, лились потоком, ничего было не нужно. Она думала всё время только о ней. А ещё о том, что должны же быть какие-то причины тому, что почти все женщины по материнской линии умирали именно от этой безжалостной болезни. Что-то было не так и хотелось понять, что. Можно ли изменить эту фатальность? Она будто ощущала, что от неё намеренно что-то скрывали с самого детства. Ограждали от какой-то роковой информации. Это просто витало в воздухе, окутанное молчанием. И вот совсем недавно узналось наконец, открылось, что её отец, так давно похороненный, не умер своей смертью. Его зверски убили по закону родовой мести, потому что он обещал жениться на девушке

из своего села. Но был молод, не понимал своей ответственности. Ушёл в армию, отслужил моряком три года на флоте и назад не вернулся. Уехал в Орск, а вскоре женился на её маме. И прожили-то они всего шесть лет. А потом его нашли родственники той девушки: не выполнил обещания. За это и убили. Вот что от неё и скрывали. А она и не могла увидеть сама ничего: хоронили папу по мусульманскому обычаю в тот же день, завёрнутым в ковёр. Была она мала, и не могла знать скрываемой правды. Это потом, осмысляя всё, осознала, какой грех лежал на папе, а расплачивались за него, вполне вероятно, женщины. Его грех висел над родом. Неужели и Марина — плата за него. Она не могла ответить себе на этот вопрос, но и успокоиться не могла.

Муж, глядя на её безутешность, поражался: ну, сколько можно плакать и убиваться? Жалел. Только замужем она побыла недолго: всего восемь лет. Её Николай, человек, приведший её в храм на первые службы, тоже скоростижно умер, оставив её совершенно одну в его городе. Но был у них как-то разговор, мол, что она будет делать, если он уйдёт в иной мир первым? И она спокойно ответила:

— Буду монахиней. Я давно об этом думаю.

Где-то она услышала, что в каждом роде обязательно должен быть хоть один монах или монахиня, чтобы суметь молиться обо всех своих, вымаливать их у Бога. Иначе беды или болезни будут всё равно преследовать, особенно если был на роду тяжкий грех чей-то. На их роду был. Та девушка и убийство папы. И как-то стало думаться всё чаще, что именно ей и хотелось бы стать той самой молитвенницей за своих родных, за близких. За всех. Будто это её поручение теперь. И вновь этому ничего больше не мешает. Она так себе и сказала одним днём:

— Галя, это будешь ты.

Или Ангел Хранитель шепнул?

Ещё при жизни мужа она решила поехать на Валаам, чтобы поработать на послушании. Потрудиться не несколько дней, а долго. Прямо несколько месяцев. Николай отпустил её сам. Не отговаривал, не перечил. И выяснилось интересное: сам он питерец, человек верующий, а вот на острове монашеском ни разу так и не был. Не привелось. А она захотела и попала.

Ей ещё батюшка, который её окрестил на Валаамском подворье, сказал, что там трудно. Очень трудно. Как на фронте. В своём личном окопе, где лично ты отвечаешь за тот участок земли, за тот клочок, на котором стоишь. Напротив тебя — враг. Он мощный, сильный, наглый, уверенный в том, что сомнёт тебя первой атакой. Страхом. Напором. Но нужно остаться и выстоять. Не отступить именно там, внутри себя. И тем победить. Сказал, что дисциплина характера должна быть. Готовность к физической работе до изнеможения, без жаления себя.

Её это не испугало. Она прожила на Валааме три месяца.

А когда не стало Николая, сразу начала думать о монастыре. Ей снова кто-то сказал, что обязательно нужно взять благословение. И она поехала за ним снова на Валаам. Там подошла на исповедь к знаменитому теперь отцу Науму, рассказала о себе и что хочет быть монахиней. Её удивила тогда реакция иеромонаха: он обрадовался так ярко и открыто, что и её сердце запрыгало в ответ от радости. И она приняла эту обоюдную радость за то самое благословение.

Вернувшись в город, начала поиски монастыря. Молилась всё время, просила Бога на коленях:

— Укажи мне, Господи, то место, где я смогу прожить до конца своих дней в посте и молитве, угодить Тебе своей тихой жизнью и упокоиться там же.

Было самой странно, что совсем не хотелось ей искать своё место в Питере. И ещё было странное, на первый взгляд, желание: чтобы монастырь был только строящийся, совсем новорождённый или вот-вот начавший своё восстановление.

Объехала она для начала Новгородскую область, ведь именно там таких монастырей было уже много. Но... что-то говорило ей: не то. Из иных она просто вылетала, будто её выносило оттуда ветром. И душа говорила вновь и вновь: нет, и это не её место, вновь не её.

Думала она про Тихвин. Узнала про маленький Свято-Успенский монастырь, который весь ещё лежал в разрухе, и жили там всего две монахини: игуменья и ещё одна сестра. Начала раздумывать, но случились вновь похороны. Умерла тётя, и хоронить её она поехала в Чебоксары. Именно там, включив телевизор, на канале «Союз» и услышала новость: в городе Орске заложен новый женский монастырь. Попыталась узнать место из репортажа, поняла, что это где-то за городом, и немедленно засобиралась домой. Сразу. В Орске у неё остались двоюродные сёстры, племянники. Здесь у неё все родные могилы. Решение, что и монастырь её должен быть тут, пришло само собой. Внутренние поиски и зов к поездкам — всё прекратилось. Попросила племянника открыть всю известную информацию через интернет. Прочла то, что было. Оказалось, монастырь строится в посёлке Тракторных Прицепов. И это место увиделось и осмыслилось ею не случайным, а знаковым. Здесь жила когда-то её умершая подруга.

Приехала она по адресу со всем, что у неё было самого ценного: с валаамскими иконами, готовая сразу остаться. На дворе лето. Степная жара. А она уже в чёрной одежде. Вот и монастырь, как сказали. Но... ещё нет даже крыши, возводился лишь второй этаж. Она спросила у рабочих: где же монахини? И ей сказали, что они приезжают сюда помолиться и уезжают куда-то снова. Пришлось со всеми вещами и иконами ехать пока к родственникам.

Утром в храме святого великомученика Пантелеимона она попыталась спросить у священника, где можно найти монахинь

строящегося монастыря. Ответ был говорящим, но неконкретным: «кто ищет, тот обрящет, а стучащему откроется». Известные строки из Евангелия. Местоположение же не было озвучено. Зайдя в церковную лавку, Галя сразу увидела газету «Орск православный» и, взяв её в руки, нашла нужное ей. Там были фотографии монахинь. Сообщалось о новом постриге, среди информации она увидела знакомое имя: протоиерей Сергей Баранов.

А ведь от одного из родственников, которые жили недалеко от храма на улице Васнецова, она уже слышала имя этого батюшки. Слышала и отзывы о нём. Сразу почему-то подумалось: это тот, кто ей нужен. Поехала вновь со всем нехитрым скарбом и иконами на улицу Васнецова.

Во дворе возился какой-то монах, вокруг никого больше не было. Она вновь пошла в самое надёжное для информации место: в иконную лавку. Спросила о монахинях. Услышала, что сейчас никого здесь нет и, было, расстроилась. Вновь поставила иконы и свои горемычные вещи у стены, огляделась. И вдруг увидела идущую мимо монахиню. Бросилась к ней:

— Матушка, где можно найти отца Сергея?

Монахиня, ею оказалась мать Антония, показала на второй этаж, что нужно подняться именно туда. Слава Богу, Батюшка был на месте. Они встретились и поговорили. Отец Сергей выслушал её, сам особо ничего не говоря, ни к чему не призывая. Она сама сказала, что очень хочет хотя бы поработать здесь, потрудиться, а уж потом можно будет ей ждать разрешения и благословения на послушание. Но батюшка вдруг сказал неожиданную для неё фразу:

— Если уж решили стать монахиней, приходите. Как раз есть даже свободная келья.

Радости её не было конца! Вот оно! Почему-то душа больше не сомневалась. Её место именно здесь. А ещё батюшка сказал:

— Я вас жду.

Потом улыбнулся и добавил:

— Конечно, дело не во мне. Вас ждёт Сама Матерь Божия. Приходите.

Ей осталось только вернуться в Питер совсем не на долго, закончить все бумажные дела, и она помчалась. Квартиру продавать не было нужно: там будет жить Маринина дочка, её племянница, которая скоро выйдет замуж. Вещи она отдала в ближайший монастырь и как можно скорее вернулась в город своего детства. На землю, где покоятся ждущие молитв.

Вот ведь как бывает... Всю свою жизнь она надеялась лишь на себя. И никогда не было легко. А были труд, самоутверждение, несение обид и скорбей в разных условиях, о которых теперешняя мать Пантелеимона в силу своего молчаливого характера не может говорить.

Особо тяжело было в коммуналке, там, в Питере, когда она была всем и всему чужая в чужом, пусть и легендарном, городе. Она никогда не считала себя конфликтной, но там приходилось защищать себя и в житейских перепетиях. Вспоминает, что вовсе не всегда получалось отвечать на зло добром. И ссоры были. И слёзы...

Мать Пантелеимона в конце нашей встречи говорит о том, что у неё трудный характер. Не знаю... Может быть. Она ведаёт о себе лучше. Но именно этот характер и всё молчаливо, в глубине себя пережитое и перетопленное нетеплохладным сердцем, было принято Богом и благословлено Им, когда она повернула от житейской череды событий к духовным поискам, к глубоким вопросам, к постоянному труду души по обретению веры и молитвы.

Она крестилась в пятьдесят лет. Через год после смерти любимой и единственной сестры Марины. Через семь лет после крещения она стала монахиней. Чтобы, как хотела когда-то, молиться о всех любимых, но ушедших от неё в иной мир.

Нет, совсем не хотелось бы громких слов, но внутри себя я всё же определила этот мощный её внутренний вектор сродни личному подвигу. Ведь, если вдуматься, подвиг — это движение. И на всё высокое нужно себя двигать. Даже если ты стоишь посреди своего личного окопа. Двигать силой воли, силой того же характера, силой желания. А сколько преодолений в себе ещё ждёт на этом непростом пути! Сколько выплакано слёз, и сколько ещё будет в победе над собой, над своей волей и привычками. Но она очень верно определила то, что ценит и предошущает как верный шаг в своём выборе: наличие молитвенного духа своего батюшки, отца Сергия, которому она верит вместе со всеми сёстрами. Которому доверяет все свои мысли, сомнения и греховные терния. Но иначе и не свершается монашество. А оно свершается, потому что последняя фраза матери Пантелеймоны звучит так:

—Как же я благодарна Богу за то, что оказалась именно здесь. И только здесь.

Благодарность нынче редкое чувство и потому особо ценное. И в глазах людей. И в очах Бога. Вот чему бы неустанно учиться у тех, кто умеют быть благодарными!

МОНАХИНЯ ВАРВАРА

Мать Варвара ещё совсем «молодая» монахиня. Последний постриг с монахиней Елизаветой был их. Людям, живущим духовной жизнью, эти два имени, стоящие рядом, о многом скажут. Одна из них наречена новым именем в честь Елизаветы Фёдоровны, сестры Александры Фёдоровны, царствующей супруги государя Николая Второго. Другая — именем инокини Варвары, которая была с Елизаветой Фёдоровной до самого их страшного конца в Алапаевской шахте, куда их сбросили

живыми сразу после расстрела царской семьи. Новая власть после революции предпочитала сортировать людей на нужных и ненужных. Всё, касающееся многовековой истории монархии в России, было ей больше не нужно. А потому подлежало уничтожению. Так появились в истории православного христианства новые мученики, омывая своей кровью преступление народа, предавшего самодержавное правление и веру.

Носить имя мученицы духовно ответственно. Это требует терпения и мужества, обязывает помнить всё время, в кого ты наречён, определять вектор внутреннего движения. Монахиня Варвара старается. Её жизнь тоже была сродни испытаниям, которые не каждый вынесет со смирением. Господь сказал в Евангелии: «Не бойтесь убивающих тело». Тело может многое терпеть: боль, недуги, увечья, немощи. Но главная сила заключена в душе человека. И вот тут нужно бояться одного: её болезни и её смерти. Борьба за жизнь души идёт внутри, порой сражения вовсе не видно на физическом уровне. И только глаза говорят о многом, если в них взглянуть.

Мать Варвара почти всегда смотрит вниз. Но её тонкая и статная фигура словно полна внутренним напряжением душевных сил. Мы не были близко знакомы, я видела её среди послушниц, но мы не общались, только раскланивались, и ничего я о ней не знала до нашей встречи, когда она, волнуясь, вошла в келью и села передо мною, ощутило напряжённая и смущённая. Стало понятно: ей непросто говорить. Так и было. Спрятанное глубоко внутри, выходило с большим трудом, проговаривалось с болью.

Несколько раз мне хотелось обнять её, но я почему-то не решилась. Смотрела, как беспрестанно катятся слёзы по её щекам, и понимала, сколько же боли носит она в себе. И какое чудо в её непростой жизни этот монастырь и сёстры, батюшка, каждодневные службы и бдения. Именно это так нужно её

измученному горем сердцу. Иначе душа просто надорвётся. Верю, что Господь даст ей долгожданный покой, выведет из последних сомнений и терзаний. Дай Бог, чтобы так и было...

— Родилась я первого июля 1954 года в деревне Боталово Свердловской области в многодетной семье, — начала мать Варвара. Голос у неё с тонкой красивой хрипотцой, почти не заметной, но дающей негромко звучащим фразам какой-то особенный оттенок. За ним чувствуются глубокая печаль и ранимость. Такие души часто ударяются, а то и калечатся о несправедливость или людскую грубость. Им нелегко мириться со всем, что причиняет боль.

— Мама воспитывала одна. Всех пятерых девочек. Конечно, росли мы все без Бога тогда, и почему-то из всех сестёр я одна дошла до веры. Три сестры так до сих пор и не крещены. И лишь одну из них перед самой её смертью я окрестила уже лежащую. Она услышала мою тревогу о душе и уговоры. Это, конечно, чудо. Ведь говорила я и с другими сёстрами. Но одна из них искренно сказала как-то, что даже не знает смысл слова «Бог», никогда об этом не думала. Жила обычными заботами и событиями, которые, по её мнению, шли сами собой.

Мать Варвара сокрушается, что попытки её ничего до сего времени так и не дали. Закрыты от веры сердца живых сестёр. А сама монахиня находит и произносит очень точное слово, чтобы передать, как отзывается в ней духовная глухота ближайших по крови людей. Она так и говорит, что это её личная трагедия.

Сёстры уже в преклонном возрасте, всем за семьдесят. Ей самой просто страшно думать о том, что станет с их душами, не коснись их Бог своим призывом. Она ощущает свою за них ответственность и вдруг произносит вот это:

— Не надо было мне отступать. Ну и что, что не слышали? Зря я порой обижалась, уходила. Надо было как-то бороться.

Я улыбаюсь. Не знаю... Борьба обычно ничего не даёт, а

лишь усиливает сопротивление. Кажется, что именно теперь, в монашестве, она поймёт, что её «борьба» не в силе словесного убеждения, которого ей не хватило, на её же взгляд. А в молитве, в том внутреннем подвиге, когда надо надеяться не на собственные силы, а на милосердие Божие, на неисповедимость Его путей, Его призыва. Дело человека в этом случае — просить и ждать без отчаянья, с доброй силой упования. И как будет, так и принять впоследствии.

Порой мы надрываем своё сердце и внутренние силы, словно бы в большей степени желаемый исход зависел от нас. Но мы ошибаемся. Прилагать усилие — наше право и обязанность. А результат надо не бояться отдать Богу. Как говорит духовная мудрость: «Делай, что должно, и будь что будет».

С первого класса по восьмой она училась в интернате, который находился в десяти километрах от их села. Интернат был хороший и оставил в ней лишь светлые воспоминания. Две другие её сестры ходили в школу сами за пять километров и натерпелись много от погоды, от недостатка одежды и недоедания. Своей школы там, где жила с ними мама, не было. Но мать Варвара считает, что ей просто тогда повезло.

Когда закончила восьмилетку, переехала в Орск к родственникам. Юная девушка хотела обрести поскорее профессию, чтобы жить самостоятельно. Удивило меня, что, устроившись на орский механический завод, она довольно быстро освоила работу на сложном станке, потом — сразу на двух санках, и ещё один вскоре к двум прибавила. Ей нравилось, что железные машины точно выполняют её команды, работают с отдачей, которая и её радовала, и начальство.

Сложилось у неё, тогдашней Зои, и с замужеством. Вышла за очень хорошего человека и попала в крепкую, дружную немецкую семью, где все жили между собой без ссор, умели трудиться, никогда не знали нужды. Счастливая молодая семья

начала расти, в ней появилось два сына. Спокойная размеренная жизнь, казалось, лишь набирает разбег.

Но на восьмом году жизни муж неожиданно почувствовал в себе болезнь, которая оказалась онкологией. Умер он быстро, оставив жену с маленькими мальчишками. Старшему было шесть лет, а младший — совершенная крошечка четырёх всего лишь месяцев от роду. И всю свою жизнь она воспитывала их одна, сумела дать обоим высшее образование, что было предметом её особой гордости. Младший был очень старательным, закончил энергетический институт с красным дипломом. Оба они со временем стали жить в столице, работать на немалых должностях, получили квартиры.

Я спрашиваю у матери Варвары, а когда в её жизни появился Бог. Но почему-то подумалось сразу, что вера должна была прийти к ней через скорбь. Так и оказалось. Это произошло, когда заболел муж, когда начались врачи и больницы. Вспоминает мать Варвара, как впервые смотрела она по-особому на купола храма кафедрального Никольского собора в Оренбурге, когда привезла мужа в областную больницу. Тогда впервые начала она неумело молиться сквозь слёзы, понимая, как нелегко, как невыносимо одиноко станет ей без самого близкого человека. Трудно, а вернее невозможно было даже представить, что ждёт её. Неужели родное лицо, глаза, голос — всё это может в один час исчезнуть с лица земли? Не останется ничего, кроме слёз, горя и памяти, которая станет терзать и мучить осознанием несбывшихся надежд?

Естественной чередой приходили вопросы: почему именно с ней такое случилось? Зачем кому-то понадобилась жизнь любимого её человека? Как она будет справляться с детьми? И неужели навсегда она лишится возможности сказать ему хоть слово? Рассудок отказывался верить. Душа неосознанно, но жаждала чуда. А вдруг? Но чуда тогда не произошло...

Крестилась она после смерти мужа. Он не был даже католиком, в семье его жили без веры. Но Зоя странным образом начала ощущать именно после его ухода какое-то томление, некий мощный безгласный зов. Куда идти, она ещё не знала, но в видимом мире и не было этого места. Ощущалось, что зовёт её нечто из невидимого.

В то время начали носить современные книгоноши разную литературу на продажу. Чего в сумках только у них не было! И мать Варвара помнит, как купила, например, книгу по буддийской духовной практике. А что с ней делать, разве она знала? Но жадно прислушивалась ко всему, что именовалось словом «духовный». Хотя её горе пересиливало все стремления. По ночам она мучилась от страданий, которые никому старалась не показывать. Жизнь была бессмысленной, медленно тянувшейся день за днём. Обычные домашние дела и работа её не заполняли, внутреннее одиночество было тяжелее, оседало на самое дно души и выдавливало собой всё остальное, что держало внимание и требовало сил.

Всё это вместе взятое привело и её саму к тяжёлой болезни. Когда она о ней узнала, то даже ощутила некое облегчение. Ей сказали про необходимость операции, но она молчала, не говорила ни о чём даже сыновьям. Решила, что её уход — это то, что в свою очередь нужно осознать как естественный исход событий, с которым придётся просто смириться. А все вокруг примут его по надвигающейся неотвратимости, как только скрывать болезнь станет невозможно.

Но забеспокоился старший сын. Узнал, что она ничего не предпринимает, немедленно забрал её самолётом в Москву, положил в правительственную клинику на срочную операцию. Она была многочасовой и тяжелейшей. Состояние после хирургического вмешательства сопрягалось с такими физическими болями и страданиями, что ей казалось, она не сможет

терпеть то, что терпит, мало верила в выздоровление. А мысли о том, что резать её могут не один раз, пугали настолько, что к ней начали приходиться нехорошие помыслы.

Недалеко от больницы был храм. Она пришла туда и стала ходить часто, пытаясь заглушить навязчивые мысли. Как-то сказала об этом священнику, что не хочет больше жить. Батюшка огорчился и произнёс странную для неё фразу:

— Значит, пришло Вам время встречаться с Богом. Нужно начать причащаться, молиться, ходить на службы.

В храм она уже ходила, но была вся в своей болезни, в мыслях об этом. Глубины и красоты богослужения не слышала. А если слышала, то ничего не понимала. Ещё меньше знала, как и когда нужно прибегать к главному таинству, к причастию. В один из дней на литургии она вместе с исповедниками пошла ко причастию, но приметивший её батюшка воскликнул:

— Да вы что? Вы куда? Так нельзя! Нужна подготовка, осознание. Нужна молитва.

Она услышала его. И следующие полгода регулярно ходила в храм, слушала ход богослужения, вникала. Пыталась готовиться ко причастию, как того требует церковная традиция. Но болезнь была всеми мыслями её сознания. Всегда, всё время. Они двигались так: от себя — к себе. Боль внутри не гасла, росла, усугублялась. Она ощущала, что цепкость недуга расшатала её сознание. Начала пить успокаивающие препараты. А становилось всё хуже. Теперь она не могла почему-то стоять в храме, её выводило на улицы сильное беспокойство. Причащаться в таком состоянии было сложно. Но священник понял её муку и разрешил прийти лишь ко причастию, позволил принять Святые Дары по болезни. Он понимал, что тяжкие мысли — это борение тёмных духов, подступающих к человеку. Старался помочь. Но в эпицентре болезни этого не понимала сама Зоя. Кто-то буквально на ухо рассказывал ей, как и когда лучше

прекратить свои мучения. Однажды она почти сдалась. Но сначала решила всё же зайти в церковь. В самый последний раз.

В храме висела благая, полная неведомых ей смыслов тишина. Служба как раз кончилась. Никого не было. Тонко пахло ладаном. Со стен кроткими смиренными глазами вглядывалась в её боль через беспокойный и тревожный взгляд мать Самого Бога. Святые внимали не озвученной покуда вслух муке. Их взгляды тоже были нездешними и светлыми. А точно в центре, под паникадиллом, стоял почему-то священник в облачении. Словно раздумывал о чём-то.

Она бросилась к нему:

— Батюшка, я больше не хочу жить. Не могу...

Он поднял на неё свои грустные глаза. И, словно очнувшись от своих мыслей, сказал с какой-то тёплой горечью, что этого делать никак нельзя. Просто никак... Тем более — теперь. Что всё, выпадающее каждому из нас, нужно нести, как крест. Как нёс его на свою Голгофу и наш Спаситель. Как несли и несут его миллионы православных христиан. Как и он, священник, несёт, не пытаясь сбросить или переложить на чьи-то плечи. И этот крест нужно донести каждому. До конца. До истинного своего конца.

Вот так он и сказал ей тогда. Удивительно, но от слов пришло осязаемое облегчение. Она будто успокоилась его твёрдым и в то же время сердечным внушением. Этими нехитрыми, но давшими ей трезвость фразами. И словно он от себя ей тогда что-то ещё отдал. Может, невидимую часть сил? А она приняла?

Буквально через несколько дней ей сказали, что батюшка, которому было чуть за тридцать, погиб. Потом она всегда вспоминала его, стоящего в центре храма. И ей казалось, она была просто уверена в том, что каким-то образом именно он отвёл от неё страшную беду: вечную гибель её души и поплатился за это. Хотя вряд ли это было так на самом деле, и всё же именно подобное размышление укрепило её душу на время.

Мать Варвара сокрушённо плачет, вспоминая то своё состояние. Честно говорит, что на этом борьба за её душу и испытания не закончились. Это как у монахинь Марии и Агриппины в своё время и в повестях их жизней, одни предложения сменялись другими. Лишь бы получить результат. Зоя тоже начала искать смерти. Не осознавая, что и подобная возможность ухода сродни самоубийству. Как-то одна знакомая женщина сказала ей:

— Я вижу, ты ходишь по просеке, это всё же безлюдное место, рядом лес. Не ходи так, это опасно для жини.

Словно подслушала раздумья мятущейся женщины. А были они как раз о том, чтобы наткнуться на кого-нибудь, кто может лишить её этой самой жизни. Просто убить и тем остановить её страхи и боли. Но всё время некто невидимый отводил её от бед.

Мать Варвара действительно оказалась человеком с очень ранимой душой. Она из тех, кто ничего не умеет просить для себя даже в моменты болезни. Но внутри души горе и отчаянье её кто опишет? Где эти слова, чтобы слушающий или читающий осознал меру, которую порой приходится принимать в одиночку. Хорошо если тебя понимают родные, если они готовы пройти с тобой весь путь с любовью и терпением. А если нет? То тогда, именно тогда к человеческому сердцу сначала подступает отчаянье. А за отчаяньем подступает inferнальная сила.

Ей приходилось искать новые формы и методы лечения. Не всех близких устраивало долгое проживание в квартире тяжело больного человека. Старший сын глубоко переживал за мать, не спал ночами, мучился от осознания своего бессилия на работе, но не во всём мог противостоять супруге, у которой на болезнь свекрови был свой взгляд. Зоя металась между снохой и сыном. Старалась не мешать, уходила. Чтобы как можно меньше бывать дома. А ей всё труднее было двигаться. Врачи назначили УЗИ, но ждать его тогда нужно было долго. По те-

левизору прошла череда передач о том, как за деньги находят у людей те болезни, которых нет. Сноха говорила, что сейчас легко можно быть обманутым и вряд ли можно полагаться на это УЗИ, там могут лишь вытягивать деньги, которые просто выбрасываются на ветер, а лечить на самом деле её никто не будет в её состоянии.

Деньги, деньги... Как многое они решают порой. А где-то, может, и не решают, а лишь повышают чей-то статус и значимость в собственных глазах. Больной женщине важны были не деньги и не дорогое какое лечение. Её могла бы утешить обычная сердечная терпеливая забота — самый большой дефицит сегодняшнего времени.

Она сама нашла врача по профилю своей болезни. Сама пришла к нему и просто взмолилась хотя бы попытаться помочь ей, направить на УЗИ. Боли не затихали ни на мгновение. Что-то нужно было делать. Ждать уже невыносимо. Она теряла силы. Честно сказала, что денег у неё нет, сняла с пальца единственную ценность — золотое кольцо.

Наверное, мощным толчком к выкорабкиванию из безнадёжности её болезни стала по промыслу Божьему... внезапная болезнь её сына. Его нервная система дала сильный сбой, психика не справилась с тем, что нужно было жить и делить душу между самыми родными людьми: серьёзно больной мамой, с одной стороны, женой и дочерью, — с другой. Он был мягким человеком. И тоже, как оказалось, ранимым. Он перестал спать. Практически совсем. Стал впадать в депрессию. Его жена в это время была беременна вторым ребёнком. Часто приходилось вызывать «скорую», платить за это деньги... Всё же платить... Но сыну не становилось лучше. Сноха вызвала своих родителей, чтобы они помогли справиться с непростой ситуацией. Зоя, получив последнее лечение, должна была уехать домой. Что и сделала.

Но теперь мысли о сыне стали вытеснять размышления о собственной болезни. Она будто переключилась на него, жила его возможным состоянием, забывала о своём. Особенно после телефонных звонков, когда он рассказывал, как ему невыносимо плохо. Не физически, а именно душевно.

Старшая дочка, окончив с отличием факультет психологии в университете, водила его к различным аналитикам, но ему становилось ещё хуже. Мать в отчаянье предприняла попытки положить его в клинику через свою знакомую, но встретила отпор и непонимание снохи и внучки. Ей запретили вмешиваться в дела их семьи. За большую плату её сына перевели в дорогую частную клинику. Но здесь действительно лишь уходили деньги. Болезнь не оставляла. Её Олег словно проходил круги ада, искупая мучившую его молчаливую вину перед матерью. А она жива была мыслью о помощи ему и тем самым уходила от своей болезни.

Как-то сын сказал ей, что пошёл в церковь, когда в один из дней стоял на грани отчаянья. А до этого Зоя просто потеряла с ним общение на целых полгода. Не знала, что с ним. Ей не говорили... Ей просто не говорили, что Олег совершенно терял на время и зрение, и речь. А она просила всех вокруг молиться за него. В Орске ходила в храм и стояла на службах, искала поддержки у священников. Очень благодарна отцу Георгию Кожеватову, вспоминает его молитвенную и человеческую поддержку. Поклон ему.

Не решаюсь даже гадать, что мог пережить в своём аду болезни её Олег. Но вот, наконец, по телефону зазвучал его родной прежний голос. Сын просил прощения. За всё: за неё, за себя, за жену, за дочку. Да разве она могла не простить, любя его бесконечно, выжив сама фактически только ради него? Чтобы только слышать его голос. Как слышит теперь, как радуется этому!

Мать Варвара говорит сквозь непрекращающийся поток слёз о том, что Олега очень любят на работе, что начальник обещал взять его назад сразу после выписки и лечения, потому что он ответственный и знающий специалист. И добрый. Очень добрый... А я добавляю от себя, что он действительно, должно быть, хороший человек, если его не оставила семья. Если в его болезни ни жена, ни дочь его не устали бороться. Может, всё же задумались и одумались? Следствие ведь всегда имеет причины. А вразумление приходит через тех, кто нам очень дорог. Слава Богу, что всё обошлось так. Слава Богу! А нам бы вдумчивее смотреть в глубину событий и помнить о духовных законах. И прозреть поскорее... Пока не опоздали.

И всё же вскоре в семью сына пришло новое испытание: была сделана серьёзная операция на сердце старшей внучке. Мать Варвара говорит, что всё время пыталась просить всех московских родственников обратиться к Богу, исповедоваться и причащаться. Именно через это врачевание наших душ Господь часто подаёт помощь тем, о ком мы переживаем. Может, именно к этому звал их всех и Сам Бог?

Но была всё же и радость: Бог дал семье Олега второго ребёнка. Разница между детьми, правда, большая: в двадцать лет! Но и утешение велико. Хотя болезнь сына сразу не прошла, а ещё тянулась. Тянулась и когда она начала всё время бывать в храме, и когда при храме помогала с уборкой, чем могла, оставалась дежурить. Потом сестра попросила помогать в храмовой трапезной, где сама трудилась поваром. Вместе они управлялись с обедом батюшек и всех работников, а потом кормили бездомных.

Тревога за сына была постоянной, и она молилась, но полного облегчения так и не наступало. В какой-то день она подошла к одной из монахинь, когда первые сёстры жили ещё при храме на улице Васнецова. Этой монахиней оказалась мать Гавриила.

Зоя сказала ей о сыне, сказала о себе, что боится не справиться, что нужно, наверное, вновь прибегать к успокоительному. Но мать Гавриила начала просить, уговаривать не делать этого. И вдруг сказала:

— Зоя, а ты читай всё время Иисусову молитву! Привыкай и читай! Знаешь, как она помогает. Вот попробуй.

И Зоя начала первые свои Иисусовы. Она их выговаривала вслух, порой даже выкрикивала куда-то вверх, цепляясь за слова, как за ризу Христа, за последнюю надежду. Она даже не думала о том, что её слышат. Просто читала и читала, испросив у отца Сергия благословения. А ещё внутри себя решила: ни за что не уйду из храма, день и ночь тут буду молиться, службы не пропущу. Неужели Матерь Божия и Господь не услышат? Не помогут?

Очень хотелось, чтобы у неё был духовный отец. Она уже сама выбрала его. Но подойти и попроситься, чтобы отец Сергий взял её под духовное окормление, не решалась. Понимала, что на священнике в этом случае лежит особая ответственность и стоит она немалых духовных усилий за одного человека, не говоря уже о многих, а ещё тех, кому он ещё духовник по молодому новому монастырю. Ей давали разные советы. Например, подойти на исповедь и попроситься под окормление. А одна трудница сказала так: не торопись, пусть всё идёт само собой, молись, Господь Сам управит.

— И вот, — говорит мать Варвара — так и случилось, что стала я сначала на послушания приходить. А потом и вообще жить в монастыре. Постепенно, постепенно стала отходить от дома. Но трудности начались, когда оба сына воспротивились её уходу из мира. Особенно Олег. Его душевные травмы были глубоки с самого детства. Ему было всего шесть лет, когда умер отец. Для мальчика смерть эта стала глубинной тяжестью, надолго внутри оставался страх.

Мать Варвара произносит такие слова, которые мне хотелось бы с её разрешения обязательно написать здесь и сейчас, хотя они относятся, скорее всего, к сугубо личным, очень доверительным. Но, всю жизнь работая с детьми, я сама часто наблюдала за тем, как остро и глубоко ранятся дети с тонкой психикой о разного рода взрослые неурядицы. А уж если они встречаются со смертью близких или, как это чаще всего бывает сейчас, с разводом, их психика, не готовая к потере кого-то одного из самых любимых и самых близких, просто ломается. Со временем невидимая душа уже штопана-перештопана тонкими нитями усилий над собой, чтобы отпустить, простить или проститься с кем-то.

Олег, обладая тончайшей психической организацией, действительно очень тяжело пережил смерть любимого папы когда-то. Тот много времени уделял сыновьям, гулял с ними, играл в нехитрые игры, никогда не наказывал и не повышал голоса. Видя, как терзается и плачет мама Зоя, он внутри себя словно перетапливал глубоко и сверхболезненно возможность того, что и мама может однажды исчезнуть, и он больше не увидит её. А их с братом заберут в какой-нибудь детский дом, о котором невыносимо было даже думать. Он с таким напряжением всегда ждал её возвращения домой, томительно стоял у окна, слушал шаги на лестнице. И позже, уже взрослым признался, как в её отсутствие брал какую-то вещь и держал её в руках, как талисман, как гарантию её непременно возвращения. И потому, услышав о монастыре, сильно расстроился. И сейчас ещё не смирился. Может быть, где-то внутри затаилась даже некая обида на уход. Всё-таки на её уход...

Она почувствовала это, когда приехала просить их согласия. Олег даже не вышел из машины. Как-то сухо обнял её, на его глазах то и дело она видела слёзы. Потом оба сына говорили ей, что она могла бы ходить в любую церковь в Москве, что

ездила бы в паломничество по монастырям, и были согласны сопровождать её, только бы она осталась в миру. Была где-то рядом. Говорили о покупке квартиры для неё, говорили о внуках... У Олега к этому времени появился маленький ребёнок. И у второго, Павла, было двое детей. У неё, выходит, уже четверо внуков. Разве плохо быть для них обычной бабушкой? А Зоя плакала и говорила откровенно, что здесь, именно в этом хаотичном и нестойком мире ей не хватает душевных сил вымалывать их. Потому что именно это стало главным мотивом её мыслей о монастыре.

И второй сын, Павел, тоже, конечно, был против. Они оба и сейчас ещё не смирились, даже после её пострига.

Пытаясь утешить плачущую мать Варвару, произношу то, во что без сомнений верю сама: Господь довёл её до иночества, Он сохранил её от беды во дни безнадёжного отчаянья, Он всё же по её горячим молитвам вернул здоровье после стольких испытаний Олегу. А ещё она всё время в трудные моменты искушений вспоминала сон-видение, когда к ней, отчаявшейся и не верящей в своё исцеление, пришла Сама Богородица и укрыла её чем-то тёплым, произнеся при этом лишь вот эту короткую фразу:

— Ты здорова.

Но в лик Свой взглянуть так и не позволила, смотрела в сторону, но от холода и беды словно загородила, укрыла.

— Вот такая у меня судьба, — глубоко вздыхая, говорит мать Варвара. — Младшему четыре месяца всего. Старшему — шесть лет. И я, потерявшая сразу мужа, семью и счастье. Помню, как позвала к себе маму, чтобы сидела с младшим, а сама работать пошла. Жить надо было. Когда младшему Павлику год исполнился, мама в деревню захотела вернуться, тяжело ей было в четырёх стенах да в городе. Уговорила меня, Павлика чтобы с собой взять, в деревню. Разрешила. Думала, что ему так лучше.

А он, наверное, в обиде на меня так и был. Три года прожил с бабушкой, пока я училась ещё, техникум закончила. Сейчас думаю, может, и неправильно, что отдала от себя, но кто бы знал, как тяжело было мне одной после рая той жизни. Вот ведь как бывает... Я и теперь говорю в основном со старшим, с Олегом. Сама уже не звоню. Он звонит.

Переживает мать Варвара и о старшей внучке, которая по профессии психолог. В детстве, ещё девочкой, стихи начала писать и музыку сама сочиняла. А позже петь стала. У неё и студия есть. И на телевидении бывает. Клипы я её нашла и посмотрела. Талантливо. Но безрадостно, мрачно как-то на душе должно быть, чтобы в юные годы петь о потерях и смерти, о душевном одиночестве.

— Молодёжь... Всё там, как и положено в миру: яркие волосы, краска на лице. Мне и понять, и смириться с этим трудно. Иконок сколько привозила ей, но все из комнаты убрала, — опять принимается плакать мать Варвара. — Стёклышко какое-то оберегом дома называет, трогать не велит. И уж больно книги она запутанные читает! К Богу никак я их всех и не могу привести. Компьютер весь день горит, телевизоры в разных комнатах работают. Им и подумать о Боге некогда. Потому и решила, что одно средство: молиться о них. Всё время молиться обо всех. Тяжело мне. Тяжело и сейчас.

Она вздыхает глубоко и вытирает последние слёзы.

А ко мне вдруг приходят слова, произношу их вслух уверенным голосом:

— Мать Варвара, будем верить: пройдёт с молодостью. Молодость быстро проходит. А Богу всё ведь возможно, даже самое невероятное! Как чудо с Олегом! Как с вами! Всё будет хорошо...

Она попыталась улыбнуться. Кивнула головой. Осознав, что наш разговор окончен, как-то облегчённо ещё раз вздохнула.

Быстро поднялась со стула, выпрямилась в высокую струнку. Не поднимая глаз, бесшумно и сразу как-то оказалась у двери и будто выскользнула в неё лёгким ветерком.

Во дворе звонил колокол к чину прощения. Снизу, из монастырской пекарни, поднимался и просачивался сквозь дверь запах свежего горячего хлеба. По правой от входа в монастырь лестнице кто-то спускался осторожными неторопливыми шагами к внутреннему выходу к храму. Похоже, схимонахиня Силуана. Она всегда идёт на службы и чин одной из первых, слегка касаясь правой ладонью стены для твёрдости опоры и «быстроты» движения. Я тоже поднимаюсь пойти на чин. Мне надо взглянуть на монахинь. Причём, на всех сразу. Сейчас это мне самой так необходимо, чтобы, увидев их улыбки, поясные поклоны друг другу и тёплые объятия, увериться ещё твёрже, что всё у матери Варвары непременно будет хорошо со временем. Ведь когда мы сажаем в землю зерно, не ждём колоска сразу. Вот и дождичек пройдёт, и силы, заложенные в семя, сначала проснутся, а потом и к солнцу тянуться станут сквозь влажный мрак земли. Нужно просто потерпеть. А Бог не посрамит надежды.

Вот в полутёмном храме, у Иверской, среди других фигур видится мне высокий облик монахини Варвары. Она не одна. Вокруг все, кто ей нужен теперь, кто призваны стать её духовной семьёй. Есть духовный отец, есть мать игумения, есть многочисленные сёстры. Есть то, что всех объединяет: любовь к Богу и друг ко другу. Потому непременно всё будет хорошо. Иначе и быть не может, мать Варвара.

МОНАХИНЯ ЕЛЕНА

К ней в келью я поднимаюсь сама. Вхожу. Мать Елена сидит на кровати. Перед ней на маленькой полке горит лампада, стоят несколько икон. Вокруг нет ничего лишнего. А ей ничего и не нужно. Она почти не ходит. А если всё же передвигается, то очень медленно, осторожно, обязательно с поддержкой кого-либо. Сёстры, которые по очереди присматривают за ней, бережно спускают мать Елену в храм и вывозят в инвалидной коляске. К ней в келью приносят и монастырскую трапезу. Вся её теперешняя жизнь — это жизнь памяти и непрестанная молитва.

У неё круглое простое лицо с добрейшими детскими глазами. Голос тихий, неторопливый, идущий из груди размеренными — от одного до другого вздоха — недлинными фразами. Она слегка растеряна. Я вижу это по тому признаку, что её морщинистые ладони начинают перебирать перед собой складки подрясника. Круглые оправы стёкол, отражая законный свет, увеличивают её глаза, и морщинки под нижними веками разбегаются по щекам глубокими желобками, как ручейки от дождя по лику земли. А растерянность монахини мне понятна. Ей поначалу кажется, как и всем, что говорить о себе особо нечего. Что жизнь слишком проста и обыденна. А ещё скоротечна.

Но, слушая каждую из монахинь, я постепенно открывала для себя столько прекрасного, свойственного именно истинной простоте, что ощущала себя океаном, в который вливаются мощные реки. Полноводность и течение этих потоков сравнивать нет надобности. Каждая вбирает, следуя по руслу жизни, лишь ей свойственное и отпущенное Богом. Радостно же мне было от одного общего: течением неизменно влеклось это множество рек ко Христу, к желанию спасения. И ни одно из желаний Господь не отклонил.

Начиная говорить, мать Елена неторопливо приоткрывает запечатанные новым монашеским житием створки прежней жизни, за которыми стоит вся её память. И та начинает изливаться от самых своих истоков, из детства, которое не было безмятежным и сытым. А потому и ещё одна река, река слёз, которая запросилась наружу, стояла у берегов век и не могла не излиться. Несколько раз я брала её за горячую сухонькую руку, просила остановиться и передохнуть. Боялась, что растревожу настолько, что потом ей нужно будет пить успокоительное. Когда она всхлипывает, как ребёнок после долгого плача, прерывисто хватая воздух, я готовно вновь и вновь отказываюсь от записи нашего разговора. Но мать Елена тихо говорит:

— Ничего. Сейчас. Ничего.

В миру она была Ольга. А родилась, как ни странно, в Китае. Да, да, именно там! И вот какими судьбами...

Отец жил в деревне, в селе Колпацком, недалеко от Орска. Приехали как-то вербовщики и позвали работать его в далёкую страну. Он учился немного, был грамотным, вот и решил отправиться в Китай помогать строить далёким братьям дорогу. Поехал сам и всю семью забрал с собой. Там и родилась Оля, и выросла до шести лет. Помнит она многое, но мы решили не задерживаться на чужой экзотике.

Главное, что удивляет и поныне мать Елену, это непостижимая работоспособность китайцев. Такое ощущение было, что они трудятся неустанно. Если не спят и не едят, то непременно работают. И сравнение с муравьями потому весьма точное — точнее не скажешь. Работали в полную силу там и все завербованные. Иначе было нельзя. Им платили зарплату. И такую по тем временам, что, возвращаясь назад через шесть лет, семья скопила приличную сумму в переводе на деньги Страны Советов, а ещё привезла с собой много невиданных вещей, тканей и посуды. Всё, что могло пригодиться для весьма приличной жизни.

Да только время стояло совсем для того намерения негоднее: тридцать седьмой год. Страх уже смотрел отовсюду глазами тех, кто перешёл вброд реку-горе, измерил собой её глубину, знает обжигающий холод, неостановимую силу течения. Её широкую беспредельность в бездушном и чудовищном проявлении: от ночного стука в двери до полной неизвестности о судьбах своих единственных, родных и близких. О судьбах сотен, тысяч, миллионов...

К ним беда пришла, лишь чуть погодя: в тридцать восьмом. Повод был, не требующий совершенно никаких усилий для тех, кто вершил дела и выносил приговоры: заграничное проживание. А дальше — обвинение в шпионаже. В чём же ещё? И ярлык врага народа. Ведь отец Оли сам, мол, вызвался ехать за пределы Союза, чтобы вредить стране, разглашая её тайны. И попробуй возразить этой нелепости!

У мамы их осталось четверо. Три сестрёнки и младший брат, которому ещё не исполнился посреди заставшей их беды даже годочек. Подошли дни, когда совершенно не стало в доме еды, до последней крупинки всё съедено, о чём другом и не мечталось. И не было выхода у мамы, кроме одного: отправить умеющих ходить детей на скитание и прошение милостыни, иначе они бы просто все погибли.

— И были мы где попало и как попало, — только и говорит мать Елена сквозь всхлипы. И мне совсем не хочется задавать ей никакие вопросы. Просто сижу, смотрю на неё и жду...

Она вспоминает, как выжили всё же. Трудно. Но выжили. Превозмогли самое страшное испытание — голод. Были дни, когда мама варила лишь лебеду в виде похлёбки, её и ели. А ещё одним врагом был холод: осенью и зимой топить было нечем, приходилось потому всем идти на поиски веток, кусочков угля, рассыпанных случайно вдоль железной дороги. Да разве одни они такие были!

— Порой сколько избитыми ногами исходишь по путям, а на дне мешка лежат всего лишь несколько чёрных драгоценных кусочков.

А вера всё же была. Теплилась. Вспоминает, что брат, когда подросток, всё время прислуживал в алтаре. И мама водила всех детей в храм, на службы. Особенно по большим праздникам.

Учиться Оля пыталась несколько раз. И хорошо училась, да только мало. Не было одежды, чтобы всем разом в школу ходить. В тёплую пору ещё можно раздетой добраться до класса. А с поздней осени до весны куда пойдёшь? Ни валенок лишних, ни пальтишка. Платок тёплый — и тот непозволительная роскошь, один на всех. Поменять не на что: давно всё китайское продано и обменено на продукты.

Вспомнилось матери Елене, как в осень уже дождливую пришла она как-то в класс, а на ногах — мокрущие тапочки. Они стали тяжёлыми, оставляли за собой влажный след. А её вдруг вызвали к доске. Несмело перебирая ногами, она начала терять тапочки по очереди, и ребята громко засмеялись. Стали показывать пальцем. По своему характеру Оля не была боевой, считалась тихой да застенчивой, больше молчала. И потому в школу тогда ходить совсем перестала. А ещё... Ещё потому, что дразнили её дочкой врага народа. Смотрели с открытым презрением, как умеют лишь объединившиеся в стайку дети. И даже девочки, собираясь на переменке поиграть, запрещали друг другу брать её с собой, подавать руку или даже касаться её одежды. Шарахались, как от прокажённой.

Ощущение такого отторжения невыносимо было для маленькой детской души. Она горько плакала где-нибудь в одиночестве, и в школу ходить наотрез отказалась.

И всё-таки мама подняла всех четверых детей. Всех вырастила. Никого не потеряла. Все со временем вступили в самостоятельную жизнь, обзавелись своими семьями.

Растерянность старенькой монахини так и не проходит, эмоции мешают сосредоточиться, не просыхают слёзы. Она держит большие паузы. Я понимаю, что сквозь это молчание вот-вот сорвётся с её уст что-то, что особо мучает её. Это «что-то» огромно по своим размерам, его не излить до конца, не вместить в слова. Безмолвно оно живёт в ней всегда, перебирается, как чётки, по дням и событиям и называется у людей «горькой памятью сердца». Неотступной памятью.

Ни о чём не спрашиваю, жду. Сейчас она скажет сама о чём-то своём самом главном. Это главное, по-моему, и мешает ей держаться непрерывной нити событий. О чём бы она ни говорила в ту или иную минуту, это главное стоит перед ней и застит всё остальное.

— У меня ведь умерли все. Я одна осталась. Всех похоронила, всех.... Маму, двух своих сестёр, брата. А ещё молодых сыновей. Два сына у меня было. Такие два орла и красавца... Никого нет.

Вот оно, её главное, что не давало говорить связно, что томило её, пока речь должна была следовать по порядку, от самого детства. Всё это давно отошло от неё, не тревожило более. Она потому и говорила, словно спеша добраться именно вот до этого момента, до теперешнего. Он для неё основной. И никакой иной: постепенный уход всех её близких. Её личная обойдённость смертью, от которой ожидается обычно хотя бы справедливая логика: сначала уходят старшие, а потом — младшие. И дети хоронят родителей, а не наоборот. И это очень болит в ней. В её сознании не улеглась эта алогичность. И там, в миру, за пределами монастырских стен, она, возможно, изнемогла бы в одиночестве, бесконечно задавая себе одни и те же вопросы. Но Бог дал ей для утешения и помощи единственно действенное средство — человека. Всего лишь одного человека, который не был родным по крови, но находился рядом своим

быстрым на отзыв сердцем, своим возраставшим молитвенным духом. И это... отец Сергей.

Мать Елена поднимает на меня мокрые глаза, влажными следами от слёз пестрит её «домашний» подрясник. Он весь укапан влажными горошинами. Вновь тянусь к её руке.

— Слава Богу, есть отец Сергей. Он всех со мной хоронил. Как только умирал кто, он тут как тут. Всегда помогал. И без него не знаю, что я делала бы. Никогда он не оставлял меня. Я ж сорок шесть лет отработала в детском саду. Кем только за жизнь не трудилась! И была ведь потом даже воспитателем. Это без образования. Тогда, в мои годы, ещё брали и без особого образования. А как уж стали присылать воспитателей после учения, так я и ушла. Взяли меня в иконную лавку при храме, там работала. Помню, как отец Сергей из армии пришёл, то сначала художником работал, потом уж диаконом стал, а потом и священником. Детки у них рождались с матушкой...

Как-то священник отец Олег ко мне пришёл в лавку и говорит, что вот, мол, батюшке помочь надо. Мы вас отсюда заберём. Сможете с ребяташками возиться? Где приготовить, где погулять, чтоб матушке Наталье помочь. Как же я могла отказать ему? Раз надо, значит надо. Три года практически жила у них. Кирюшке, второму-то, с его болезнью диета была нужна особая, отдельно готовили. И Серафимка потом родился при мне. И старший при мне рос, Семён.

Хорошо у них было, спокойно очень. Хоть и уставала за весь день иногда, но наутро рано бегу уж сама туда. Отец Сергей меня вечером и домой отвезёт, и покушать что-нибудь с собой даст. Если я тороплюсь и не успею поужинать. Славно у них было. Однажды, помню, пурга такая, ветер. Снег, что до того выпал, подтаял, а потом и подмёрз. А я так торопилась на горю-то к ним, что навзничь упала. Головой сильно стукнулась. Лежу, в ушах шумит, соображаю: где я? Но потихоньку под-

нялась и не домой пошла, не воротилась, а к ним. Ничего про себя не сказала. Пошумело во мне, правда, но потом и прошло. Они так и не знали. А зачем я буду их расстраивать? Они мне родные.

Я ведь в последние годы одна всё жила, а батюшка, как монастырь-то заложили, всё мне стал говорить:

— Заберём мы тебя, тётя Оля. Обязательно заберём. Вот и забрал. Да не куда-нибудь, в монахини, к сёстрам. К себе поближе. И тепло, и хорошо тут, и молитва со службами, и уход. Матушка Ксения. Всё, как надо. Слава Богу! Слава Богу...

Когда мы простились, у двери я ещё раз оглянулась. Мать Елена поправляла седые волосы, выскользнувшие из-под апостольника. Её каждодневная обыденность, лишённая лишних движений, могла бы показаться со стороны достойной участливой жалости. Но здесь, в Иверском монастыре, это такое неуместное слово. И вовсе не веет духом классической богдельни от этой благодной какой-то старости. Тихой, чистой и милой. Согретой живым участием сестёр, тёплой любовью батюшки. Ощущением семейного уюта. Нужности всех её членов.

Подобная старость красива! И очень достойна такого человека, как смиренная мать Елена. Каждый час осмыслен до последней осознанной своей минуты упованием на Живого нашего Бога: спасающего, утешающего и любящего нас через живых конкретных людей.

Какое же это осязаемое счастье: знать их. Видеть их. Жить с ними!

МОНАХИНЯ СЕРАФИМА

Мать Серафиму я знаю дольше всех. Когда-то мы даже работали вместе в орской православной гимназии во имя Святых Царственных Страстотерпцев. Помню, что она, исполняя обязанности секретаря при ректоре-священнике, виделась мне человеком очень близким ко храму и вере. Удивляло, что ни разу я не слышала от неё повышенного тона, никогда и никому не ответила она раздражённо либо безучастно. Голос звучал всегда тихо, спокойно. Она могла объяснить любому именно то, что нужно, не отмахиваясь от решения вопроса, помочь в котором она была в силе.

Несколько раз мы были вместе в одних паломнических поездках. И тогда я замечала, что она намеренно уходила от каких-то мелких конфликтов, выяснений спорных моментов. Была более с собой и в себе. Но назвать мать Серафиму необщительной даже теперь, в монашестве, будет неверно. Она открыта к разговору, старается помочь в любой мелочи, охотно предлагает свою помощь.

Когда появляюсь в монастыре, кажется почему-то, что она больше всех радуется встрече. Когда уезжаю, именно мать Серафима провожает меня в дверях, и именно она тихонько первой поутру стучит в мою келью, предлагает согреть чаю и что-нибудь перекусить. Собирает в пакетик несколько пирожков в дорогу, вызывает такси, если нужно. Когда, прощаясь, мы обнимаемся, она задерживает тёплые объятия. Или это мне кажется? Не знаю, может быть... Но особая сердечная привязанность между нами, как тоненькая, но крепкая ниточка, существует. И я её ощущаю. Как ощущаю и молитвенную связь со многими из монахинь, которые, знаю, молятся обо мне тепло и сердечно. И потому, каждый раз приезжая туда, с особой радостью обнимаю всех, как самых дорогих родных, потому что молитвенная связь — осязаемое чудо: можно довольно долго

не видеть друг друга, но быть «на связи» молитвенно, духом, теплотой сердца, Христовой любовью.

Иное имя и не могла бы получить при своём постриге мать Серафима. А он был в этом монастыре в ряду первых. И она очень любит батюшку Серафима, Саровское наше чудо, согревающее своей молитвенной любовью всех и каждого. Всю православную Россию. Его чтит Афон, поклоняются ему в Грузии и в Сербии, молятся ему во всех уголках земли, где есть православный приход, хоть самый малый и скромный. И нет такого храма, где не смотрел бы лучистым и тёплым своим взглядом с иконы, совершенно как живой, батюшка Серафим.

Потому носить это имя монахине Серафиме нелегко и легко одновременно. Легко, потому что сам батюшка наверняка особо опекает всех, носящих его огненное наречение, данное при крещении или постриге в монашество, и призывает к этому небесных Серафимов, в честь которых, в свою очередь, сам облёкся в иночество. А трудно по причине высоты подвига, к которому зовёт дивеевский святой, понуждая своей чудесной иноческой жизнью к истине смирения и высоте молитвы.

А мать Серафима ещё и моя землячка. Мы родились с ней в одном маленьком городке Медногорске, лежащем среди приуральских гор. Может быть, именно это и есть та ниточка, что невидимо связывает наши души особой теплотой отношений.

Начав рассказывать о себе, мать Серафима первым вспоминает папу. Он был когда-то уроженцем Нижегородской области, тогда Горьковской. Из семьи глубоко верующей, принадлежащей к Русской Православной старообрядческой Церкви. И потому, как только помнит себя уже мать Серафима в детстве и юности, на лето почти всегда приезжали они с семьёй именно в родные для отца места, на его малую родину. Там, где и жила всё время его мама с двумя сёстрами, бабушка тогдашней Татьяны Храмовой, теперешней монахини Серафимы.

В деревеньке той не было церкви, но стояли с двух её сторон две каменные малые часовенки-ниши, в которых всегда были иконки, зажигались свечи. А иногда приезжал священник и служил здесь молебны.

Семья жила благочестиво, с достоинством внутренней размеренной жизни, с молитвами перед вкушением пищи и перед всяким делом. Правда, детей никогда не заставляли молиться или читать подолгу богослужебные книги. Они сами смотрели на взрослых и естественным образом приобщались к той жизни, когда чуть ли не всё в ней соизмерялось с Богом, с Его оценкой поступков и помыслов. В доме были иконы, была молитва, было сердечное отношение друг ко другу. Нужно было лишь посмотреть на это и впитывать в себя.

Престольным праздником в селе считался день Петра и Павла, так называемый Петров день. Кто хотел увидеть друг друга из окрестных мест, приезжали в село с именем Буслаево и встречались ежегодно этим большим праздником. Общих молебнов не было в традиции этой церкви, молились всегда семьями по домам. Но готовились к празднику тщательно: прибирались, ставили тесто, много пекли, стряпали. Доставали лучшие одежды, ходили друг ко другу в гости, широко встречали близких и знакомых. К вечеру по домам начинали ходить дети и подростки, пели песни за нехитрое угощение. Эта традиция была долголетней и крепкой, как говорит мать Серафима. Даже гораздо позже, когда молодая поросль становилась старше, а потом и вовсе разъезжалась во взрослую жизнь, традиция продолжала жить внутри у каждого, волновала зовом, и многие по-прежнему старались попасть в родное село именно на Петров день.

Интересной была традиция в окрестных деревнях посвящать особо один из праздников церковных всеобщему сбору. Были в округе сёла с общим праздником в честь Казанской

Божией Матери, в честь Пресвятой Троицы. И у всех была одна общая радость, объединявшая тех, кто хотел увидеть родственников и друзей: приехать в то или иное село именно в особый, праздничный день.

А мать Серафиму крестили уже в православном храме, в Медногорске, когда туда отправили служить её папу. А до того он пережил многое... Мальчишкой почти, в семнадцать лет, ушел на фронт и попал сразу на Курскую Дугу. После вспоминал, что бои шли страшные, нечеловеческие усилия приходилось прилагать, чтобы преодолевать страх, когда на тебя движется машина из железа, летит град свинцовых пуль. Но есть приказ «в атаку», и надо подниматься над страхом, бежать вперёд, принимать бой. Вокруг множество таких же, как он, юных совсем ребят, которые падают на бегу, словно споткнувшись, истекают кровью, шепчут или кричат что-то пересохшими губами, умирают среди рёва пушек и снарядов.

Видел он и панику, когда глаза человеческие расширены от ужаса, когда солдаты вместо броска вперёд разворачивались на своих же бойцов и неосознанно стреляли, не владея уже ни рассудком, ни волей. Что ему пришлось увидеть? И разве можно было рассказать обо всём? Лишь практически к концу своей жизни и говорил он о тех страшных моментах, что пришлось на его долю в страшной войне.

Рассказал, как был ранен в одном из боёв в бедро. Как, наскоро перевязав, относили раненых в какой-то сарай на окраине деревеньки. Немцы наступали и наступали. Бои шли беспрерывно. Забирать с собой беспомощных своих солдат, ждавших подмоги, просто было некуда. Несколько дней не удавалось отбить округу, и земля отходила то к немцам, то к нашим. На них, раненных тяжело и не могущих двигаться, не было ни сил, ни времени ни у одних, ни у других. В сарае стоял стон, кто-то метался в горячке, кто-то умирал от потери крови

или тяжести ранения. Хотелось пить, неизвестность мучила не меньше.

Но, наконец, удалось отогнать фашистов. Образовалось временное затишье. Всех, кто был жив, забрали и вывезли в госпиталь. Там, осмотрев раздробленное бедро, врач приказал готовить папу к полной ампутации ноги. Спасать кость в тех условиях было некогда. Просто некогда. Раненые шли потоком. И вдруг случилось чудо, невероятность, которой могло и не быть в той суматохе, но... она случилась. И не без Божьей милости. Иначе не рассудишь. Врач отошёл на время, видимо, смотрел документы и, подойдя вновь, спросил:

— Слушай, Храмов, а ты откуда? Не из Горьковской ли области?

И выяснилось тут же: хирург назвал имя своего друга, который... оказался родным дядей обречённому на инвалидность и обездвиженность парню. Вот ведь как бывает! И разве не чудо это, случившееся в одну минуту? Ведь врач, подумав, отдал уже совсем иное распоряжение: готовить бойца к сложной операции. И ногу папе тогда спасли. Хотя полгода ещё он лежал в госпитале. С фронта, конечно, его демобилизовали. Так он оказался в Оренбургской области. Здесь была одна из частей, куда присылали после ранения тех, кто мог ещё для неоконченной войны быть полезен в качестве военного. И папа матери Серафимы сопровождал бойцов-новобранцев к месту назначения, выполнял иные поручения.

С будущей женой он и познакомился в Оренбурге. Война ещё продолжалась. Но продолжалась и жизнь. Мама к концу войны приехала в этот город на учёбу, жила на квартире. И какими-то судьбами они с папой нашли тогда друг друга.

У хозяйки квартирной был сын, к нему-то однажды и пришёл молодой военный. В прихожей бросилась ему в глаза разбитая обувь девушки. Он, уходя, молча забрал, починил и

вернул хозяйке. Чем, несомненно, обратил на себя внимание, подкупил простотой и трогательной заботой. Два месяца они были знакомы всего, а потом стали жить вместе, потому что пожениться им тогда просто не было возможности какое-то время. Дело в том, что у девушки украли сумку со всеми документами, и восстановить их сразу не удалось. Когда молодая пара решила создать свою семью, подать документы было невозможно. Но хозяйка, у которой девушка снимала комнату, была человеком верующим, да и сам папа не из семьи атеистов. Потому, сняв со стены икону Казанской Божией Матери, женщина, видя их любовь, благословила и сказала, что это благословение не шутка, и Матерь Божия строго спросит с жениха, если он вдруг не исполнит своего обещания о женитьбе.

Так мама и папа матери Серафимы связали свою жизнь с Оренбуржем, потом перебрались в Медногорск, где какое-то время папа работал в госпитале и где родилась дочка Татьяна. А позже его пригласили в органы госбезопасности, и семья переехала в областной центр. По долгу службы отца часто переводили в разные города, а когда он выполнил поручение в Орске, то подал заявку на увольнение и больше уже не служил. Тут семья и обосновалась насовсем. И дочка Таня пошла во второй класс.

Помнится и мне самой, что росли тогда мы, дети, на книжках. Да не каких-нибудь, а лучших и светлых. Когда вырастали из добрых сказок Андерсена, встречал нас своим разноцветным миром грёз трепетный Грин. Деятельным бескорыстным добром — романтик Гайдар. Все они бросали по зёрнышку в наши души и пробуждали жажду ответного добра. Кто из детей раннего и позднего послевоенного поколения не играл в Тимура? Не входил в его «команду»?

Играла в эту игру и моя теперешняя рассказчица, мать Серафима. Двор, где она жила, был большой, и сад был тут же, у

школы. И детей — полным-полно. Четыре девочки, две родные её сестры и ещё одна, жившая с ними будто сестра, прекрасно ладили между собой, были всегда вместе, придумывали и осуществляли нескончаемые детские планы. Игра в команду, которая тайно творит добро, помогает обиженным и тем, кто нуждается в помощи, захватила двор.

А ещё тогда был внутри ребятишек какой-то зов к тому, что людям вокруг хорошо бы доставлять побольше радости. И сами девочки, да и мальчишки с ними заодно придумывали и проводили с детьми спортивные игры, разные соревнования, а для взрослых готовили концертные номера и показывали всё это на площадках, во дворах и даже в подъездах. Похоже, что желание порадовать взрослых не ушло ещё с военной поры, когда, желая вносить свою лепту в победу, маленькие артисты шли в госпитали или в заводские цеха, чтобы увидеть на уставших лицах улыбки от нехитрых песенок или известных всем стихов. Главное было не в самих номерах. Главное — ощущение единства, сопричастности к великому и святому делу. А после войны это единение тоже нужно было, чтобы быстрее затягивались на памяти раны от потерь, чтобы отодвигалась война ради нового созидания жизни. Дети чувствовали себя по-взрослому, понимали, что играют, но играли не для весёлого времяпровождения. Видя их серьёзность и стремление, взрослые решили даже выделить им специальное помещение, часть дома, в котором было бомбоубежище. И ребята собирались там для репетиций или каких-то своих важных дел. Для экстренного сбора и помощи кому-то решено было, как в книге Гайдара, трубить «сбор» одному из соседских мальчишек прямо с балкона. И все спешили на зов, если горн звучал призывно.

Родители с пониманием отпускали на экстренный слёт. Так росли и жили тогда многие. И детство было хорошее, осмысленное. Да, в нём до времени не было Бога. Но смысл служения

и стремления к добру жил внутри у всех, ведь испытания и скорби дают мощный рост душевным силам и всему лучшему, что есть как в отдельном человеке, так и в целом народе.

Благодарна и тому времени, и родителям мать Серафима. Она говорит об этом со светлой улыбкой и теплотой в голосе. А я знаю. Ведь не совсем далеко по времени ушло моё детство от того, о котором рассказывает она. Мы были их продолжателями, хотя прошло целое десятилетие. А то и больше. Как-то всё успевалось тогда: и дома что нужно делали, и гулять успевали.

Удивительно, но полезная деятельность придавала всё новые силы, хотелось что-то ещё совершать для себя и окружающих. В доме, где жила тогда семья матери Серафимы, на нижнем этаже жил человек, играющий на баяне. Татьяне захотелось брать у него уроки, и полгода она занималась, научившись играть и подбирать музыку. У кого-то из ребят в семье был аккордеон, и вот дворовые ребята уже выходят на улицу, и концерты обретают истинную музыкальность, привлекают больше слушателей.

Татьяна и в деревню папину, когда уезжала на лето, стала брать с собой баян. Однажды, вспоминает, летела она с сёстрами самолётом, и её попросила женщина сыграть что-нибудь, чтобы забыть о полётном волнении и шалостях вестибулярного аппарата.

— Девочка, сыграй хоть что-нибудь, чтобы не так тошнило, — взмолилась она. И девочка без уговоров принялась оказывать музыкальную скорую помощь.

В знакомое по летнему отдыху село баян тоже привнёс нечто особое, радостное, новое. По вечерам к его звукам собирались ребята и девочки даже из соседних сёл. Вместе пели знакомые всем песни, получалось складно и здорово. «Концертные программы» рождались сами собой, а слушатели не заставляли

себя долго ждать, приходили и дружно аплодировали. Всё было практически по-настоящему.

В старом пустующем клубе молодёжи с радостью разрешили собираться, репетировать. И вот уже их ждут в других посёлках, с волнением принимают, а они с ответным старанием придумывают всё новое и новое.

В одной из поездок для концерта и репетиции им открыли клуб, который в прошлом был храмом. Вечером сюда собралось практически всё село, концерт прошёл с подобающим успехом. Местные ребята тоже вышли со своими номерами. Поздним вечером окрылённая молодёжь возвращалась в свою деревеньку. Их концертному коллективу для удобства передвижений выделили даже телегу с лошадью.

И вот они довольные, счастливые своей молодостью, красотой звёздной ночи возвращаются назад. Татьяна уже шестнадцать, она среди всех самая старшая, на душе — ощущение покоя и безмятежной жизни впереди. Молодость ведь и не может мыслить иначе.

— Тогда, — говорит мать Серафима с теперешним сожалением, — не было даже по молодости, а практически ещё детскости никаких совестных терзаний по поводу того, что веселили мы людей деревенских жителей не где-нибудь в поле на стане или на улице. Всё ведь происходило в церкви. Об этом я задумалась позже. Гораздо позже даже того, как, вернувшись домой, в Орск, почувствовала признаки болезни. Врачи поставили тогда диагноз: полиартрит, хотя сами удивлялись тому, откуда, мол, у девушки, растущей в хороших условиях и сухой тёплой местности, могла взяться именно эта болезнь? А мне становилось всё хуже и хуже. Врачи и определить смогли не сразу, что же со мной. Я просто со временем практически ходить перестала. Были дни, когда меня просто переносили с места на место на руках. Так невыносимы были любые движения. Интересно, что мы с бу-

душим мужем учились в одном классе, и он видел мою болезнь. Но когда повзрослели, всё же не испугался взять меня замуж.

У него было красивое нерусское имя — Гельмут. Мать Серафима вдруг произносит странную мысль, что это уже гораздо позже, когда жизнь их семейная как-то странно складывалась и они не понимали во многом друг друга, она всерьёз начала искать всему причину в зове Божиим. Мол, она тогда, в юности, его не расслышала и, наверное, не могла расслышать, а никто из взрослых не подсказал. Думалось ей и о том, что путь семейный мог быть и не её путём. И не надо было ей, скорее всего, выходить замуж. Вдруг Господь звал её именно в монашество? Ещё тогда? И болезнь была призывом к размышлению об этом через скорбь её преодоления?

Теперь-то она почти уверена в этом, а тогда... Тогда она не пошла в десятый класс, а как многие другие захотела овладеть профессией. А доучиться уже в вечерней школе. Папа помог ей устроиться на Орский механический завод. Она сама поступила в машиностроительный техникум, а потом и в институт в Оренбурге заочно, в финансово-экономический. Но, отучившись год, поняла, что это для неё сложно и словно бы не по её душе. Работала она в ту пору на заводе экономистом, появилась семья, а потом и радость — своя квартира на Тракторных Прицепах, где они прожили десять лет. Так что монастырь, выросший на этом месте в городе, тоже отчасти не случаен для неё. Это теперь, уже будучи монахиней, искренно говорит мать Серафима, что в семейных неурядицах, скорее всего, её особая вина. Что не была она терпеливой, а вот слишком требовательной была. По молодости окружало их много хороших друзей, часто все собирались вместе и, следуя привычке детства и юности, продолжали не праздно, а, как тогда казалось, с пользой проводить свободное время: устраивали домашние КВНы, придумывали разные игры и шарады.

По болезни тогдашней Татьяне не рекомендовали иметь детей. Но она родила первого сына, а потом, только через двенадцать лет на свет появился второй. К этому времени, чтобы сохранить брак и семью, нужны были мудрые человеческие и женские качества: осознанное терпение ошибок, искренность обычного понимания. Но они оба были ещё слишком молоды и не удержали семью. Супруг уехал на Дальний Восток. Работать. Она осталась здесь с сыновьями. И вырастила их одна, сумев именно здесь научиться доверию, воспитать их ребятами добрыми, отзывчивыми. Между ними были и есть доверительные отношения, чем мать Серафима по-человечески гордится.

Старшему выпало время не просто службы, а войны афганской. Когда после полуторомесячной учебки их должны были отправить в чужую страну, сын попросил её приехать к нему. А она тогда ещё совсем не понимала, куда он едет? Что стоит за этим словом «Афганистан»? Сын только что женился, прямо перед армией, и к нему они поехали вместе с невесткой. И только там, на пункте отправления в Афганистан из тогдашнего Союза и прибытия оттуда, она увидела сама и беженцев, и раненых, и госпитали, и поняла, куда едет её сын. Пока он не вернулся живой и здоровый, её душа молчаливо переживала сама в себе тревогу за него. Она часто писала письма, как подсказал ей кто-то из военных, убедив:

— Пишите ему письма. Часто пишите. Хоть о чём. О самом незначительном, но пишите. И просите его никуда не выходить за пределы части ни под каким предлогом. Это очень опасно.

И она писала. Писала и ждала...

Мать Серафима честно признаёт, что даже не помнит точно года или события, когда дорога привела её в храм. Всё время были какие-то переживания, тревога по поводу того, что она одна отвечает за сыновей.

Через несколько лет с Дальнего Востока вернулся её бывший муж. Женился, но остался в Орске. Она знала об этом, но они не встречались. А гораздо позже услышала тогдашняя Татьяна Николаевна о том, что он неизлечимо болен. Резко ему стало плохо, пришла слабость. Сама она с ним отношений не поддерживала, а вот сыновья с отцом встречались. Родни у Гельмута не осталось в России к тому времени, все уехали в Германию, так как были немцами по происхождению. Особой поддержки потому у него и не было. Только вторая жена.

А в духовной жизни у будущей матери Серафимы стали намечаться серьёзные изменения. Сначала её вдруг повлекла к глубоким раздумьям хорошая классика, которую она открыла для себя по-настоящему лишь теперь, в довольно зрелом возрасте. Она много читала. Любила смотреть серьёзные фильмы с экранизацией именно классики, с удовольствием смотрела спектакли. Начались и духовные поиски. Она искала порой не там, попадала к странным людям, у которых на многое был совершенно свой, сугубый взгляд. И душа сопротивлялась, вводила оттуда.

Когда бывший супруг попал в онкологическую больницу в областном городе и к нему стали ездить сыновья, вдруг пришла мысль о том, что перед его уходом у них должна состояться встреча. Много в сознании тогдашней Татьяны Николаевны обретало уже иную, более зрелую оценку. Она понимала, что были они когда-то оба нетерпимы и молоды, чтобы уметь по-настоящему беречь друг друга. И потому ей тоже хорошо бы съездить к нему, дать возможность и себе, и ему обрести мир. А скорее всего просто попросить прощения. Потому что память всё время заставляла её возвращаться к тем временам, когда они не смогли остаться вместе. Она собралась и поехала. Даже не зная о том, что её поездка выпала на большой церковный праздник — на Троицу.

В палате рядом с больным сидела жена. Она спокойно приняла приезд Татьяны, сказала, что ему очень худо. Фактически он уже на грани ухода. И всё же Гельмут поднялся, вдвоём с Татьяной вышли они в больничный коридор. Сели на стулья рядом. Сначала она взяла его за руку, потом обняла и заговорила... Целовала в голову и вновь говорила. Вдруг осознала и вспомнила, каким добрым был он по натуре, очень мягким, более терпеливым, чем она. Так состоялось их примирение перед скорой вечностью одного из них. И оба они в тот день, и бывший супруг, и она сама, пережили особое чувство желаемого облегчения.словно давний и тяжкий груз был снят с двух душ. И несмотря на то, что близкий когда-то человек теперь уходил, гас, отдалялся в какое-то неведомое место, с которым живым так трудно мириться, всё же она обрела неведомый до сего момента внутренний покой. Она почувствовала, что они по-настоящему простили и отпустили друг друга. Он её. А она его, Гельмута. Да, вот такое редкое и красивое имя носил её одноклассник, приметивший её когда-то особо среди сверстниц.

Говорит мать Серафима и о том, как потом позвонила его жена и сказала ещё одну удивительную деталь из его теперешнего состояния: всю эту ночь он проспал спокойно, тихо, без метаний. Будто без боли.

В автобусе, который неспешно катился по обратной дороге к Орску, случилось с ней и первое озарение, которое было всё же неизбежным и ждало просто подходящего времени. И время пришло...

У шофёра работало радио. На волне мыслей о жизни и смерти, о хрупкости благополучия и планов наперёд, которые мы так любили строить в нашей той, прежней жизни, совсем не связанной с живым и реальным Богом, она вдруг услышала музыку и голос диктора. Неспешно, размеренно и очень красиво он рассказывал об этом празднике. Татьяна заволновалась

отчего-то. С жадностью слушала простые, но такие нужные ей именно теперь слова. Ей хотелось, чтобы голос из динамика не замолкал, чтобы душа, подобно губке, впускала в себя, впитывала какой-то чарующий поток слов. А они выходили из динамика, ложились ей на сердце и вытесняли из неё тягостные раздумья. Давали ощущение странное: какой-то неведомой надежды, тихого упования на то, что есть некая неведомая и невидимая ей область, в которую она ещё не ступила. Но которая ей знакома по ощущениям, по далёкому детству у бабушки, по дому, в котором когда-то давным-давно звучали молитвы и давали душе неосознанное ощущение защищённости ото всего плохого. И каких-то щемящих отголосков счастья.словно дальний тонкий колокольчик звонил где-то далеко позади, в детской памяти и волновал, волновал, звал к себе.

Гельмут умер где-то через полтора месяца. После его похорон вдруг вновь пришли и тяжесть, и пустота. Они словно посасывали душу, и покоя не было. Казалось, что нужно идти куда-то. Что-то делать. Но куда? И что? Гельмут не был крещён, ведь он жил в немецкой семье. И всё же она пошла в храм, что уже строился в Старом городе Орска. На деревянный каркас, собранный временно для быстроты и начала богослужений, постепенно «надевали» кирпичный. Но службы не прекращались. Из алтаря вышел высокий священник, похожий на русского богатыря. Татьяна Николаевна бросилась к нему, коротко сказала о своём состоянии. Батюшка посоветовал ей исповедаться и принять Христовы Тайны. А она и не знала, что это такое? Никогда не была, не видела... Как это? Тогда батюшка попросил женщину из иконной лавки рассказать всё, что было нужно для первого причастия.

Она готова была слушать, но всё время кто-то подходил, долго расспрашивал о товарах, и какой-то голос внутри стал настаивать: уйди, уйди, уйди. Но она всё же дождалась тишины и всё выслушала.

Готовилась тщательно. Как было нужно. Исполнила всё в точности. Когда пришла после подготовки на исповедь, оказалось, что и её первую в жизни исповедь будет принимать тот же священник, отец Сергей. Она исповедалась и причастилась. Это и был первый осознанный её приход в храм. Первый, но не последний. С этого дня её тропинка в храм уже не зарастала.

С завода к тому времени она ушла, это было за два года до бурного времени начала перестройки. Но почему-то стало уже там тягостно и неуютно. Её взяли на время в бюро путешествий. Она с удовольствием там работала два года, начала сама путешествовать по путёвкам. Но как раз подошло время великой неразберихи в великой стране. Кто-то, конечно, перестраивался. Кто-то спешил распродавать всё, что можно, за обычные цветные бумаги с неизвестными названиями. Кто-то пробовал на вкус чуждое всем недавно слово «бизнес». А в основном рушились, как домики на песке, привычные жизни миллионов советских людей, мечтавших выстроить коммунизм, но успевших построить ко всем просроченным срокам лишь шаткий социализм, который быстрыми темпами старался перерасти в жёсткий капитализм. Про него страна мало что уже помнила даже из книжной теории, а на практике... На практике стали одно за другим закрываться мощнейшие предприятия, гиганты различных индустрий. Их терзали на части, растаскивали, «распиливали». Всё, что могло приносить прибыль, криминально делилось. Кому в этой суматохе нужно было тогда небольшое городское турбюро, ещё не умеющее возить ни в какое зарубежье оторопевших граждан?

Мать Серафима пришла последней в коллектив, потому уволили её первой. И два года эти она просто ходила в храм, а чтобы выжить, по благословению отца Сергея брала пуховые платки и ехала в Москву или в другие крупные города. Выру-

ченные деньги позволяли бывать в храмах, она начала ездить в восстановленные монастыри.

Интересное чувство она испытывала тогда в церкви: ей казалось, что стоящие на службе... святые. Самые настоящие святые. Они не такие, как те, что за храмовыми стенами. Они чистые и безгрешные. Все без исключения. И она лишь себя ощущала совсем иной.

Когда храму на горе Преображенской понадобилась уборщица, мать Серафим, уже особо не раздумывая, пришла сюда на работу. Эти полгода были самыми счастливыми в её жизни. Никуда не нужно было торопиться. И работа, и служба после работы были в одном месте. Она испытывала счастье, когда чистила подсвечники, вытирала иконы, с особой тщательностью мыла полы. Она уже многое знала и в службах, и в проповедях многое открывалось сердцу. Следующей работой в этом же храме была лавка. Здесь можно и нужно было читать духовную литературу. И она читала, всё более обретая смысл прочитанного.

Когда на горе вырос не только храм, но и была построена православная гимназия, Татьяну Николаевну взяли на то самое место, где мы и встретились впервые, когда уже небожителем казалась мне она. Ведь мои первые шаги в храм случились гораздо позже её шагов. И потому мы часто говорили о разных жизненных и даже духовных моментах, там я и услышала, как она говорит по телефону или с людьми, приходящими в гимназию. Тихий голос остался у неё и теперь, а интонации в них прежние, мне хорошо знакомые.

Всякое в жизни духовной бывает и бывало. Говорит об этом мне теперь и мать Серафима: и чудес было много всяких, и искушений, и трудностей. Но как-то её духовная тропинка никогда не отходила далеко от отца Сергея. И в конечном итоге получилось так, что она уже и сама бы никуда от него не

отошла. Он был первым, позвавшим её в храм не из любопытства, не на экскурсию, а к причастию новой жизни, которая как могла, так и не могла случиться после того самого первого раза. Но, слава Богу, случилась. Монахиня Серафима сама несколько раз повторяет эту фразу, благодарит Бога за встречу с отцом Сергием.

Ей всегда хотелось в Дивеево. Она часто ездила туда и думала уже о монашестве, но была больна старенькая мама, болела сестра, а позже и снохе необходима стала помощь с внуками. И не случилось тогда дивеевской послушницы Татьяны. А случилась потом монахиня в Орске. Тропинка так и не вильнула в сторону, а продолжала жаться к священнику с обликом русского богатыря. Значит, так и должно было стать...

Я прошу мать Серафиму рассказать из её духовной жизни что-нибудь, что попросится из памяти. Она вдруг смеётся и говорит, что расскажет о главном для монаха необходимом обретении: о послушании. И о том, почему надо слушать священника, чтобы ощутить благодать, а не смущение от своеволия. А дело было так...

Собралась она в паломническую поездку. Вроде бы, поначалу в своё любимое Дивеево, но потом передумала: там она уже была неоднократно, а вот никогда не ездила ещё в знаменитую Оптину Пустынь. Сказала об этом отцу Сергию, а тот вовсе не возражает, но вдруг говорит зачем-то, что сначала ей нужно непременно заехать именно в Дивеево. Думалось ей над этим, думалось, да не понималось: а зачем? Поручения батюшка никакого не дал, просто сказал, что надо ехать туда. Сказал-то сказал, да у неё же совсем иной план нарисовался! Пошла она в размышлении на исповедь, а заодно и рассказала другому священнику про свои сомнения: зачем же ей ехать в Дивеево, если собралась она в Оптину? Священник сыронизировал тогда, видимо, а она не уловила иронии. Сказано им было так:

— Так поезжай. Поезжай, как и хочешь. В Оптину. Там духа батюшки Серафима больше ведь.

Она и приехала. И так всё хорошо складывалось: от Козельска до самой Оптины шла пешком, ничуть не устала. Лесной тропинкой птицы пели ей свои песни, бабочки летали, зеленела листва. Благодать! Душа радовалась. На следующее утро, подготовившись к исповеди, решила исповедаться. Принимал исповедь некий иеромонах, и среди прочего рассказала ему она о словах отца Сергия. Мучило где-то в глубине души-то, что по-своему поступила. Говорит она ему, говорит о том, что, выходит, всё же ослушалась, как ни крути. А монах молчит. Ни слова. И даже не смотрит на неё. Тогда она сама робко его и спроси:

— Что мне делать-то теперь? Сама не знаю.

А он опять молчит.

— Так в Дивеево ехать что ли?

А в глубине души сама себе и ответила, мол, разве это теперь важно? Всё свершилось. И вдруг монах уверенно кивнул головой: да, ехать и именно в Дивеево. И именно сейчас. Сразу.

Мать Серафима вновь от души смеётся над собой:

— Представьте только, как я опешила! Вышла от него, ничего понять не могу! Ехать? Как «ехать»? Тут и слёзы, и сомнение. И даже досада на монаха: и он туда же? Сговорились что ли?

Лишь ночь она и переночевала. Но что делать? Собралась и поехала... в Дивеево. Добралась на следующий день, уже поуспокоилась. И даже внутри себя некое чувство удовлетворения и гордости ощутила: всё же послушание-то, получается, выполнит!

В паломническом центре ей дали адрес для размещения. Где-то в районе Казанского источника Божией Матери. Но почему-то не в знакомой гостинице. Идёт Татьяна Николаевна довольная, и думается ей о том, что за эту её послушную пере-

мену места батюшка Серафим «определит» её сейчас в какие-то невиданные по комфорту палаты!

Вот некий одноэтажный дом, вышла к ней монахиня, взяла в руки записочку, прочла, а потом пригласила гостью внутрь дома. В большой его половине в два яруса стояли деревянные кровати-нары, покрытые простыми одеялами. В углу белела обычная печь. Монахиня указала ей на местечко у окна.

— Ладно, — решила она, — пойду на службу, там видно будет.

А когда вернулась после службы, поняла, куда её батюшка Серафим за «послушание» отправил. Оказалось, что в этом месте жили разные странные люди, место которых, если взглянет на них здравый человек, уж явно не в таком святом месте, а где-нибудь в клинике. Это непременно ему покажется... Здравому-то человеку!

Тут были и мужчины, и женщины. И подростки. Они все хаотично двигались. Разговаривали друг с другом и сами с собой, пели, валялись по полу. Реакция её была однозначной: ошибка! Это какой-то ужас! Разве можно здесь находиться? И отдыхать? Полтора часа она ещё попыталась полежать. Не обращая ни на кого внимания. Но потом поднялась, забрала с возмущённым сердцем свои вещи и вновь отправилась в центр.

Теперь ей дали место в обычной гостинице, и будто бы можно успокоиться. Но не тут-то было! Сомнение, как яблочный червячок, виляло хвостовой частью, металось по тёмным лабиринтам одних и тех же мыслительных ходов. Она пришла в храм. Службы не было. Но чуть в стороне от средней части храма стоял священник и выслушивал двух женщин. Их какие-то запутанные истории. И слышится ей, как вдруг вскрикивает негромко батюшка твёрдо, но напористо:

— Благословляю вас сегодня же к вечеру выехать из Дивеева! Сегодня же!

Мать Серафима вновь широко улыбается и качает головой, вспоминая дальнейшее громкое развитие событий в тихих дивеевских окрестностях.

Подойдя к этому же батюшке после отосланных женщин, она кротким голосом начала рассказывать ему о несправедливости с её поселением. Мол, дали ей место почему-то в каком-то убогом доме с какими-то убогими и просто больными людьми. И вот... чего угодно она тогда ждала, но только не этого...

— Чтоооо? — загремел на весь храм батюшка. — С убогими? С больными? А ты, значит, здоровая? Благословляю сейчас же уехать из Дивеева! Сейчас же!

И тут будущая монахиня просто рухнула на колени и закричала сама:

— Батюшка Серафим, помоги мне! Прошу тебя, помоги!

Священник тоже не ожидал такого от только что высланной. За его спиной, оказывается, стоял стульчик, и он буквально рухнул на сиденье. А она уже плакала горько и от души. Потому что ничего не понимала: что происходит? Целовала его руку и причитала одно:

— Только не выгоняйте меня, только не выгоняйте.

Засмеявшись ещё раз, мать Серафима весело произносит:

— Такой дуры-то, как я, батюшка этот, видимо, ещё не встречал, потому смотрит на меня оторопело.

И как-то вырвалось из неё всё от самого начала, от батюшки Сергия. И его странные слова про Дивеево. Местный батюшка не сразу, но помягчел, изрёк такую фразу:

— Что ж, поживи тогда, поживи. Только чтоб ни разу не согрешила!

Отошла от него Татьяна Николаевна тогда, поплакала ещё у иконы Успения Божией Матери, «поговорила» с Богородицей. И думала всё: «И как же так? Как же... прикажете прожить без

единого греха, когда грех — вот он, по пятам ходит. Да ещё и вперёд сам забегает!»

Но взяла из гостиницы вещи и пошла опять к убогому дому, не зная, что будет. А было то, что даже тогда не случилось с ней духовного прозрения. По-прежнему сопротивлялась привычно гордыня, всё происходящее казалось несправедливым. Но она уже подходила к месту прежнего бегства. Вновь вышла к ней та же монахиня и очень уверенно, с теплом неподдельным сказала:

— Ну, чего ты испугалась? Они же сущие дети. Просто больные дети. Вот погоди. Уедут у меня завтра люди. Я тебя к себе в келью возьму. И ничего...

Ночью она, конечно, не спала. И, конечно, плакала. А утром пришла в храм на исповедь и причастие. Её сразу узнал вчерашний священник, задал несколько вопросов. И вдруг именно на этой службе, когда он благословил её причащаться, она попала на так называемый «клиросный» второй этаж храма, где поют с высоты удивительно тонко и протяжно дивеевские монахини. Где сверху видна вся центральная соля, и служба ощущается совсем по-иному.

И говорит мне мать Серафима такие слова:

— Хотите верьте, а хотите нет, но никогда моё причастие не было таким желанным, таким выстраданным и таким чудесным по ощущению благодати и покоя, которые я в этот день обрела. Иду от запивки. А в дверях стоит монахиня и вдруг говорит мне такие слова:

— Щедро тебя Господь наградил нынче. Щедро! Помни об этом!

Что уж она узрела, кто знает? Но духовное состояние Татьяны в тот миг стало ей очевидным. Она попросила подать ей копеечку, а участница покачала головой. Но не потому, что денег не было. Были, да спрятаны далеко, по причине того, что однажды в поездке, прямо тут, в храме, был украден её

редикюльчик дорожный со всеми деньгами. Она вслух ничего не ответила монахине, а про себя словно вскрикнула:

— Есть у меня деньги, есть, матушка, но я достать их сейчас не могу!

И тогда монахиня кивнула головой:

— Иди, иди с Богом! А копеечка у тебя всегда будет!

В связи с «копеечкой» ещё один эпизод вспомнился матери Серафиме. Как однажды вытряхнул батюшка Серафим прямо на поклоне ему, у раки, все её спрятанные в надёжное женское место деньги. И то, как неловко ей было собирать их. И как кто-то из монахинь тоже сказал ей тогда:

— Это батюшка тебе наказ сделал — освободиться ото всего лишнего.

Так она и приняла это.

Много, много ей ещё предстояло пережить и испытать в Дивеево. Всего не расскажешь! Но удивляет и умиляет мать Серафиму особо именно тот случай. С Оптиной. Да с «убогим домом». Она говорит, что так сам батюшка, любимый чудотворец российский, начал учить её истинному послушанию будущему духовнику, отцу Сергию. Урок был крепок, но зато и плоды его сладки.

Её постриг был вместе с матерью Антонией и Макарией. Успенским постом. И когда она услышала наречение в новое имя, то нисколько не сомневалась, что без молитвы того же батюшки Серафима здесь не обошлось. Он за ней так и приглядывает, батюшка Серафим. Ведь учиться ещё и учиться истине монашества ей, идти и идти вперёд и вверх через самые трудные в мире человеческие тернии непослушания. И она согласна, что всё непросто, что личный путь её будет весьма долог. Но лишь бы батюшка Серафим не оставлял её. И всегда был рядом духовник, её отец Сергей. Так и будет!

МОНАХИНЯ ЕЛИЗАВЕТА

С ней я не говорила по причине абсолютного младенчества. А точнее — новорождённости. Сама она ещё ничего не могла сказать о монашестве. О ней, не теряя возможности и времени, я решила узнать от мамы и ближайшей подруги. Мы все приехали на её постриг, оказались в одной келье. И пришло решение расспросить о теперешней самой молодой монахине орского Иверского монастыря тех, кто отпустил её из мира.

Новопостриженная монахиня Елизавета была в трёхдневном затворе, который при таинстве проходила здесь в своё время каждая из сестёр. В это время с ними нельзя никому говорить, кроме игуменьи, благочинной и духовника. Идёт молитва, чтение канонов, серьёзнейшая подготовка к первому монашескому причастию на литургии.

А мы в это время сидели за столом в гостевой келье. И мама Надя вспоминала про свою любимую дочку Машу, а теперь уже Божью невесту Елизавету. А между тем для меня была это та самая Маша, с которой случилась встреча у меня Великим постом, когда отец Сергей поручил отвезти икону Богородицы «Умиление» в Дивеево, чудесным образом отразившуюся на стекле. Тогда я увидела её впервые в Самаре, в Иверском же монастыре, и очень захотела, чтобы она приехала в орский Иверский монастырь. Хотя бы в гости. Хотя бы на время. И решусь всё же сказать, что это родственное тепло, которое мы все, путешествующие тогда, к ней сразу почувствовали, не давало покоя, и я сквозь дорогу думала о ней. Эта девушка словно «просилась» в квадрат монастырских стен, где знакомой мне удивительной жизнью дышат и согревают своим дыханием всех, попадающих туда, дорогие моему сердцу сёстры. Где и мой духовник. Мой отец Сергей.

Но вернёмся к маме Наде. Это простая милая женщина,

которая после смерти мужа одна растила и воспитывала двух своих детей, сына и дочку. Младшей было всего три годочка, когда они остались без папы. Жили все тогда в одном из посёлков Самарской области под названием Куйбышевский. Про маленькую Машу говорит Надежда практически то же самое, что сказала бы любая мать. Но о своём первом ребёнке! Что она была совершенно необыкновенная! Но о втором ребёнке опытная мать уже вряд ли произнесёт подобное на людях, если к этому на самом деле нет оснований. Ведь первый восторг уже нашёл выход. И после вторых родов обычно матери более объективны. Тем более что перерыв между старшим и младшей был в десять лет. Но тут Надежда настойчиво не раз подчёркивала необычность своей маленькой дочки: она никогда не плакала. И ещё раз повторила на растяг:

— Ни-ко-гда!

Росла, мол, таким тихим и скромным ребёнком, что удивляла всех вокруг. Не капризничала, ничего не требовала плачем, в магазинах игрушек не выпрашивала. Ребёнок был таким, будто его по хлопотам и затратам сил вовсе не было.

Следующий этап её жизни я предупредила вопросом, на который у меня уже был ответ. Не удержалась, чтобы убедиться:

— В школе, небось, отличницей была?

— Да, — радостно воскликнула мама. — Училась всегда на одни пятёрки.

А дальше я не угадала. Маша была не хрестоматийной тихой отличницей, у которой любили списывать по её молчаливому согласию одноклассники задачки по математике или сочинения. Она слыла среди учителей и детей самым настоящим лидером. Да ещё и напористым бесстрашным бойцом за справедливость на уроках. В небольшом посёлке все друг друга знали: кто как живёт, у кого какой достаток, какие семьи. И Маша считала своим долгом опекать несправедливо ущемлённых учителями.

В девятом классе учительница русского языка подписала Маше открытку, которую мама хранит до сих пор. Там написано: «Про таких детей говорят, что их поцеловал ангел! Если ты пойдёшь дальше по этому пути, то он приведёт тебя к Истине и Любви. Дерзай, у тебя всё на свете из задуманного получится!» Так что необыкновенность Маши подтверждена открыткой и учителем-словесником. Потому сомневаться нет причины.

И только спустя много лет ученица узнала, что любимая учительница была глубоко верующим человеком, просто на тот момент о Боге не говорили. Когда же в деревне построили маленькую церквушку, она уволилась из школы и стала работать в храме.

Учась, Маша успевала и с удовольствием занималась всем: и рисовала, и танцевала, и вязала, и артисткой в кружке театральном выступала. Всегда опекала и жалела животных. Брат Юра, будучи старшим, считался в доме мужчиной. А Маша росла, как маленький цветочек. Одна проблема: зрение с детства падало. Постепенно, но ухудшалось и ухудшалось. И всё же она пробовала себя в разных видах творчества.

О вере в семье не говорили. Да и верующих в ней не было. Разве лишь бабушка по маминой линии. Елизавета... Она была единственной в семье молитвенницей, всегда ходившей в храм. Но и она пришла к вере уже в преклонном возрасте. С ней потому особо и не общались: не понимали родственники, конечно, бабушкиной странности. В век космоса стоять у икон и шептать чего-то? А Маша потому росла у другой «бабушки». Так звали в их доме жену троюродного дяди, Марию Петровну, у которой оценка с детства на поступки была вот такая: по-Божески или не по-Божески поступает человек. Это потому, что внутри была совесть. Так и Маша в пору детства и ранней юности своей рассуждать училась.

В институте, уже в Самаре, познакомилась с девочкой-осе-

тинкой. Её родители дали Маше нравственную закалку. Поставили на путь, с которого она могла бы сойти и в шестнадцать лет, но тогда ей этого просто не дали сделать. Хотя позже все-таки самостоятельная и очень интересная жизнь, отсутствие проблем и исполнение любых желаний дали о себе знать, и характер девушки с синдромом везения портился день ото дня. Она и сама открыто признавалась всем вокруг в жутком эгоизме, когда «есть два мнения: мое и неправильное!» Именно эта фраза произносилась ею с особым удовольствием как кредо, хотя претендовала на отношение к ней она будто как к шутке. Полюбились развлечения, зазвали в себя ночные клубы. Пригласили к себе рестораны. Не было недостатка в ухажёрах. Научилась красиво держать сигарету в пальцах, просто потому что модно, современно. Ей даже нравилось, что она, как и положено, «брала от жизни всё».

Следующий эпизод она рассказала мне сама, когда мы встретились с ней на пару часов в один из моих приездов. Мне хотелось услышать её речь, её ощущения прожитого, путь её превращения из девочки-мажора в молодую монахиню. Согласитесь, что «дистанция огромного размера», если не по времени, то по внутренним тектоническим движениям душевных пластов. Благодарна ей за откровение. Ведь это не простой рассказ о жизни «до». Это томление поиска, зовущее от суеты жизни к её сути. И разве такой путь может быть прост и безошибочен во всём? Результат как уже свершившийся факт — вот главное, для чего рассказаны в этой книге предыстории не только лишь монахини Елизаветы.

— Однажды с друзьями катались мы на мотоциклах и оказались всей весёлой компанией недалеко от источника в Ташле, — начала монахиня. — Я не знала совсем, не слышала и не сталкивалась с тем, что такое святой источник. Мне эмоций ради предложили окунуться. Помню, как опустила ногу на первую

ступень, сводящую к прозрачной воде и, едва дотронувшись до второй, непонятным образом, просто в следующий миг, оказалась уже в дверях. У входа. Нет, я не выбежала сама, не испугалась ледяной, будто жгучей, воды и вовсе не передумала окунаться. Я не знаю, как случившееся можно и назвать. Ведь получается, что в некую долю секунды была просто перемещена, перенесена сразу к выходу. И стало вдруг мне... стыдно. Показалось, что Божья Матерь не просто не дала мне зайти в воду, Она будто шлёпнула меня, настолько я была тогда ей противна. Шлепок отбросил. И тогда, наверное, был самый мой первый дерзновенный порыв краткой молитвы, первое осмысленное обращение к Царице Небесной, сказанное с верой, что Она меня сейчас, вот в этот самый миг, услышит. И я произнесла:

— Богородица, позволь мне окунуться, пожалуйста.

Позволила. А когда уже будучи в монастыре, прочла Маша житие удивительной святой Марии Египетской, которую церковь особо чтит Великим постом, то полюбила ее всем сердцем. И с тех пор всегда молилась ей как своему Ангелу Хранителю.

— И ведь именно в храме Марии Египетской я и жила три дня после пострига, — говорит мать Елизавета. И с грустью теперешней добавляет ещё одну фразу:

— Но всё быстро тогда стёрлось из памяти, закружило лёгким полётом, и жизнь свою пересматривать я не поспешила.

— Она жила взахлёб. Словно куда торопилась, — помнится, сказала в первую нашу встречу о ней мама.

В юридический это она Машу уговорила поступить, хотя та хотела в медицинский или в театральный. Но Маша не стала спорить, потому что ей было удивительно легко везде! Задумает что-то — так и будет, захочет исполнения какого-то желания — сбудется непременно! После института пригласили в аспирантуру — поступила. Отучилась два года и вдруг заявила маме:

— А ты знаешь, видимо, мне учёба дальше не пригодится.

И бросила это дело. Как принято теперь говорить, все были в шоке. Так учиться и в один день решить оставить? Что это с ней? А она и сама не могла объяснить, но точно знала — не пригодится.

Устроилась Маша на работу помощником адвоката. Всё было хорошо, её хвалили, начальник отправлял на все передовые курсы повышения квалификации, видел в ней растущую перспективу. Но она и тут знала, что не её и это место.

Удивительно, что Господь не скорбями показывал ей неверность выбранного пути. А Ангел Хранитель не уставал опекать на каждом шагу. Люди иногда спрашивали с трудно скрываемой завистью:

— У тебя что, волшебная палочка в кармане?

Палочка не палочка, а везло без перерыва. И вдруг опять зигзаг — бросает адвокатуру, устроившись старшим юристом в холдинг. Работать бы и радоваться. Нет ведь, опять не то. Ум всё устраивало, а сердце маялось, вновь просыпалась «охота к перемене мест». Она могла встать, например, однажды утром, особо и не разбирая с какой ноги, и произнести, что едет... в Москву.

— Какая Москва? — изумлялась мама. — У тебя квартира, у тебя работа, у тебя зарплата!

Ну и что? Взяла чемодан, купила билет... Но всегда, пробуя нечто новое в деятельности, она не была спокойна и довольна, повторяла в раздумье:

— Нет, и это не то.

Всего-то на пять зарплат на прежнем месте работы её и хватило. Мама пыталась было возразить, но понимала: уж кого-кого образумливать, но не Машу. Бесплезно потому что было.

Москва лично её вряд ли ожидала, когда она вышла с вокзала в пять часов вечера с чемоданом в руках. Идти было некуда.

Из родных или знакомых — никого. Но мытарства в её планы не входили: пришла ночевать в хостел. Там, как водится по заведённым порядкам, попросили оплатить жильё за неделю вперёд, но она уверенно заявила, что ей нужно переночевать здесь всего лишь пару ночей, а потом она найдёт работу и снимет квартиру. Обитатели «недорогого жилья» в Москве, а по сути своей рыбки-сардинки, плотно уложенные в малый габарит двухкомнатной квартиры с кроватями-ярусами, посчитали её наивной провинциалкой. Тридцать три женщины — соискательницы удачи томились здесь неделями, а то и месяцами. Но по поводу Маши сыронизировали они напрасно: ровно через два дня она вышла на работу и сняла квартиру, как и сказала. Будто Ангел Хранитель шествовал впереди и явно шефствовал над нею. Двухдневные знакомые тогда смекнули, что девушка эта — ходячий талисман.

— Дай об тебя хоть потереться, может, и нам поможет? — так и говорили.

Нет, её ангел явно не сидел, сложа крылья, на облаке, не болтал босыми ногами, скучая. Он ходил по земле и сам водил за руку Машу, опасаясь, видимо, всё ухудшающегося её зрения, опекал от лишних переживаний и напрасных ожиданий, продолжал по непонятной пока для читателя причине исполнять её желания. Хотя, если читатель ещё помнит название книги и именно этой главы в череде других, где меняется лишь второе слово, а первое остаётся неизменным, то уже может не гадать о том: почему это, собственно, так было.

Мистические события вообще подкарауливали её довольно часто. Главное за ними пока не открывалось, а лишь заставляло подолгу раздумывать: что бы это значило. Вот, например, однажды, когда она была дома у мамы, то позвала её в ванную комнату и показала на зеркало: на запотевшей серебряной поверхности было чётко написано, как будто пальцем, вот это:

«один год». Она смотрела на маму и удивлённо спрашивала:

— Что за ... «один год»? До чего это... «один год»?

А ждало её через этот год путешествие по Азии.

— Господи, да туда-то как её занесло? — со вполне оправданным удивлением может спросить любой.

А монахиня Елизавета ответила бы просто:

— И на этом этапе был, как всегда, толчок моего Ангела Хранителя. Так и «сказал» однажды зимним утром, пощекотав пёрышком с подкрылья: просыпайся, мы едем в Тайланд...

Маша даже возразила, будто сама себе:

— Какой Тайланд? Я даже языка не знаю! Зачем? Почему туда?

И не могла объяснить внезапного желания даже себе, не то что бедной мамочке. А ещё друзьям. Там, внутри, засобиралась душа на встречу с кем-то или чем-то неведомым и нужным ей позарез. И это «позарез» не расшифруешь тем, кто с ним не знаком.

— Вот так и было у меня на протяжении жизни! — говорит монахиня Елизавета. — Всегда моё сердце спорило с умом. Я давно заметила, что ум жутко боялся любой перемены и некомфортной для него ситуации. Он всегда трусил что-то менять, сопротивлялся. Приводил нужные доводы, строил для них философскую платформу. Удивляло лишь вот что: эта игра разума один в один совпадала с теми благими аргументами, что слышались от окружающих. Но, Слава Богу, что я выбирала всегда, на первый взгляд, «авантюрные и безответственные» предложения сердца. Даже не предложения, нет. Это были настоячивые, звучащие внутри требования. И у меня с детства почему-то было безоговорочное доверие к живому созданному миру и к жизни, бурлящей цветом, формой, разными существами, манящей географическими широтами, новизной ощущений. А вдруг среди них попадётся наконец то самое, моё?

Скорее, это было у неё неосознанное и не оформленное на уровне внутреннего диалога доверие к Самому Творцу. К Богу. Просто тогда она называла это иначе. И всегда говорила, что жизнь сама любит её и щедро балует. Эти любовь и забота ощущались и проявлялись всегда и везде. Оставалось только с радостью удивляться и идти вперёд, ведомой за руку.

В утро «тайландского зова» она поняла: едет! Причём надолго. Объяснение выглядело так: море, фрукты, лето, солнце. Всё это, вместе соединённое, означало будто бы рай. Может, именно это ей и нужно, в конце-то концов? На сборы отвела себе полгода: нужно было продумать, что брать с собой самого необходимого. Деньги собрать, чтобы передвигаться свободно. Всё, что зарабатывала, откладывала на райские кущи. И вот набралась сумма, которая могла позволить ей жить даже не в одной тёплой стране около года, ни в чём себе не отказывая. Но всё это в мечтах было. И не знала она, что именно райские условия и праздное времяпровождение не подарят ожидаемой радости. Там ей милее станут оставленные в Москве серые трудовые будни. Хотя первый месяц всё казалось прекрасным: домик у моря, те самые фрукты, и солнце, и море ласковое. Как соскучившийся щенок, само льнуло к ногам. Вокруг люди. Рядом — друзья. Состояние отдыха и беззаботности должно было накрыть с головой. Никаких причин для хандры или уныния. Блаженствуй!

Но не пришёл в душу даже обычный покой. И она заныла, захныкала, загрустила, начала вновь утверждать, что опять не там, и всё вокруг — это совсем не то. Может, не сидеть в определённом месте земного рая? Может, отправиться по странам и городам? Тем более что азиатские краски, запахи, растения и животные — просто потрясающи! Люди разительно иные, успевай смотреть во все глаза.

На одном из островков Тайланда с названием Самуи вез-

десущей Маше предложили практику ретрита. Это «мероприятие» в буддизме и индуизме означает то же самое, что по-русски назвали бы затвором, уходом в себя ото всего и всех. Для ухода от внешнего ко внутреннему построен специальный центр, и находится он прямо в джунглях. Для первой практики предлагается ровно неделю прожить в полном молчании и уединении. Никаких средств связи при себе! Никаких книг и радио, тем более — интернета. И даже никаких отвлекающих и привычных предметов. А ещё абсолютно никаких удобств: вместо кровати — деревянная коробка без одной боковой стенки, чтобы можно было сесть и спустить ноги. Деревянный кирпичик вместо подушки с выемкой для головы, тазик с холодной дождевой водой, небольшое количество еды два раза в день, в семь утра и в половине двенадцатого.

С собой из своего — лишь свои мысли. А в качестве приветливых любопытных соседей — тарантулы, змеи и непрерывно «поющие» цикады, мелодия песни которых сравнима только с днём и ночью работающей в метре от тебя дрелью. По незнанию некоторые «практиканты» спрашивали инструктора, когда же закончится стройка?

Для общения в сутки раз в течение одного часа шла лекция о самопознании. Вёл их буддийский монах, поляк по происхождению, в отринутом прошлом своём живший в Питере и женатый на русской женщине. Вот такие превратности судьбы бывают.

— Лекции были не просто интересные... Я открывала для себя другой мир, — честно признаётся мать Елизавета. — Не было ни слова о том, что буддизм — лучшая из религий и что мы должны все выйти после практики буддистами. Нет. Речь шла, скорее, о нравственности, вернее о необходимости ее восстановления, о человеке, о его «слепоте», о его незнании самого себя, эгоизме и заикленности на желаниях, о ненасытности их

и подвластности им чувств и эмоций, о непостоянстве всего, сострадании к людям, служении ближним. А ещё о любви и доброте. Учили, используя время, «познакомиться» с собой. Здесь никто и ничего от этого не отвлекают. Нужно лишь наблюдать, стараться концентрироваться, отгоняя любые мысли, не погружаясь в них. Учиться не принимать движения разума, а желать, чтобы они проходили мимо. Казалось бы, что может быть проще? Но ничего более сложного в своей жизни я до того не делала.

Уже после первого дня стало открываться, что мне тяжело вынести саму себя! Как же меня люди выносили? И я ещё требовала к себе любви при этом. И всё же несмотря на не очень, как оказалось, утешительное времяпрепровождение наедине с собой и своим эгоистичным умом, через семь дней я вышла из джунглей почти с полной уверенностью: вот оно! Нашла! Буддизм и ретрит — уж точно то самое «моё»!

До уединения мне казалось, что счастье связано с какими-то эмоциями и удовольствиями, с наслаждением чем-то, с внешними факторами. А там я впервые ощутила обычный покой, обычную тишину. И не где-нибудь — внутри... мыслей, чувств, эмоций. Ушли любые желания. Пришло осознание, что в этом покое я хочу остаться навсегда. Ведь уже на третий день я как будто родилась и заново открывала мир: часами разглядывала природу, джунгли, растения, букашечек, хотелось всё обнять и обцеловать. Ощущалось состояние тихого, абсолютно беспричинного счастья.

Ретриты проводились с первого по седьмое число каждого месяца, на второй ретрит я пришла волонтером, хотела хоть немного отблагодарить буддиста за свой «переворот», а с третьего уже была организатором и помогала в проведении инструкций. Интересно, но именно там меня впервые назвали монахиней. Только пока... буддистской.

И было ещё одно открытие-удивление там, на острове. Сердце осознало, какое счастье приносит служение другим! Когда ты забываешь о себе и своём потребительском отношении к миру, к людям и стараешься помочь хоть чем-то: словом, делом, улыбкой. И это тоже был мой первый опыт бескорыстного служения, на который я откликнулась, осознав себя счастливой.

Вернувшись в Москву, планировала даже пройти курсы сестёр милосердия или пойти в какую-нибудь онкологическую больницу, в хоспис, чтобы помогать хоть чем-то больным или персоналу. Это приносило бы удивительный мир душе.

И вот, казалось бы... Много доброго я почерпнула из буддизма, но буддистской монахиней не стала. И не захотела бы стать. Знаете, нет там, в буддизме, самого главного. Там нет... Христа. Нет Бога. И я продолжила поиски, ещё сама не зная, чего ищу, — так закончила очередную часть монолога православная монахиня.

Нельзя сказать, что Тайланд ей не понравился. Особо её приятно удивили люди. Ведь второе название этого королевства звучит как «Страна улыбок». И это не преувеличение. Там действительно все жители улыбаются друг другу и гостям. Улыбки на лицах видны всегда и везде, что говорит о внутренней гармонии с миром, с природой, друг с другом и прежде всего с собой.

Угрюмость и неулыбчивость лиц в наших российских городах всегда вызывали во мне вопрос. Состояние тревоги — это ведь внутренний фактор того, что отражает наша внешность. А вернее — лицо, глаза. Жаль, что при этом многие искренно считают: вот дай им побольше денег, материальные блага, и счастье вместе с благостным расположением духа свалится на них сверху. Увы, это весьма принципиальная ошибка, но в светской жизни нет таких учителей, которые исправили бы её или хотя бы даже указали, что с человеком не так. «Не так»

заключается в самой главной составляющей человека. В его душе, лишённой высшего начала — духа. Живущей лишь эмоциональной своей частью. Да ещё физической.

Тайландцы нашли свою степень гармонии в единении с живой материей природы. Научились жить, не требуя многого для радости. Это определённая духовная школа, которая могла бы подойти для начала многим, но не Маше. Её сердце очень быстро показало ей новый вектор поиска. Надо посмотреть, как живут люди, у которых есть не только лишь природа и самоограничение, дающее возможность ценить всё вокруг как благо на фоне тишины разума. А как живут те, у кого есть боги? Вот что стало целью движения дальше. И у неё появилась вторая любовь...

Ею стала Индия. Гималаи. Высота 4500 метров над уровнем моря, где даже без движений дышать тяжело полной грудью, потому что мала концентрация кислорода. И всё же стоило подняться, чтобыхватило дух от мощнейшей красоты творения, открывавшейся здесь. Когда небо — вот оно. Только ладони протяни. Звёзды по ночам — огромные и такие близкие...

Королевство Ладакх. Тибет... Да, здесь иная вера, иной менталитет, иное всё, до чего коснутся взгляд или душа. Но всё создано Богом, Творцом, подарено людям. И эти красота и мощь являют Его благое расположение к этому народу.

Маше было двадцать пять, и была она в Индии, когда встретила свою лучшую подругу Вику. Они сошлись сразу, будто были всегда знакомы. Не знающие их люди, считали девушек родными сёстрами. И ведь, в самом деле, какое-то сходство в них есть! Мне тоже было удивительно, когда мы говорили о Маше с Викой. И не во внешности эта близость, а в той светлой энергетике, в открытом отношении к людям, в готовности деятельного добра. Этим они схожи.

Вот когда сейчас сетуют на молодёжь, моё сердце не соглашается с тем, что современные юные люди апатичны, вялы,

избалованы вниманием залюбивших их до состояния малых и больших божков родителей. Нет, они такие разные именно в наше время. Сколько же среди них тех, кто как раз преодолевает инертность и расслабленность, подаренную сверхтехнологиями, к которым они приучаются с детства.

Как-то по началу этой зимы ехала я в московской электричке, примостившись на самом краю скамейки. Час пик. Людей много. Напротив сидел благообразный седовласый человек, показавшийся мне по каким-то признакам, параметры которых здесь называть ни к чему, ибо это профессиональное ощущение, коллегой. Своим братом, преподавателем. А в проходе, рядом с нами стояли два юноши классического современного вида: по одному динамику наушника висело на плечах, по другому — вставлено в лабиринт уха, в руках — мобильники, волосы модно выстрижены, асимметрия чёлки. И они взахлёб говорили о физике, о каких-то законах и уравнениях, доказывая что-то друг другу. Мы тепло встретились глазами с предполагаемым коллегой. И сразу поняли друг друга. Мужчина с сердечной улыбкой сказал мне доверительно и негромко, кивнув на ребят:

— Вот их костерит старшее племя, а зря! Как же я люблю таких вот молодых людей. Они славные. Трудные, но умные. И знаете, очень светлые. В них нет лукавства. Зато есть прямолинейность, которую многие принимают за хамство. А это не так. С ними нужно просто заинтересованно подружиться. И тогда — от общения испытываешь такое удовольствие. Я педагог. Я знаю.

Охотно подтверждаю:

— И я таких люблю. Это правда, они другие. Но очень интересные. Тоже говорю из опыта.

А юноши при этом говорили, ничего не слыша вокруг себя, потому что, если бы прислушались, поняли, что речь идёт о них, и притихли.

И ещё было приятное удивление у меня. И опять в электричке, везущей меня в Сергиев Посад, в лавру... По этому же поводу.

Вошли на одной из станций в вагон мальчишки класса шестого, сели галдящей стайкой по правую сторону вагона недалеко от меня. Их было пятеро. Быстро достали телефоны, стали показывать что-то друг другу, смеяться, переговариваться. Я чуть напряглась, подумалось, если честно: ой, а обойдётся ли без бранных слов? В вагоне очень мало людей, стесняться особо некого, и я им вряд ли помеха. Но ребята проехали со мной три станции и ни разу не вызвали сокрушения своим поведением. Четверо так и сидели на длинной скамейке и смотрели каждый в свой телефон или в телефон соседа. А напротив них, на отдельном сиденье, сначала молча смотрел в окно белоголовый молчаливый подросток. За двойным серым стеклом электрички мелькали сосны и ели, лёгкий снег припал к земле и лежал светло меж стволов. Светило солнце. Вдруг мальчишка тихонько запел, не обращая ни на друзей, ни на меня никакого внимания. Сам себе запел, от какого-то внутреннего светлого настроения. При этом по-прежнему смотрел на летящие столбы и деревья. Ребята напротив никак не отреагировали на пение, продолжали заниматься своими делами. А «светлячок» пел...

И так старательно, так глубоко интонационно. Очень сердечно. Всё вместе взятое выглядело так трогательно, что я заулыбалась, поглядывая на него. О чём бы, вы думали, он пел? Это была знакомая всем детская песня о крылатых качелях. Мне подумалось тогда, может быть, ребята — солисты какого-то детского хора и едут после репетиции? Может быть... Но теплота внутренняя после их ухода во мне оставалась долго.

Так что они очень разные сегодня, эти юные и молодые. Конечно, на фоне тех, кто стремится к лёгкой жизни, к развле-

чениям с приятным и обесмысленным времяпровождением, не сразу бывают заметны такие, кому непременно нужен смысл в деятельности, а ещё тяга к практическому познанию мира и людей. Кому необходима цель осознания себя, как сущности, явившейся в мир не для потребления материальных благ только, но и к поиску высших смыслов. И именно таких Бог призывает к Себе быстро. Очень быстро. Что случилось и с Машей.

Её подруга Вика говорила мне ещё в первую встречу, что уже там, в путешествии по Индии, заметила, как у Маши бывают минуты странной отрешённости, ухода в себя и молчаливого затишья. Глубокого раздумья над чем-то сокровенным. Она могла отойти от шумной компании в уединённое место, лишь только разговор приобретал чисто житейский пласт. Ей было будто не интересно совсем слушать общение сверстников о том, как здорово беззаботно получать удовольствие. Она намеренно избегала праздных рассуждений ни о чём. Просто вставала и открыто уходила, не испытывая никакой неловкости от того, что о ней скажут или подумают.

Вика иногда воспитывала подругу:

— Маша, понимаешь, так нельзя. Это просто неприлично. Ты ведёшь себя, как отшельник. Люди-то что подумают?

Но Машу это вовсе не напрягало, как сказал бы кто-нибудь из её сверстников.

— Ты так монахиней станешь. Ты ведёшь себя странно, — пыталась повлиять Вика. Тогда она говорила эти слова в шутку, просто чтобы достучаться до подруги, вывести её из состояния отрешённости.

Путешествовали они с Машей довольно долго, и ещё в Тайланде заметила Вика у Маши чётки. Буддийские, монашеские. Как и положено. Видела, что она уединяется, что молится. И вдруг с удивлением выяснила, что это уже не только восточные мантры, а ещё и хорошо известная многим... православная

молитва «Отче наш». Ничего себе... сопряжение несопрягаемого! Ох, уж эта Маша!

С Викой они считали себя людьми, широко шагающими по миру духовного развития. Йога, здоровый образ жизни, вегетарианство, медитации. Было всё, что модно у молодёжи. А в чудесной Индии Машу вновь очаровала не только природа, но и люди. Какой резкий контраст между жителями Европы и Азии! Европа выставляла напоказ все свои материальные блага, на каждом шагу предлагала самый изысканный комфорт, насыщение развитой инфраструктурой. Навязывала ощущение идеальной жизни. По своим меркам. Но ни в какое сравнение не шла с удивительной добротой и душевностью народов Азии, живущих в большинстве своём в условиях ужасающей бедности.

— Там я увидела настоящую бедность. Там научилась сострадания. Там появилась горячая мечта увезти хотя бы одного ребенка в Россию. Хоть как-то ему помочь, как мне казалось: накормить, одеть, обогреть. Там я училась терпению, особенно нужному в Индии, когда необходимо, например, проехать по узкой дорожке на скутере, а перед тобой спокойно, как в замедленном кино, вышагивает корова. Загораживая всю проезжую часть или решив прилечь отдохнуть прямо на проезжей части, создавая хаос и пробки. То и дело откуда-то могла выскочить стая обезьян, которая высматривает людей с целлофановыми пакетами в руках и буквально охотится на них, чтобы подбежать и начать вымогательство или открытое воровство. Ведь у них всё расписано по ролям! Одна товарка отвлекает, а вторая, сильно дернув, выхватывает весь пакет, в котором обязательно найдутся бананы или ананас с манго. Нет, Индия – удивительная страна. Страна-сказка! — вспоминает бывшая Маша. И добавляет:

— Я очень благодарна Богу за этот период моей жизни. Благодарна за каждый её период. Ведь я сейчас понимаю, что ка-

ждая прожитая минута, каждый час и день, каждое событие в итоге привели меня туда, где я сейчас. Ничего не было лишним.

Да, это правда. Наш Бог очень бережен и деликатен. Он никогда не действует даже с самым малым насилием. Очень ценит в нас главное Божественное качество, которым одарил нас: личную свободу. Зная о нас абсолютно всё, видя точку прихода в мир и точку ухода из него, Он никогда не будет действовать грубо, призывая к Себе. И только если мы совсем глухи и идём в явную погибель, прибегает к скорбям, отрезвляя нас, заставляя думать о бренности жизни временной. И монахиня Елизавета несколько раз за время наших встреч повторяла слова благодарности Богу за то, что Он вёл её к Себе не скорбями, а радостью постепенных открытий. Через всё, окружавшее на многочисленных этапах движения, к малой пространственной точке на карте огромного мира с коротким и звучным названием «Орск», где они окончательно встретятся. Бог был терпелив. Он не торопил её...

И вот уже тяга к уединению не давала Маше покоя. Она ещё и ещё ездила по местам, где были подобные ретриты. Ведь в индуизме это тоже распространено. Только называется иначе — випассана.

Продолжая путешествие, каждые несколько дней меняя города, девушка начала осознавать и видеть весьма чётко чью-то невидимую руку, проявляющую неусыпную заботу о ней. Ведь там, где она находилась в той или иной точке, не было планов. Всё «само собой» слагалось из «случайностей и совпадений». Словно её чудесный ангел писал за неё планы, а наутро диктовал, куда идти и что делать.

— А было и так, — говорит мать Елизавета, — просто открываешь карту, ткнешь пальцем и покупаешь билет в какой-нибудь городок. Но вот ведь диво! Там уже как будто ждут только тебя. Невидимой рукой отодвигаются тучи, приуго-

товляются все необходимые бытовые условия, все интересные встречи. И даже самый суровый атеист задумался бы об очевидности заботливого Высшего Разума.

Да, в обычной жизни мы проживаем с новым приходом утра тот самый «день сурка», о котором рассказывает одноимённый фильм. Сколько раз событие должно повториться, чтобы человек понял его неслучайность, а последствия его — закономерными? Если мы пытаемся проживать всё с позиции личного комфорта или своих лишь чувств, событие может бесконечно повторяться. Словно высшая сила просит попробовать прожить его по-иному. А когда мы везде пытаемся подложить себе соломки побольше да помягче, умно подстраховаться, — сколько удивительных событий Божьего промысла упускаем! Обедняя себя уроками роста души.

— Иногда отец Сергей в монастырской жизни говорит нам, сёстрам, с тёплой любовью: «Ну ты и дура...» Мне кажется, именно так со мной тогда говорил и мой чудесный в своём терпении ангел. Ведь я столько времени не понимала, что мне дальше делать, и он, видимо, решил не игнорировать современные средства связи, воспользовался мобильным телефоном. Он прислал мне сообщение. Было это так: вдруг беззвучно загорелся экран телефона, находившийся в поле зрения. Посмотрев, я прочла на экране странную надпись. Она гласила: «Пора читать Библию». Удивление было сильным, заставило несколько раз перечитать совет. Главное — не было адресата отправления, не было даже обычного звука сообщения. Просто загорелся молчаливо экран, и появилась надпись на нём. Не обратить внимания было нельзя, но просьба показалась случайной или заблудившейся в мобильных сетях. О ней скоро забылось. Но через несколько дней всё повторилось в точности и последовательности. В третий раз всё случилось при Вике. И я, глядя на неё, таинственно произнесла:

— Видишь, я же не сумасшедшая! Это уже в который раз! Чьё это может быть сообщение?

Но знаки являли себя с детства, и не «видеть» их было бы странным для неё. Маша зашла в интернет, открыла Евангелие. Прочитала первую лишь главу и поняла: тёмный лес, бесконечность странных имён и событий, никаких конкретных инструкций по саморазвитию. На этом чтение закончилось.

Вот в Индии жили чудесные гостеприимные люди! Они так искренно и по-детски верили в своих богов... И девушка-путешественница стала приходить в их храмы. И даже когда вернулась в Москву, первый храм её там был именно кришнаитский.

Если в буддизме вовсе нет идеи Бога-Творца, то здесь, в индуизме, их было множество. Божества делились на духов-демонов и духов добрых начал. Требовали еду, любили венки из цветов и ритуальные поклонения. Выглядело это красочно, ярко, радостно и впечатляюще... Здорово. Весело.

Но наступило время, когда Маша задалась, наконец, вопросом: интересно, а как у нас? В нашей религии? Уже стояли открытыми храмы. Туда ходили люди. А она так и не знала ещё, что вообще происходит под луковичными куполами? Кого чтут здесь?

В той большой поездке-путешествии однажды утром она вновь встала с уверенностью: ей нужно в Россию. И не просто так. Появилась мысль о том, что выйдет замуж. Или что-то в этом роде! Ощущалось волнение большой перемены.

— И вот я в Москве. Апрель. Суббота. Иду к Матронушке, не помню даже зачем. Скорее всего, подчиняясь мыслям о замужестве. Обычное потребительское желание: просить. Но почему именно в этот день пришло желание? Ведь выяснилось, что сегодня православная Пасха, и будет ночное богослужение.

Она решила посмотреть, что это такое... А следующие слова — это слова подруги Вики:

—И всё на этом. Её Господь сразу позвал. Прямо с той ночи. Я когда вернулась в Россию спустя всего лишь месяц после неё, Маша была уже вся в православии! Когда мы встретились, у неё сияли глаза. Взахлёб рассказывала, какое это чудо — Евангелие! Немедленно просила меня начать читать именно его. Всё остальное тут же забыть и оставить. Пыталась объяснить, что с ней происходит. А это был зов. Мощный Божий глас, который ворвался в её готовое к восприятию сердце. И сила слов, и мощь радости были такие, что я рванулась следом за ней...

А она в свою первую Пасхальную службу, если честно, вообще ничего даже не понимала, но это пасхальное ликование не воспринять не могла. Физически она обессилела. Еле выстояла службу. Но смотрела на людские счастливые лица, и очень хотелось ей полной сопричастности, единства именно со своим, русским народом. Как же так она жила? Не зная ни о чём своём, исконном, родном?

Когда причастники пошли к чаше, встала и она, думая, что это абсолютно для всех. Но кто-то остановил, спросил о подготовке и исповеди. Нет, ничего этого она не знала ещё... И всё же пасхальное ликование ворвалось внутрь, осветило собой так, что никаких иных желаний не осталось, кроме одного: она должна всё узнать! Чтобы больше не быть чужой. Чтобы стать сопричастной...

Интернет по-дружески рассказал ей о том, как правильно причащаться, и Маша зачастила в храм. Продолжая при этом усиленно просить Матронушку о хорошем муже. Молиться она ещё не умела. Но она уже была в храме! Это — главное!

— Как-то меня попросили помыть полы. И дали почему-то придел, куда пускают только монахинь. Там стояла большая икона Матери Божьей. Не знаю тоже, что произошло у меня внутри в этот день, но... я не помню, когда я испытывала ещё в прежней жизни подобный восторг! Мысль о том, что убираю

в приделе Божией Матери, была мне в тот миг радостнее, чем объявление, например, что я выбрана королевой красоты на престижном конкурсе. На мне и без того была «корона»: Мать Божья пустила меня помыть Свой придел! Сюда мирские люди даже не заходят! Видимо, счастье сияло на моём лице, потому что подошёл охранник и удивлённо спросил:

— Простите, девушка, а вы дома тоже с таким восторгом полы моете?

А у неё действительно от счастья выросли крылья, стала бегать ежедневно к концу службы, чтобы вымыть полы именно в том приделе. Она без объявления «права собственности» считала его своим. И чинно шагала туда с ведром и шваброй. И всё в ней без слов говорило: вот, мол, смотрите, куда иду.

— В третий или четвёртый раз моего прихода к Матроне, коротая время на уборке подсвечника, обратила внимание, что длинная и не понятная мне служба словно побыстрее проходит. И вдруг увидела женщину, которая на меня зачем-то пристально смотрела. На ней было странное одеяние: чёрное, похожее на монашеское, но куполообразная форма головного покрова и большое количество нашитых красных крестов и надписей были странными и смущали. Она сидела в сторонке, к ней тянулась длинная живая очередь. А она смотрела на меня. И во взгляде был призыв: подойди! И вот... почему-то прохожу мимо всех, хотя обычно так никогда не делала, приближаюсь к ней и чувствую, что уже... рыдаю. Взахлёб. Причины к этому не было ни одной. У меня всё, как всегда — прекрасно! А я плачу, как самый несчастный человек на свете.

— Почему ты плачешь? — спросила она.

— Не знаю, — говорю.

— У тебя что-то случилось?

— Ничего не случилось. Я вообще не понимаю, зачем я к вам подошла.

Она так тепло улыбнулась и вдруг произнесла негромко:

— Ты монахиней будешь.

Три последних слова были настолько нереальными, что я даже не удивилась, вытерла слёзы и снисходительно улыбнулась:

— Ну что вы такое говорите? Нет. Я замуж выйду.

А она опять:

— Услышь меня: монахиней будешь. Ты ещё сердца своего не видишь.

— И помню я потом, — добавляет ещё мать Елизавета — лишь следующее: сижу на полу, уткнувшись в колени этой «сумасшедшей» женщины и вновь рыдаю, а она гладит меня по голове и что-то негромко, но ласково говорит. Совершенно я её не знаю, она произносит абсолютно невероятные вещи, которые, как говорит мне мой разум, никогда не сбудутся. Просто не могут сбыться! А я всё сижу около неё, слушаю. И ощущаю такую любовь, исходящую ко мне. И то, что вот сейчас, вот здесь хочу остаться рядом с ней. Навсегда. Это было очень странное и сильное желание. И, кстати говоря, совсем недавно, всего два месяца назад, когда я ездила на очередную операцию, пошла в монастырь Покровский, захотела ещё раз её увидеть. Эту схимницу. Но её там не было. Знаете, что самое удивительное? Её не было там вообще никогда: ни сейчас, ни раньше. С фотографий всех сестёр Покровского монастыря на меня смотрели совсем иные лица матушек. Среди них — две схимонахини. Другие. Но... не она. Когда я спрашивала, на меня смотрели как на не со всеми дома в голове. И сказали, как отрезали:

— У нас схимницы не выходят никогда к мирянам, и тем более нет приезжих схимниц, которые бы вот так принимали народ в храме. Сестра, вы что-то путаете.

— Так и не знаю, кто она, — пожимает плечами моя собесед-

ница. — Но наша встреча была промыслом Божиим. А тогда, отойдя от неё, я прошла по храму и остановилась около иконы дивеевских святых. И вспомнила, что очень давно была в Дивеево, но вовсе не по причине паломничества, хотя в источник окунулась. И вдруг... так меня туда потянуло! Мысль пришла, и я будто вскрикнула:

— Батюшка Серафим! Вот кто мне подарит мужа!

В этот же день она купила билет на три дня поездки в Дивеево. Решила подготовиться основательно и узнала в интернете, кому ещё молятся о женихе. Оказалось, что можно молиться о том Ксении Петербургской. С тех пор взяла себе за правило каждый день (а было это вплоть до ухода в монастырь) вычитывать ежедневно три акафиста: Матроне, батюшке Серафиму и Ксеньюшке с конкретным требованием — дать мужа. И всегда добавляла к просьбе, что не абы какого! Ей — чтобы только самый что ни на есть лучший!

Приехав в Дивеево, на этом же автобусе попала на источник. Подошла к иконочке батюшки Серафима, который встречает всех у входа к купальням, взглянула в его синие лучистые глаза, на ручку благословляющую и вдруг чётко услышала озвученную своим же голосом, но странную для неё самой мысль:

— Не три дня, а 40 дней здесь будешь. Ты останешься на 40 дней. Каждый день будешь окунаться, ходить по канавке, трудиться на послушании, причащаться.

И она послушалась. Впервые трудилась на доставшемся ей тяжёлом послушании: на монастырском огороде. Но и просить настойчиво надо было не чего-нибудь, а судьбу будущую, потому решила, что тяжесть послушания — залог успеха.

Купила велосипед. Услышала, что между тремя и четырьмя часами утра Матерь Божья Сама идет по канавке. Стала просыпаться в три, шла на канавку, потом на велосипеде ехала до источника, хотя от монастыря до Цыгановки около 17

километров. Там окуналась, спешила назад, успевая на конец акафиста. Прикладывалась к мощам батюшки и — на огород... Вечером сил хватало только на рядом расположенные источники, но окуналась в три подряд сразу, по-прежнему читала акафисты, ещё главу из Евангелия и Апостола. И лишь потом самым счастливым человеком падала спать.

— Тоже удивительное ощущение, — вспоминает мать Елизавета, — когда ты просто дышать уже не можешь от усталости, засыпаешь ещё прежде, чем голова коснется подушки, спишь три-четыре часа всего лишь... На руки свои, ничего тяжелее сумочки лёгкой не носившие, просто страшно смотреть! Они были не просто чёрные. Это бы ничего. А вот треснувшие фаланги, грязь, вьёвшаяся настолько, что отмылась спустя только несколько недель после отъезда, это вообще будто не про меня с бывшим маникюром и холёными руками! На ноги наступить не могла, ходила на цыпочках, потому что ступни сплошь были в глубочайших незаживающих трещинах. Боль такая при каждом шаге, что еле терпишь. Шрамы и до сих пор остались. Ступни после каблуков да туфель модельных к резиновым калошам не привыкли, каждый бугорок и ком земли ощущали. Если бы кто увидел прежнюю Машу — глазам не поверил бы! Внешний вид был жутким.

Мама, увидев меня на вокзале, просто оторопела. В глазах мелькнуло подобье ужаса:

— А ты себя в зеркало видела? Боже мой! Мне за тебя стыдно!

А она ощущала себя самым счастливым человеком на свете в Дивеево. И не ходила, потому что было больно, а летала! Каждый вечер, любуясь своими руками и ногами, осознавала, что это самые лучшие её маникюр и педикюр, которые говорят, что этот день ею точно прожит не зря.

Но было всё-таки тяжело ездить каждое утро на источ-

ник за столько километров, а любовь к этому чудесному месту всё росла, и спустя два месяца она попросилась на послушание куда-нибудь к нему поближе. И ей предложили его мыть! Мыть купельки и убирать там.

— Помню момент: мою Батюшкину купель, — улыбается монахиня, — сама ничего не вижу. Всё слёзы застыт. Думаю о том, как батюшка допустил меня до своих купелек, грешную, так долго невесть где бродившую? Как разрешил мне их мыть? И разве может быть большее счастье? Иногда казалось, что моё сердце вот-вот разорвётся от этого чувства.

И вдруг однажды слышу детский голос:

— Папочка, как ужасно быть уборщицей, правда?

Вытирая счастливые слёзы, поворачиваюсь и вижу мужчину с девочкой, стоящих в двух метрах от меня с глазами, полными живого сострадания. Смотрящих именно так. И как бы безгласно вопрошающих у самих себя: какие же невыносимые жизненные обстоятельства привели эту рыдающую и полную горя молодую девушку сюда, где она вынуждена зарабатывать на жизнь в глуши обычным мытьём полов?

— Эх, — вздыхает мать Елизавета, — как же часто я сама вот так ошибалась, когда судила о ком-то или о чём-то, не догадываясь, насколько внешнее может не соответствовать внутреннему... А потом девочка добавила, видимо, гордясь собой и своим гарантом папой:

— А вот я буду певицей...

Ненадолго отправили Машу на скит, где старшей была монахиня Сергия. Там были коровы. В отличие от индийских, священных, эти бурёнки вызывали у трудницы иные чувства. Матушка говорила, что это коровы Самой Царицы Небесной, и поэтому «абы кто не будет их доить». Это нужно заслужить. Стоит ли говорить, что когда её допустили до навоза и дойки, она считала, что выиграла джек-пот?

Там она впервые прочитала свою первую духовную книгу «Моя жизнь со старцем Иосифом». Результат был ожидаемым: по уши влюбилась в Афон. Ничего не зная о чудесном монашеском острове, кроме того, что там жил удивительный человек — Иосиф Исихаст. И что отныне для неё самое самое чарующее сочетание букв — это «Афон».

Удивительно, но в самую первую встречу с будущим своим духовником, отцом Сергием, он подарил ей маленький мощевик с частичкой от мощей именно Иосифа Исихаста. И откуда... знал?

И всё же она тогда устала... Выложились полностью. Почудилось ей время собирания плодов. Теперь батюшка Серафим просто не может не исполнить её просьбы. Время дорого. Пора ехать назад, приводить себя в порядок. И ожидать встречи... с принцем.

Но, вернувшись в Москву, она стала часто ходить в храмы. Не просто часто. Каждый день: утром и вечером.

— Я не могла уже жить, как жила раньше. Но и в монастырь не хотела. Не думала об этом. Ходила к Матронушке. А как-то зашла в Сретенский монастырь, потому что жила рядом. Появилась там рано, почти в пять часов. А уже служили братский молебен. Из прихожан в такое время — никого. Но вот вся братия спустилась вниз, и я оказалась в центре монахов. Они вдруг запели «Се жених грядёт в полунощи...»

Я впервые слышала эту чудесную молитву о будущем приходе Господа в мир да ещё в исполнении хора Сретенского монастыря! Почти ночью. И тогда впервые подумала: была бы женщиной, не ушла б отсюда. Хотелось остаться, вот так славить Бога.

Подобное состояние невероятной силы испытала когда-то и я сама. Оказалась с отцом Сергием на пасхальной седмице в Оптиной, когда мы везли в Шамордино икону Николая Чудотворца. На праздничной литургии вся оптинская братия

в чине иеромонахов, а ещё приехавшие в гости в монастырь священники, облачённые в огненно-красные с золотом одежды, радостно пели пасхальные стихиры, почти летели по очереди от солеи к дверям храма, и, сияя глазами, лёгкие, одухотворённые, кричали с ликованием внутренним:

— Христос воскрес!

Помню, с какой отдачей, с каким счастливым осознанием и верой отвечал им многоголосый отклик прихожан:

— Воистину воскрес!

А где-то в стороне от храма лежали в братских могилах тела новомучеников оптинских: иеромонаха Василия, инока Трофима и инока Ферапонта, когда-то пронзённые кинжалом с символикой трёх шестёрок прямо под пасхальное утро злобной сатанинской силой. И руками одного бесноватого, получившего задание убить в Пасху трёх монахов.

А души их, думаю, стояли в строю с братией. И тоже ликовали, «чая воскресения мертвых».

Когда Маша читала знаменитую книгу «Несвятые святые» Тихона Шевкунова, то как будто узнавала нечто о себе и своих переживаниях. Настолько многое похоже было у теперешних монахов в их той жизни, в миру, с тем, что переживала и она. И чувства после первого прихода в монастырь. И даже о кровнике, куда впервые послали самого молодого ещё автора-послушника. А в сердце её поселились с того времени и отец Тихон, и отец Иоанн (Крестьянкин), и сам Сретенский монастырь. И многое было в ощущениях почти таким, как отозвалось в орском монастыре и полюбилось. Уже как своё, единственно необходимое для дальнейшей жизни.

— И дух отца Тихона и отца Сергия, мне кажется, схожи.

Она постоянно была на службах, но началось непонимание с мамой. Маша обманывала, что просто гуляет в это время, а она говорила:

— Не лги, ты опять ходила в храм. Не собралась ли ты уйти в монастырь?

— Да нет же! — говорила я и действительно ещё не хотела. А вот материнское сердце знало мою душу лучше. Через неделю, не встретив принца, я купила билет в Дивеево: усилить молитву. Но у Царицы Небесной были другие планы, Она хотела показать мне ещё один свой удел. Позвонили друзья и сказали, что они все едут в Грузию, большой компанией путешественников. Это были те, с кем мы дружили и «духовно развивались» в Азии. Теперь они ехали «покорять» Грузию и познакомиться там с православием. Вдруг обнаружилось, что стоимость билетов Москва-Батуми-Москва составляет в 4 раза меньшую сумму, чем обычно. Вот такая была акция. И только три дня! Как было не поехать?

И вот тут, в Грузии, она окончательно поняла, что очень изменилась. Невозвратно к тому, что было... Ещё полгода назад эти люди казались ей самыми близкими по духу, а сейчас, сейчас... они говорили на разных языках. Маша была реальной «белой вороной». Нашла храм Николая Чудотворца, спросила русскоговорящего священника, можно ли причаститься и исповедаться. И... Стоит ли называть имя священника? Ведь вновь некий отец Сергей ей несказанно помог с необходимыми ей в те дни исповедью и причастием.

Видя, что Маша избегает компании, некая девушка-одиночка, как её называли, пригласила поехать дальше лишь вдвоём по самым известным достопримечательностям Грузии. Без шумной суеты. Со вдумчивым осознанием. Маше было всё равно, разрешила повезти, куда та хочет.

А что такое достопримечательности Грузии? Это древние стены старинных храмов и монастырей среди гор. Всё было удивительно красиво, мощно. Но и тут не её...

Вот ведь! Сердце отозвалось на Грузию лишь после при-

хода в монастырь Орска. Спустя два года от поездки в страну Пиросмани, просматривая фильм о Грузии и художнике, она с удивлением осознавала задним числом, что была в тех же местах неизменным промыслом Божиим. И в том числе в монастыре Самтавро, где мощи святого монаха Гавриила (Ургебадзе). Истинно диво дивное! Многое, что окружает её теперь в Иверском (Иверском!) монастыре было в её жизни преддверием, неким намёком о скором будущем... Да не дано человеку о себе всё знать до вызревания срока. Ведь не ждут с молодой виноградной лозы быстрых спелых ягод.

После Грузии опять притянуло к себе Дивеево. Но мама начала применять тяжелую артиллерию. Узнала о тайных монастырских трудах дочери, строго сказала:

— Не буду больше давать ни копейки!

И слово держала. И впрямь не давала. Квартира, купленная для дочери в Самаре, сдавалась внаём. Деньги очень выручали в путешествиях. Может, без денег образуется её неугомонная девица? А Маше нипочём: ну и ладно, и так не пропаду! Ей и деньги-то особо не нужны были, потому как трудилась Маша в дивеевском скиту: коров доила, навоз убирала, с молоком управлялась не хуже заправской молочницы. Спать ложились поздно, пока дела не переделают да правило молитвенное не сотворят с сёстрами. А поднимались в четыре — снова дойка, уборка. Потом молитва и иная работа, которой всегда множество. Легко ли? Нелегко, а счастья и радости у Маши внутри поселилось столько, что она и открывать душу боялась — вдруг невзначай выпорхнет. Уже написано было и заявление с прошением о том, чтобы позволила игуменья Сергия (Сергия!) трудиться, сколько нужно в качестве кандидатки на постриг. А ведь его в Дивеево ждут порой от пяти до десяти лет. И она готова была ждать, сколько нужно было, столько и готова. Вот оно, её место! Об этом душа сказала. Именно в этот раз, как

только вдохнула она дивеевский густой воздух, пронизанный вдоль и поперёк колокольными звонами, запахом буйных цветов и благодатью присутствия там батюшки Серафима, которого любила уже безмерно.

А мама тут грозит финансовым кризисом в масштабах её неугомонной личности! Хочется ей для дочи счастья. Да чтоб непременно как у всех: квартира, муж, дети, достаток...

Но для того разве ангел топтал до времени земные дороги рядом с подопечной, не отказывал ей в желаниях: смотри, мол, Маша, что тебе обычный мир предлагает. А у меня для тебя иное припасено! По ночам сколько нашёптывал, чтобы мимо памяти все слова, а прямо в душу, да в самую её глубиночку! Видно, не мимо метился: всё в цель и попало!

Как-то легла спать и всё не могла уснуть. Ворочалась долго, а потом решила встать, включить свет и не маяться, заняться чем-нибудь. Поднялась с постели, подошла к двери, и что-то показалось ей по пути странным. Явно было вокруг не то. И освещение какое-то заметила непривычное предметов и комнаты. Оглянулась и... увидела, что по-прежнему лежит на диване.

— Но почему-то я не испугалась, а мгновенно подумала, что у меня мало времени, а между тем я сейчас могу оказаться где угодно, где только пожелаю... Вот с чего я это взяла тогда? Как будто каждый день со мной подобное было. Выскочила на улицу, оглянулась по сторонам, а потом посмотрела на небо и решила, что никуда не хочу так, как к Нему. И... полетела! Так высоко поднялась! И так красиво вокруг! Вот уже облака густеют, и у меня просто невероятное чувство счастья и предвкушения чего-то хорошего. И вдруг ощущаю: что-то зажато в моей руке. Разжимаю ладонь, а там — образок Богородицы с Младенцем, синий-синий такой. Прямо васильковый. Я такую иконку и до сих пор ещё не встречала, не видела. Облака вдруг резко начали плотнеть и темнеть, не пускали дальше, и

я понеслась назад. Но так не хотелось обратно! И я не помню, когда ещё испытывала такое разочарование и ужас, как от стремительного возврата на диван. Зажмурилась при заднем ходе и кричала только одно:

— Нет, нет, неееет...

Открыла глаза уже на своём месте. Рука по-прежнему зажата в кулак. Разжимаю медленно — пусто там, нет ничего. И удивило вдруг меня, что при возможности оказаться где угодно, я не полетела искать жениха или в страну какую диковинную и невиданную. А подумала только о Боге. Захотела к Богу. Странно было... Ведь я же замуж по-прежнему хочу и нисколько не меньше...

Утром пошла в храм, и у иконы Батюшки Серафима сказала:

— Батюшка, я не хочу в монастырь. Но если есть на это воля Божья, Он же все равно туда меня приведёт. Зачем тогда мне портить жизнь какому-то человеку? Дай мне того, кто увидит и откроет мне волю Божью. Обещаю, что выполню её.

Первое, что я увидела, придя домой — это сообщение об оптинском старце Илие (Ноздрине). Я даже не знала, кто такие старцы, и никогда о них не слышала. А тут прочла и поняла: разве не ответ на мою просьбу? И ещё прошептала:

— Батюшка Илий, где бы ты ни был, — я еду к тебе.

Но и ехать далеко не пришлось. Вот ведь вновь... Везение? Оказалось, что отец Илий живёт в Переделкино, что в 20 минутах езды от центра Москвы на электричке.

Конечно, она сразу отправилась туда. Приехала. Народу — тьма. Встречи со старцем ожидала сотня людей, не меньше. Решив, что нереально попасть к нему сегодня, даже очередь занимать не стала. Захотела сделать что-то доброе и пошла чистить картошку на кухню. Так бы и трудилась, да около четырёх часов вечера зашел охранник и спросил, будто сам удивляясь:

- Есть кто-нибудь тут на послушании?
- Да, — с не меньшим удивлением в ответ сказала Маша.
- Идём к старцу.

Это был первый и даже ещё не осознанный урок доверия Богу. Когда без досады и напряжения человек отпускает ситуацию и решает положиться на обстоятельства, за которыми всегда стоит Бог. И лучшее, что может быть — Ему не мешать. Он все устроит и сделает Сам.

В помещении, где принимал батюшка, было уже человек тридцать. Маша даже не сразу поняла, что и сам батюшка Илий сейчас здесь же. Настолько тихо он сидел на маленьком креслице в уголке, а к нему подходили по одному, садились на коленочки и шептали на ушко да сквозь седые локоны его прядей все свои несчастья и просьбы.

Она решила пропустить всех, но вовсе не из-за человеколюбия или смирения. Хотелось максимально продлить время, когда можно видеть батюшку. Его согбенную худенькую фигурку, сухонькие ручки, лежащие спокойно на коленочках. И то, как внимательно он слушает плачущих и скорбящих. Как утешает, говоря что-то негромко. Появилось странное желание: вот так провести всю жизнь. Именно здесь. Сидеть неподалёку и просто смотреть на него. На душе были какие-то прежде не ощутимые благость и счастье. Счастье созерцания святости. Тихое и беспричинное. Точнее это никак не выразить словами.

И вот он осталась одна... Больше ожидающих не было. А батюшка вдруг, будто не замечая её, встал со стульчика и, пройдя мимо, уже почти скрылся из виду в дверях соседней комнаты. Она очнулась от очарования сцены и кинулась к нему, окликнула, не опустила, а прямо грохнулась на колени. В руках — лист с большим списком вопросов.

— Но как я и потом всегда замечала, — радостно сообщает мать Елизавета, — Господь хранит Своего избранника от на-

ших глупых и ненужных вопросов... Я смотрела на него и не могла вспомнить ничего... Словно выключилась память. Абсолютно. Я только рыдала, как и в прошлый раз перед схимонахиней у Матронушки. И не знаю, сколько прошло времени. Казалось, много. Я рыдала, а он гладил по голове ласково и ничего не говорил. Потом я всё же вспомнила главное:

— Батюшка, мне уже 27 лет. Куда мне? Замуж или в монастырь?

И при этом думала про себя, конечно: «Не дай Бог скажет «монастырь»».

А он мне, просто так, ответил:

— Ты пока поищи. Poiщи...

И решила ведь я тогда, что «поищи» — это значит... мужа. Кого же ещё?

Дааа... Разве могла она тогда знать про ещё один важный духовный урок: не трактовать духовные ответы по-своему? Ведь вот даже очень точный ответ батюшки её ум всё равно пытался перестроить под то, как ему хотелось. Искал своеволия. И тогда она была уверена: всё, вот и старец благословил ей именно жениха!

— На следующий день меня просто невероятно к нему потянуло. Я придумала очередной глупый вопрос и вновь — в Переделкино. На этот раз было людей ещё больше. Все ожидали в битком набитой комнате, я стояла в дверях. Вдруг батюшка Илий поднялся со стульчика, прервав разговор, направился прямо ко мне... И молча обнял. А потом нежно поцеловал в голову. Заглянул в мои глаза двумя своими лучистыми солнцами, улыбнулся и ушёл на свой стульчик к ожидавшему его человеку. Вся очередь с изумлением смотрели на меня, будто я гость заморский, особенный. Но на лице моём была не радость. И не гордость распирала меня: мол, видели, что сделал старец? Нет. Там были растерянность и полнейшее разочарование. Все

мечты о замужестве вдруг рухнули. Сами собой. Стало ясно: замуж я не выйду. «Монастырь».

Вообще-то уныние — точно не её состояние. Быстро отбросила мысли о монастыре и вновь вернулась к своим мечтам. Прибавила «ручки и ножки» ко вчерашнему благословию «поищи», перетрактовала его по-своему и пребывала в полной уверенности, что вчера батюшка Илий её благословил несомненно на счастливый брак. И нарисовалась чудесная картинка: много детей на зелёной полянке с цветами у красивого дома с яблоневым садом. И непременно маленькая собачка. Непременно...

— А через несколько дней я мысленно ушла в монастырь. Был мне странный сон. И даже не сон. Ты как будто не спишь, видишь комнату свою, свет фонаря через окно, а пошевелиться не можешь, наверное, спишь всё же... И голос слышится. Нежный и красивый, ласково что-то объясняющий. Но разобрать ничего нельзя, потому что его заглушает и перебивает большое количество страшных, мерзких других голосов, визжащих прямо в ухо жуткие по силе амплитуды звуки. Тому чудесному голосу я пытаюсь кричать:

— Что? Я тебя не слышу!

И вскакиваю в холодном поту. Не знаю, что это было в ту ночь, но в голове вдруг только одна мысль, чёткая, ясная, твёрдая: почему я не в монастыре? И не было... Понимаете, не было никакого периода вдумчивого осознания, понимания, постепенного прихода к этому решению. Нет. До вчерашнего дня я хотела жить в миру обычной жизнью. Будто застило мне глаза. Или вовсе была слепа. А этой ночью кто-то просто включил яркий свет. Ни тени сомнения внутри, ни раздумий, ни метаний. Это было огромное, неуёмное желание монастыря. Знаю, уверена, что хочу быть только с Ним, с Богом. И только для Него отныне жить, ожидая встречи.

Еле дождала Маша до утра, собрала с собой одну сумку, остальные вещи раздала соседям. И поехала вновь к Илию за благословением, чтобы потом — сразу на поезд и в Дивеево.

В Переделкино она попала рано. Слишком рано. Вновь около пяти часов... Ещё темь стояла вокруг, густая, тихая. Она увидела священника, который тоже служил здесь, но Маша его не знала. Никогда не подходила к нему. Просто несколько раз видела на службе. Но в этот раз решила у него взять благословение на дорогу. Священник взглянул на неё и сразу сказал почему-то:

— Ого... В монастырь пойдёшь?

Она остолбенела! Никто не знал о её ночном решении. Более того, пять часов назад она и сама о нём не знала.

— Да, — ответила в состоянии полного шока, — хочу в Дивеево.

Как выяснилось потом, имя батюшки было отец Антоний. Он с улыбкой покачал головой:

— Нет, девонька, Дивеево не твой монастырь. Посмотри что-нибудь ещё.

Она тут же размыслила:

— Ну надо же! Как угадал про монастырь, и как ошибся с Дивеево...

Маша уже считала себя «дивеевской сироткой». Куда ещё, как не к батюшке Серафиму-то? Здесь её начало. Здесь и будет она.

Увидев смущение, отец Антоний будто спохватился:

— А ты чего меня слушаешь? Ты ведь, наверное, к старцу идешь? Вот и спроси у него, а что я-то? Кто я-то?

Конечно, кто бы сомневался! Она и пошла. Для того и приехала. И уже считала себя весьма послушной, если... благословение обещало совпасть с её планами. Как обычно у нас, ищущих старцев прозорливых непонятно зачем, и бывает.

А Батюшка Илий «не видел» её четыре дня, игнорировал,

проходил мимо, не смотрел в её сторону. Она и из толпы ему кричала, и подсказывала к нему, когда он подходил к храму. А он делал вид, что её вообще нет.

С утра до вечера она была на путях его следования, надеясь всё же получить благословение. Все Переделкино в лице охранников и рабочих пыталось ей помочь попасть к батюшке. Помощник старца подбежал к ней на четвёртый день и заговорчески приказал стоять у края лестницы, а он непременно и специально проведёт отца Илия рядом с ней. Сказал, что она им тут уже весьма надоела, и её надо срочно в монастырь отправлять, чтоб больше глаза не мозолила и на жалость не давила.

И вот она, заветная фраза. Всего-то в два слова:

— Бог благословит...

— А куда, батюшка?

Спрашивала, а сама ведь уже всё заранее решила сама.

— Куда хочешь, туда и иди, — отвечает батюшка.

— В Дивеево, батюшка, хочу.

— Значит, иди в Дивеево.

Вот и благословение будто есть. А только не ощущалось Маше радости. Что это со старцем? Как-то без участия он говорит с ней. Будто ждёт, чтоб ушла поскорей. Но ни назиданий, ни поучений. Ничего. Хотя бы напутствие! То целует и обнимает, то вот так...

Не знала она, что отец Илий никогда ни на чём не настаивает и не требует исполнения его слов. Он настолько деликатен... И прекрасно видел он, и знал, что девица пока далеко не послушная. Скорее, строптивая. Что всё сама решила. И пришла за благословением на своё решение. Вовсе не для того, чтобы узнать волю Божию. Так, увы, часто бывает... И несмотря на это, Господь все же открыл ей Свою волю заранее. Через того отца Антония (в миру, кстати, Сергей!) Да разве она приняла? А говорить не хотел с ней по двум причинам. Одна уже объяснена,

а вторая — недоверие к тому, кто попался девушке на пути за его, Илия, благословением.

— И ведь батюшка позволил мне ошибиться! Но эта ошибка сейчас воспринимается мною больше не как ошибка, а как необходимый мне опыт. И я безмерно благодарна Господу, что в моей жизни всё же были ДВА (не три) года Дивеевской обители!

Да, пусть вас не удивляет, что это были коровы, куры, навоз, переработка продуктов. Редко она звонила Вике, но всё время и неизменно слышалось из трубки одно восклицание:

— Я в раю, это моё!

Вспоминает, как она ждала, пока матушка разрешит ей доить коров. И когда это случилось, поделилась с Викой восторгом:

— Мне дали наконец коровок!

Вика тоже попыталась как-то ощутить Машин рай, приехала потрудиться, но тут их взгляды с подругой резко разошлись в оценке. А преуспевающий бывший юрист доила коров и радовалась этому, как потомственная доярка.

— Как зрение? — всё спрашивала у подруги по телефону Вика.

— Падает! Наверное, ослепну.

И на возмущённые возгласы из трубки ответила:

— Да и слава Богу! Грехов меньше нацепляю!

Думаю, что любому обычному человеку эти слова понять и страшно, и невозможно. Но у Маши они — не только от порыва. Всё ею серьёзно обдуманно: положиться на Бога. Доверять врачам и промыслу, в чём и есть стяжание истинного смирения, без которого никогда не бывать монаху.

Какое-то время они долго не виделись. Однажды Маша сказала тоже по телефону, что скоро сообщит подруге нечто важное. Вика даже подумала, уж не замуж ли собралась наконец подруга? И вот новый звонок:

— Я нашла жениха! Самого лучшего в мире! Как и хотела!

Самого замечательного на свете! Я буду... Христовой невестой. Буду монахиней.

Трудно было поверить в это. Но и не поверить нельзя. Таки-ми вещами не шутят. Теперь она сама вспоминает:

— Насколько они были трудными, те дни и месяцы, настоль-ко и благодатными! Счастью моему не было границ. Хотя меня и ругали там так, как никогда раньше. И в храме накидывалась одна женщина с необъяснимой ненавистью, чего это я бессты-жие глаза свои не опускаю, почему стою на её обычном месте! Быстро чтобы ушла! И на источнике мирная на вид дама с со-бачкой меня поносила на чём свет стоит! А собака её хрипом исходила, лаять уже на меня изнемогала.

Спросила у монахини своей. Она ответила, что обычное бесовское нападение так проявляется. Именно в необъяснимой злобе. В миру эта брань скрывается ими тщательней за эмоци-ями людскими, видна потому не всем, а вот на святых местах проявляется мощно, агрессивно, напористо, нагло.

Это тоже нужно было пройти и узнать. Нет, ей ничего не мешало влюбляться в монастырскую жизнь глубже и глубже. И только одно серьёзное недоумение: не брали в сёстры мона-стыря. Самый короткий срок пребывания в кандидатках — год.

— Я не сомневалась, что через год буду сестрой монастыря. Нет... Послушание было — тот же коровник. Из-за тяжести работы сестёр «одевают» там даже быстрее. Очень надеялась, что уж на Рождество меня зачислят. Но за несколько недель до праздника меня вдруг лягнула корова. Тут же — рецидив отслоения сетчатки, врачи, консилиум, отказ нижегородских врачей от проведения операции из-за её сложности и возмож-ной слепоты. Москва. Врач нашёлся там и обещал провести операцию.

Мне советовали молиться Луке Крымскому. Ведь у него было такое же заболевание. Молилась, просила его о помощи.

И мой врач, сын грузина и японки с экзотическим именем Касуми и отчеством Джаванович, а ещё с жутко длинной и неразборчивой грузинской фамилией, в которой собраны почти одни согласные буквы, заканчивающейся на знаменитое грузинское «вили», оказался в крещении тоже... Лукой.

Операция прошла успешно. После неё Маша жила на дивеевском подворье. Как-то к ней зашла сестра монастыря и пригласила съездить вместе в Троице-Сергиеву лавру. Давно ощущая на себе заботу Преподобного Сергия, согласилась, конечно. Но лавра в первый приезд не произвела на неё особого впечатления. Более разочарованная, чем окрылённая, подошла к мощам святого и попросила его помочь стать сестрой Дивеевского монастыря. И добавила:

— Отче Сергей, я знаю, что ты слышишь... Помоги мне ещё-больше уверовать, позволь мне встретить здесь отца Корни-лия. Это был монах лавры, часто бывающий в Дивеево, Маша видела его один раз у мощей Серафима, но сейчас вспомнила почему-то именно о нём.

Лавра в выходной день — это невероятное количество тури-стов! Особенно часто здесь бывают в последние годы гости из Китая. Они просто заполняют собой весь огромный лав-рский двор. Перемещаются, снимают всё вокруг, особенно наших детей, кормят голубей за воротами, сидят на скамейках, мельтешат в лавках, скупая сувениры. Но первым человеком, которого она встретила, спускаясь от мощей к выходу, был всё же отец Корнилий...

А ещё они попали в Марфо-Мариинскую обитель. Но опять сердце, как каменное. Ничего не чувствует. Единственное, что его растопило, — мантия батюшки Серафима, которая нахо-дится в обители. Но зато после её посещения она везде видела, «случайно» натыкалась, встречала, читала намеренно любую информацию о Елизавете Фёдоровне. Всё стало крутиться в её

мыслях о ней. Кругом попадались её изображения, и она любовалась кротким умным ликом святой, говорила с ней, думала о ней. Настолько часто, что порой вслух говорила:

— Почему я не Елизавета? Какое удивительное имя! Мне кажется, что при постриге должна я быть непременно Елизаветой. Перед возвращением назад, в обитель Серафимову, поехала за благословением на дорогу. К батюшке Илию.

— Какое Дивеево? Ты сейчас едешь к маме. В Самару. На реабилитацию после операции. Посещай службы в Самарском Иверском (Иверском!) монастыре, познакомься с игуменьей.

Мать Елизавета вот тут улыбается, говоря:

— Я от себя уж точно не ожидала такого... Стала перечить, говорить «нет» и просто рыдать. Как я буду без Дивеева? Без этого монастыря?

И тут я увидела батюшку очень строгим. Надеюсь, что в первый и в последний раз. Видно, на то были все основания. Он меня резко перебил и сказал жёстко:

— Ты сделаешь так, как я сказал. И будешь под покровом Иверской Божьей Матери.

Перекрестил и ушёл. А я знала уже, что отец Илий очень почитает именно Иверскую Божью Матерь. И чтобы к нему попасть, всегда, говорят, нужно читать ей акафист. А мне тогда показалось, что он меня в мир возвращает.

И вот я в Самаре... У меня здесь, просто рядом, замечательная семья. Чудесная и очень любящая мама. Безмерно любящая, самой настоящей слепой материнской любовью, которая недостатков не видит. И только всё самое хорошее.

У меня есть настоящий защитник и один мужчина в семье — мой брат, который был и остаётся опорой для своей жены и детей. И никогда не забывает о нас с мамой. Да, они все чудесные люди, я люблю их безмерно, но они ещё далеки от веры, от храма. Не воцерковлены. Как сказать им?

Приехав за самым трудным, родительским благословением, она, ничего не говоря одной маме, попросила съездить её вместе с ней в другой посёлок, где жил брат. Её любимый Юра. Поехали. Сели в доме за стол, и тут Маша твёрдым и спокойным голосом, не терпящим возражений, сказала следующее:

— Мне нужно ваше разрешение. Я решила пойти в монастырь.

Одной маме сказать это она всё же не решилась, опасаясь бурных слёз и причитаний. Отговаривать та бы и не взялась, ведала твёрдо, что уж если дочка чего надумала да решила, то как из некрасовских мужиков, из неё решения «не вышибешь». В доче характер был не только своевольный, но и твердыни весьма завидной!

Поэтому новость о монастыре для всех них была не просто ударом, а, как выразился брат, «ножом, которым пронзалось сердце».

Отправив Машу за благословением, батюшка предупреждал, что она должна выстоять, выдержать очень мощное испытание. Пройти сквозь мамины слёзы. Это только сначала она будет плакать, а потом великая радость придёт. Она и ожидала слёзы именно от мамы... А рыдал брат. Никогда она не видела его, так открыто проявляющим эмоции. Он всегда был сдержан, собран, ровен в чувствах. А тут... Чего только не было! Эта пытка со слезами, причитаниями и горем, как по покойнику, длилась много часов. Это до сих пор ей вспоминать непросто. Но сердце было сжато в твердыню: хоть убейте, но в мир возврата нет.

— Как же я благодарна семье, — с налётом светлых слёз произносит мать Елизавета. — За их мужество. За их терпение. И за настоящую, как оказалось, любовь. Не эгоистичную, а именно настоящую, жертвенную. Было ощущение, что я на своих похоронах... И всё же они меня отпустили. Не принимая сердцем моё решение, но видя решимость и непреклонность,

дали своё согласие. Когда попросила маму благословить меня иконой, она выбрала «Знамение».

С таким трудом мне далось их разрешение, и вот... Меня отправляют назад, в мир. И не кто-то, а старец, мой духовный отец.

Я приехала в Иверский монастырь в своей Самаре, познакомилась с игуменьей Иоанной, рассказала о себе. Она тепло встретила и разрешила жить в гостинице монастырской, сколько хочу. Мне выделили комнатку. Начался Великий пост. За два дня до этого почил Архимандрит Кирилл (Павлов), духовник Троице-Сергиевой Лавры. Стала читать ему Псалтирь и на каждой «славе» просила его отправить меня в «мой» монастырь.

Весь Великий пост, все многочасовые службы были посвящены только двум просьбам:

— Господи, верни меня в монастырь, любой, лишь бы монастырь.

Вторая просьба звучала так:

— Знаю, что мне ещё рано, но ты же видишь моё сердце, сделай исключение... Дай мне монашество.

Даже имени своего не хотела носить, такое желание было — полностью порвать с прошлым и жить только для Него. Постоянно придумывала себе какие-то самовольные подвиги: ела через день, спала мало, вычитывала за день Псалтирь или Евангелие.

Подарили календарь с житиями подвижников современных на каждый день. Так вот, прочитав о каждом, до тех пор просила подвижника молиться обо мне, чтобы вернуться в монастырь, пока не чувствовала явное успокоение и уверенность, что он меня услышал.

И тут мать Елизавета вдруг говорит, глядя мне прямо в глаза:

— Мне кажется, я несколько не заслужила постриг. Просто

замучила своими просьбами всех святых и Господа. День и ночь я повторяла одно и то же. Просила одно и то же.

Конечно, ни на какие подвиги я не брала благословения. Кто бы их мне позволил тогда? Но мне кажется, что Господа это всё умиляло. Какая-то детская пародия на подвиги святых! Но она была искренней. С горячим желанием. Хотя и самовольной. Приходит такой пример на ум, когда родители делают вид, что слушают и серьёзно относятся к лепету своих маленьких детей о том, что, мол, «когда я выласту, буду президентом!!!» Не меньше! А взрослые ещё и хвалят: молодец, конечно, будешь!

Так и Господь, видя мои попытки, улыбался наверняка и будто мне, дурочке, говорил:

— Ты ж Моя подвижница!

Молодость монахини Елизаветы не мешает ей говорить и мыслить глубоко. Слушая её, я видела, как тщательно она анализирует свои поступки. Горячее желание веры и стремление ко Христу у неё удивительные. Нужно просто видеть её сияющие счастливые глаза, чтобы понять: она действительно там, где счастье дано ей полной мерой. Она искренна с Богом, и потому все её перипетии, все поиски — это не избалованность переменой событий и мест. Поиск своего места, единственного и нужного, — вот сущность её души. Как радостно, что она его нашла. Многие порой тратят в этих поисках целую жизнь, так и не обретая, потому что в житейских перемещениях за лучшей долей или земным благополучием не найти душе покоя. А тот, кто счастлив без поиска высоты духа, не раскрыт в своём человеческом потенциале. В той мере, которую для него задумал Бог.

— Удивительно, — размышляет мать Елизавета. — Просто за желание какой-нибудь малой жертвы ради Него, Он награждает, как будто ты и впрямь провела в подвиге не одно десятилетие. Награждает добротой и любовью, которую ни мой

ум, ни моё сердце не могут вместить в себя. Когда я поняла, насколько люблю Его, мне захотелось доказывать Ему это своей жизнью. Хотя у меня была очень счастливая жизнь в миру. И я была уверена сначала, что монастырь и будет отчасти жертвой ради Него. Потому откажусь от мира. Но разве этим отдаётся долг? Нет и нет.

Оказалось, что Господь дарит мне в монастыре жизнь в сто раз счастливее, чем она была когда-то до него. И долг мой перед любовью Господа не только остаётся неоплаченным, он растёт в геометрической прогрессии. Но растёт и моё желание что-то сделать для Него. А Он и за это награждает... Получается, что моя отдача вновь несоизмерима с Его дарами. Знаете, от этой Божьей любви становится ещё более стыдно за свои не отданные на добрые дела силы. Ещё больше рождается желание трудиться во Славу Его!

Но вернёмся в Самару... В Иверский монастырь, где я сама впервые встретила эту горячую в порыве к вере девушку. Тогдашняя Маша заканчивала сорокадневное чтение семнадцатой кафизмы за отца Кирилла, которую обычно читают в поминовение усопших. Не забыли её молитвенную просьбу? Указать на «свой» монастырь. Ведь она понимала, что дивеевской сестрой ей уже не стать. А так хотелось... И вопрос всё время не оставлял её: почему так резко и внезапно подвело зрение? И даже показалось, будто ангел перестал помогать ей или не все её желания слышал? Или отлучался куда? И непонятно было ей: почему заупрямился-то?

Откуда было знать Маше, что Сам Господь, видимо, определил уже для неё иное место. Вот и отец Илий, как только услышал об Иверском монастыре, сразу всплеснул благословляющей рукой:

— Иверский... Твой монастырь Иверский.

Это было уж, когда промыслительными путями пересеклись

Великим постом наши сердца в Иверском самарском. И о чём было сказано в начале этой главы. Увидев её, не скрою, что с дороги позвонила отцу Сергию и сказала, что встретился нам по духу совершенно такой человек, который, как камень в оправу, просится в Иверский орский монастырь. А не куда-нибудь ещё... И вот теперь он, слава Богу, в этой оправе.

А тогда ей, живущей в гостинице, ровно на сороковой день ушедший из мира архимандрит Кирилл не замедлил с ответом.

— Только я закрыла книгу, открылась дверь гостиничной кельи и зашли сёстры из незнакомого мне монастыря города Орска да ещё с монахиней по имени Серафима! Мы сошлись так быстро, будто были всегда знакомы. Услышав об афонском уставе орского монастыря, я воскликнула:

— Это же мой любимый!!!

Хотя понятия не имела, что такое афонский устав! Просто ничего не может быть плохим с названием «Афон». Это же ясно! А дальше узнавались новые моменты: почитание монастырём преподобного батюшки Серафима... Имя матушки игуменьи... Ксения. Какие совпадения! Сердце готово было выпрыгнуть, но я начала сомневаться: а вдруг это просто эмоции? Вы тогда везли икону в Дивеево, утром я вышла вас провожать. И, приложившись к иконе, попросила:

— Матерь Божья, если мне нужно ехать в этот неведомый Орск, ты мне скажи об этом. И не успела закончить мысль, как водитель, отец Геннадий, видя меня первый раз в жизни, сказал радостно:

— Так тебе же в Орск надо!

— И вот... Вы все уехали, оставив мне книгу отца Сергия «Путь к Свету». Я прочла её за день. Не потому что быстро читаю, а потому что потеряла сон и чувство голода. Не могла оторваться. Каждое слово входило в сердце и отзывалось радостью, словно узнаванием. Я волновалась, как не волнуются

перед свиданием с тем самым женихом, о котором я упорно мечтала ещё недавно.

С батюшкой Илием мы встречались очень редко, потому что я почти сразу оказалась в монастыре, но в те редкие встречи он дал мне один ответ на заданный вопрос, который звучит хрестоматийно, но подходит ко множеству ситуаций: что делать, если... Или что делать, когда... Ответ был универсален: при любом вопросе или неурядице не думать, а молиться. И эти слова с тех пор всплывают в голове, когда ум пытается сам себе навязать проблему.

Вот и в этой книге батюшки я нашла подобную моей любимой фразе мысль, там сказано: «Когда ты молишься — всё, не волнуйся, за тебя уже решает Бог».

В Орск она приехала на неделю. Этого времени хватило, чтобы понять: это её монастырь. Но что скажет духовник? Отец Илий?

А он сказал вот что:

— Монахиня приехала...

И улыбнулся лучисто и ясно. Она успела только сказать, что была в гостях в орском монастыре. Он спросил: а где это? Услышал, что Урал, Оренбургская область. И вдруг воскликнул:

— Да, да! Это твой монастырь! Поезжай туда! И знай, что тебе скоро предложат постриг. Очень скоро. И ты должна согласиться.

Да уж... Скоро — это понятие растяжимое. В Дивееве постриг ждут до 15 лет, а она ещё даже не послушница. Но отец Илий духом видел, что через месяц, именно 15 июня, на Табынскую Божью Матерь, отец Сергей скажет заветные для неё слова о подготовке к постригу.

Во второй приезд, на Иверскую, вечером того же дня отец Сергей благословил написать прошение, и Маша стала послушницей монастыря.

Почти к концу нашего разговора она делится сокровенным:

— А ведь у меня был братик... Алеша. Он умер в четыре с половиной годика от рака... Ангелок. Это он нас вымаливает. И меня, мне кажется, он в монахини вымолил. Я и не появилась бы, останься он жив. Мама не родила бы третьего ребенка. Но, видимо, уж очень нужно род наш вымаливать, если Господь «забрал» у мамы двух детей, одного сразу к себе на небушко, а второму дал шанс и все условия для спасения себя и всех близких, за кого теперь молюсь.

А род наш нужно вымолить вот почему. Один из моих прадедов по папиной линии служил сторожем в поле, где сажали бахчи. Там же случился с ним страшный смертный грех, оставшийся без покаяния... Он стал насильником юной девушки, убил и закопал её тайно. Да ещё и остался безнаказанным даже с точки зрения закона. С тех пор в каждом следующем поколении по линии моего папы мужчины в зрелом возрасте заканчивали жизнь самоубийством. Причины при этом никакой видимой никто не находил. Это случалось внезапно в состоянии алкогольного опьянения. Так ушёл мой папа, и его брат, и их папа, и дед. И все в алкогольном опьянении. В трезвой своей жизни они все были абсолютно адекватными людьми, работягами, любившими свои семьи и детей. Особенно детей... Я так надеюсь, что мои молитвы и моё монашество хоть как-то повлияют на эти роковые несчастные события. Ведь есть мой любимый Юра. Он тоже мужчина. И пусть моя жизнь будет радостной жертвой, чтобы никогда ничего подобного больше не произошло в нашем роду. Очень люблю его. Он был просто моим вторым отцом. А как он дорожит своей семьёй, своими детьми. Я хочу, чтобы он жил. Жил долго. И чтобы Бог простил грех моего далёкого прадеда. И эти смерти прекратились, отошли.

Чудеса начались сразу после пострига Маши в монахиню

с именем Елизавета. Ангел уже перед постригом вновь начал слышать её желания и стараться выполнять их: она мечтала об имени Елизавета, в честь Елизаветы Фёдоровны Романовой, и она получила именно это имя. А его обычно до таинства наречения в монахиню никому не открывают. Она преобразилась из Марии в Елизавету прямо на праздник Преображения.

А дальше началось постепенное преобразование мамы Нади. Чего скрывать, она ведь о церкви и слышать не хотела, когда узнала о дочке и поездках в Дивеево. Считала, что церковь забрала её девочку. Не могла выносить ни клиросного пения, ни запаха ладана, плохо ощущала себя в церковном пространстве.

Теперь, всего лишь через два года, причащается с Божьей помощью каждый месяц. Сама. Приезжает в монастырь. Безмерно любит отца Сергия, хотя так же безмерно его стесняется. И даже как-то недавно сказала, что ей было бы очень страшно прожить целых три дня одной в храме, если бы она принимала постриг. То есть мысль о монашестве уже её пугает меньше, чем эти три дня после пострига.

Кто знает! Пути Господни, как известно, неисповедимы. Может быть, и будут когда-нибудь в одном монастыре вместе мать и дочка славить Бога и вымаливать весь свой многочисленный род. Поживём, увидим. То, что кажется невероятным для людей мирских, живущих своим разумом и желаниями, становится реальным для тех, кто решает свою жизнь с Богом.

Брат Юра с женой спустя тринадцать лет пребывания в гражданском браке повенчались в орском монастыре за две недели до Машиного пострига. Венчал их отец Сергей. Вся семья теперь приезжает сюда вместе с детьми, которых бывает весьма трудно отговорить от возвращения домой. До слёз, до просьб остаться ещё хоть на денёчек.

И Юра, всегда сдержанный и немногословный человек, после недолгого общения с батюшкой за чашкой чая сказал:

— Невероятно мудрый и светлый человек. Теперь я за тебя спокоен.

Они регулярно стали ездить в Дивеево, впервые причастились там всей семьей. А сноха Наташа даже вздохнула как-то:

— Ты живёшь в раю.

И на это самая молодая монахиня орского Иверского монастыря, в котором прекратило поиск пути её сердце, и наконец обрёл заслуженный покой редкий по заботливости ангел, кивает утвердительно с присущим ей жаром, сверкая счастьем в плохо видящих глазах.

ИГУМЕНЬЯ КСЕНИЯ

От Сургута до Орска 1440 километров. По прямой. От Москвы до Орска 1462 километра. Тоже по прямой. Всего на каких-то 22 километра и побольше. Тоже по прямой. Ясно, что эта разница в масштабах тысячекилометровых дорог практически ничтожна. Просто точка. Именно в этой точке с учётом километров от начала города до его конца — района Тракторных Прицепов — и ровно посередине от Сургута до Москвы теперь её дом.

Вряд ли ещё лет пять назад ей можно было бы сказать о том, что она окажется на границе Европы и Азии, в городке, известном лишь по причине рождения здесь на свет тезоименитого холодильника «Орск». Орск никогда и не приснился бы ей ни в одном сне, поскольку повидала она множество городов с более известными именами. Но путями Господними, которые, как известно, неисповедимы теперь это самый что ни на есть её город. А она в свои 42 года игуменья орского монастыря, что выстроен в честь иконы Иверской Божией Матери.

И она точно знает, что будет отвечать перед Богом за те-

перешних пятнадцать сестёр, за послушниц, за всех тех, кто приезжал и приезжает в этот молодой монастырь с разных концов страны, чтобы, побывав здесь однажды, оставить потом навсегда своё сердце. В этом месте, где плотность любви на каждый квадратный сантиметр так высока, что об этом говорится порой весьма странными выражениями.

В последнюю поездку, например, заговорила с одной из женщин, приехавшей сюда издалека. Но уже через несколько дней проживания в монастырских стенах написавшей прошение о прохождении послушания именно здесь, в орском Иверском. Знаете, что она сказала мне?

— Сёстры просто расплющили меня своей любовью. Именно так, а не иначе. Раскатали. И я поняла, что научиться любви я смогу именно здесь. Потому отсюда никуда больше не поеду. Я нашла своё место. Свой монастырь.

Хотя повидала раба божия Юлия к пятидесяти своим годам так много всяких красивейших и чудесных мест, что иному и не снились! Была успешным предпринимателем. Жила в солнечных Эссентуках! В большом обустроенном доме. Много и часто путешествовала. Близкие родственники всё звали её в Италию, когда поняли, что начала она искать чего-то им вовсе не понятного.

О монастыре Юлия узнала из фильма батюшки. Из «Литургии». Пересмотрела потом их все и вот... приехала, чтобы на третий уже день услышать сердце и решиться для себя на подвиг перемены жизни. Теперь она послушница. Высокая, статная, с тёмными вишнями-глазами.

Дай ей, Господи, чего искала её душа! Ты часто творишь чудеса превращений с людскими сердцами. Ты видишь их на перипетиях внутренних поисков и начинаешь звать. А услышавший Тебя и откликнувшийся да не пропадёт!

Как не пропадает и живёт в монастыре уже не один год моя

бывшая ученица православной гимназии. Послушница Катя. Большеокая, как лань, скромная и чудесная девушка. Молчаливая и улыбчивая. Заметный румянец щёк делает её похожей на ребёнка, вбежавшего с мороза в тепло. Глаза её почти всегда искрят внутренним озарением доброй мысли. Она отзывчива на поручения и нетороплива в движениях. Всё делает аккуратно и никуда не спешит. Маму её я часто вижу в монастырском храме. Она уже устала вздыхать и ждать возвращения дочки, пришедшей когда-то к сёстрам на временное проживание. Чёрные одежды Кати её уже не смущают. Смирятся.

Как смиряется постепенно и ещё один мой ученик этой же гимназии, сам уже отец своего семейства, с тем, что его мама, бабушка его маленькой дочки... приезжает к ним порой на несколько часов для помощи или «на побывку» и вновь убегает в свой монастырь на послушание. На её попечение множество дел, главное из которых — пекарня. И невысокая юркая Галина, вечно летящая бесшумно по коридорам монастыря, остановиться может лишь на одну минуточку, чтобы обнять и сказать буквально пару слов о себе или спросить меня о чём-то, когда я иду разыскивать саму матушку Ксению. О ней теперь мой рассказ...

Как-то я увидела документальный фильм об игуменье Аланского женского монастыря Нонне (Багаевой), которая до пострига своего жила обычной жизнью и работала на региональном телевидении во Владикавказе. Крестилась она ещё в студенчестве, а когда стала режиссёром, пришли к ней странные размышления: даже если делает она хорошие передачи, то всё равно манипулирует сознанием зрителей, когда вытаскивает из них те эмоции, которые ей нужны по задумке. Она очень любила свою творческую работу. Очень. Но однажды на исповеди всё же спросила у священника, а угодно ли это Богу? Может, сменить профессию? Если душа допускает сомнения?

Батюшка сказал, что вопрос этот судьбоносный и с ним лучше поехать к старцу.

Но разве сразу поедешь? Работа не пускала. Съёмки, проекты, передачи. И вспомнилось ей об этом только в тот момент, когда столкнулась с одним удивительным феноменом. Узнала, что огромные массы людей ездят за 1600 километров из Владикавказа и его окрестностей в Рыльск, что под Курском, в свято-Никольский монастырь, где подвизался тогда старец Ипполит (Халин).

Пока в тогдашней Наталье Багаевой проснулось лишь профессиональное любопытство. Взяла командировку, поехала в обитель. А там разруха, сплошные руины. Монастырь только начал возрождение. Одну ночь просидела на чьей-то кухне на стульчике. Даже лечь было негде. Но утром удалось увидеть старца и попросить об интервью. А он сказал с улыбкой в бороде, что говорить не умеет, а ей вдруг посоветовал:

— Матушка, а вы идите-ка покуда на лужок.

Она удивилась: что ещё за лужок? На дворе крещенские морозы! Оказалось, что «лужок» — место, где, работая физически, люди ощущали впервые целительную силу послушания и чистую радость благодати. А на следующий день, взглянув на неё бездонными синими глазами, старец сказал:

— А ты знаешь, что ты монахиня?

Она возразила, конечно. В порыве волевого характера своего возразила:

— Как же можно говорить такое, если мы видимся впервые в жизни? Что за странность? Зачем вы так?

А батюшка пальцем указательным на своём лбу изобразил крестик и радостно сообщил:

— У монахов он здесь. И... светится.

Её жизнь уже через год изменилась до неузнаваемости. Она стала монахиней. А потом — игуменьей. Из разрушенного дома

отдыха начала возводить монастырь. Во время войны Грузии с Осетией вывозила ребятишек из-под обстрелов на стареньком «Жигулёнке», кормила с сёстрами беженцев, перевязывала раненых.

Почему мне вдруг вспомнилось это сейчас? Наверное, нечто отдалённо похожее по «исходу из сферы искусства» произошло и в жизни матушки Ксении. Её прежняя жизнь была, казалось, тоже накрепко связана именно с ним, с режиссурой, с желанием приносить пользу. Высоким добром будоражить души. Но, похоже, на её лбу тоже светился крестик. И должен был лишь появиться в жизни человек, который увидел бы его и сказал ей об этом. А дальше Бог повёл бы Сам. Так и произошло.

Начало было далеко. В истоках жизни. В далёкой Фергане, где и родилась когда-то девочка Таня Пашкова. Родилась в обычной рабочей семье, вторым ребёнком после старшего брата. Семья была, конечно, не воцерковлённой, но Бог в ней присутствовал. И мама часто произносила фразу о том, что жить и поступать всегда нужно честно, по совести, чтобы Богу не было причин огорчаться. И хотя не было в доме икон, но сами слова о Боге и были теми невидимыми иконами, образами Христа, которого мама словно и призывала не расстраивать своим поведением.

В семье их по роду единственным верующим человеком мама потом, гораздо позже, вспомнила лишь свою бабушку Груню, Агриппину, простую деревенскую женщину, которая, как выяснилось, молилась по ночам за всех своих родных, стоя на коленочках перед выставленными на это время иконами. Когда ночная тишь слушала её молитвы. Когда все в доме спали. После она убирала образки, и их никто не видел. Может быть, она и вымолила свою правнучку в будущие монахини? Кто знает! Окрещённой в детстве маме Татьяны нельзя было уже носить на шее крестик в школу. За это ругали. А за хране-

ние дома икон можно было ещё и пострадать, но бабушка так и прожила, тайно молясь ночами обо всех, до своей тихой и праведной кончины.

С шести лет Татьяна стала сибирячкой. Молодые родители решили осваивать Сибирь. Первым отправился на разведку папа, а потом позвал всю семью. В Фергане у них была прекрасная по тем временам квартира, в коврах и хрустале, обставленная и благоустроенная. Но когда позвонил папа и сказал, что можно приезжать и что он всё устроил, мама, не раздумывая, двинулась к нему с детьми в дальние края.

И сама Таня помнит уже приезд в «новое» жильё, где кроме голых стен ничегошеньки не оказалось. Между стенами и окном — щели. С потолка свисала ошмётками стекловата. Нетрудно предположить, как бы могла отреагировать на положение вещей какая-нибудь иная женщина. Но было нечто природно мудрое в маме, в её отношении к трудностям, и она сумела тут же для своих детей превратить необустроенность в подобье сказки, игры, весёлого приключения.

Когда она увидела детскую реакцию, с радостью произнесла:

— Вот как замечательно! Вот как хорошо! Мы прямо сейчас и начнём наводить порядок! И делать уютным наш новый дом! Он будет чудесным! Вот увидите! А пока мы пойдём в лес, наломаем веток еловых и будем подметать... И всё мы сделаем сами.

В ней всегда первым порывом было желание подбодрить, утешить, а не выразить недовольство. И хотя не было у мамы какого-то образования, однако истинная женская мудрость выручала её всегда, помогала создавать в семье атмосферу доброго понимания и поддержки, если это было нужно. И вот теперь, пока ещё не пришла багажом мебель, и даже спать приходилось на решётках кровати, она своим юмором, смекалкой и доброй находчивостью могла скрашивать ожидание. И детям

было интересно выполнять её задания и поручения, которые она придумывала.

А потом мама учила детей любить лес. Он стоял вокруг их посёлка с буквенным названием ГПЗ, что означало газоперерабатывающий завод. С восхищением принимала сама и открывала им богатство сибирской природы: обилие грибов и ягод, вечную зелень хвои, белизну и щедрость снегов, густоту хвойного воздуха.

Ещё рядом текла рыбная река Обь с её притоками, выпадали выезды на рыбалку с папой и незабываемые белые ночи в июне месяце. Ведь Сургут находится на одной широте с Питером. А сама рыбалка! Это такая школа терпения и надежды! Созерцание красоты природы, умиротворение... Таня могла часами сидеть у воды в ожидании...

В этот период детства она была больше папиной дочкой. Тогда он научил её забивать гвозди, пилить, мастерить, рыбачить, целиться и стрелять из охотничьего ружья. Она часто ходила с ним зимой по сугробам на охоту. И когда в годы перестройки прилавки магазинов опустели, то они не бедствовали, имели пропитание. То, что добывали в лесу, на охоте и рыбалке. Потому Таня любила и могла сама строить из досок и веток шалаши, дома, города, собирать конструкторы с шурупами, болтиками, гаечками.

Был случай, когда в классе третьем ей стало больно сердцем за то, что в лесу скопилось много мусора. Она уговорила и организовала всех друзей разного возраста пойти и убрать в лесу то, что возможно. На это ушёл целый день, но после все были такие счастливые. Пекли картошку на костре, смеялись. Сердца радовались, будто от подарка, сделанного друг другу.

А какие в Сибири снега! Высокие, чистые, фантастические, неизмеримые. В них можно было рыть лабиринты, тоннели, пещеры. И снежным играм не было конца. Однажды в пещере

обвалился потолок, и снег рухнул на Таню прямо сверху белой лавиной, небольно, но всё же придавил своей тяжестью, и сразу наступила полная тишина. Удивительно, но страха у неё совсем не было. Душа не успела испугаться. Несколько минут девочка даже не пыталась выбраться. Сидела тихо и ощущала удивительно приятную изоляцию ото всего и всех. Она вообще любила уединение. Уходила в другую комнату, когда семья, скажем, садилась смотреть телевизор, и тихонько занималась чем-то одна или просто размышляла.

По вечерам мама читала своей дочке сказки. И чаще всего самую любимую, про Русалочку. Слушала Таня, и сердце её замирало от доброты юной девушки, которая готова была пожертвовать всем ради того, кого любило её сердце. Порой она засыпала в слезах, потому что, оставшись потом в темноте, думала про порыв сердца своей любимой героини. И её, Танино сердце, в ответ словно говорило тоже, что она хотела бы, очень хотела быть такой же, как славная маленькая Русалочка.

У них с мамой была одна любимая игра, в которой сама Таня решала её условия и исход. А мама принимала. Нужно было при этом помыть посуду или что-то ещё полезное по дому сделать, пока мама не видит. А потом она радостно спросит по возвращении:

— А кто же это сделал?

А Таня в ответ хитро:

— Карлсон прилетал, наверное, он и сделал!

— Да, точно, Карлсон, какой же он молодец!

— Меня веселило, — говорит матушка, что мы вместе делали вид, будто не знаем этого точно. А лишь догадываемся.

Так мама воспитывала и убеждала её, что скрывать свои добрые дела весьма хорошо. И это правильно.

Ещё одна особенность «маминой системы воспитания» была такой: им с подружками разрешалось в определённые

дни до возвращения папы с работы играть в доме в различные профессии. Условие такое: делайте в квартире что хотите, но к приходу папы всё должно быть на своих местах. Так, например, если девочки-подружки играли в магазин, то строили прилавки во всю комнату и выставляли на них практически все мелкие предметы квартиры. Но важно было запомнить, где что стояло, чтобы после игры вернуть обратно на место. Дети рисовали свою денежку и, поочередно меняясь ролями, играли часами.

А в другой день квартира превращалась в «школу», в классную аудиторию с партами, доской и мелом, с указкой и журналом. И в каждой игре мама помогала с реквизитом. Например, для игры в «больницу» она пошла и, поговорив с медсестрой из поселкового медпункта, принесла настоящие шприцы с иглами, ванночки для них, спирт и прочее, а папу убедила сделать для подруг двухярусную этажерку с двумя стеклянными полочками, чтобы было всё по-настоящему. А для самой Тани даже стук стеклянного пузырька о стеклянную поверхность полочки создавал атмосферу медпункта. И ощущение иной реальности, где она взрослая и многое умеет.

В подростковый период, как это бывает со многими, у брата начались конфликты с родителями. И вот однажды, в очередной раз, когда папа с мамой пытались его эмоционально вразумить, Олег не выдержал и заявил:

— Всё! Я из дома ухожу!

Мама показала папе знак, и они оба замолчали.

Брат стал демонстративно и спешно собираться.

— А мне стало страшно и всех жалко, — вспоминает матушка Ксения. — Он открыл шкаф с вещами, стал судорожно доставать и складывать комком в рюкзак свои вещи. Но от спешки получалось всё плохо и неуклюже, и я стала ему помогать собираться, отыскала шерстяные носки, свитер. Думаю,

зима ведь, за окном мороз в 40 градусов. Потому искала, что теплее. А потом решила, что нужно идти вместе с ним, не оставлять же его одного. Куда пойдём, даже не спрашивала. Взяла свой школьный ранец и тоже с серьёзным видом стала туда тёплые вещи брата запихивать... А родители продолжают молчать, занимаются каждый своим делом.

Через несколько минут, мы с Олежкой были собраны. Стоим у порога такие серьёзные, обмотанные шарфами до глаз, в папиных рабочих тулупах из овчинки, на головах большие заячьи шапки, мамой вручную сшитые. За плечами у нас ранцы, а в руках набитые пакеты с вещами. Брат зачем-то ещё гитару с собой прихватил. Стоим и топчемся, вроде, обдумываем, всё ли нужное взяли, ничего не забыли? Брат кричит в сторону комнаты родителей:

— Всё! Мы уходим из дома!

В ответ тишина. Брат валенки снял, снова надел и опять говорит:

— Мы уходим...

Тишина. Брат стоит, и я стою. От количества надетых разом тёплых вещей стало жарко. Но стоим. Терпим. Брат дверной замок открывает и ручкой громко нарочито стучит:

— Ну, мы всё... Уходим... Уходим навсегда.

А сам за дверь не выходит и будто опять что-то в пакетах проверяет перед уходом.

Тут из комнаты в коридор наконец-то вышли мама с папой. Увидели нас и стали улыбаться. Потом мама мягко так говорит:

— А может быть, в другой уж раз уйдёте?

Я молчу. Потом с трудом пытаюсь на Олежку снизу вверх посмотреть, но стянутый узлом шарф мешает шею повернуть. Брат задумался, потом на меня посмотрел тоже сверху вниз и серьёзно так, по-взрослому сказал:

— Да, лучше в другой раз пойдём.

И я серьёзно кивнула в знак согласия.

А потом мы все вместе сели за стол, ужинали, пили чай, о чём-то говорили, и, конечно, «другого раза» больше не было.

Мы с Олегом были друзья. Он даже любил брать меня с собой. Играть в хоккей. Ставил меня на ворота. И я была хорошим вратарём, правда, не потому, что хорошо умела играть, а потому что любила быть в одной компании с братом, любила быть ему нужной, помогать ему.

Впервые случилось это так. Никто из мальчишек не хотел просто стоять на воротах и мёрзнуть. Все хотели больше бегать на коньках по льду с клюшками, гонять шайбу. И когда стали думать, кого выбрать вратарём, то я и предложила себя. Они обрадовались, помню. Выдали мне спецобмундирование: подколеники, подлокотники, шлем с защитной решёткой. Одели меня так, что я увеличилась в размере раза в два. Сделали из меня танк непробиваемый. Клюшку дали. А потом брат наставил:

— Ты когда увидишь, что шайба летит в твою сторону, просто падай на лёд и собой закрывай всё пространство ворот, поняла?

— Поняла.

Так мне впервые выпало счастье быть с братом в одной игре.

Крестилась Татьяна лишь в девятнадцать лет, когда нужно было стать крёстной для родившегося сына её подруги. Было это в Сургуте, в храме Николая Чудотворца, которого в их семье почитали особо. Он был покровителем. И однажды подтвердил свою опеку случаем.

Возвращалась как-то мама осенью с работы и увидела на обочине дороги белую бумажечку. Прошла мимо, и вдруг внутри услышала голос:

— Негоже, чтобы лик святой в грязи валялся.

Мама удивилась, вернулась назад, подняла белый квадра-

тик, который при рассмотрении оказался иконкой Николая Чудотворца. Никаких духовных книг она не читала, да их и не было тогда! Но эти слова она помнит чётко такими, как и прозвучали. А иконка с тех пор многие годы хранилась в особом месте, на кухне. И мама как умела, своими словами говорила со святым, прося его заступления или помощи. Всё складывалось хорошо, и это неизменно приписывалось доброму благоволению святого.

Школу Таня закончила в другом посёлке, куда детей возили автобусом. В старших классах появилась её увлечённость туризмом. Учительница по математике любила походы и приобщила к этому учеников. Среди любителей жизни с рюкзаком оказалась и она. Походы дали ей много в плане взросления души. И главное умение — преодолевать себя, всякие трудности, закалку для воли. Все, кто ходил в поход, менялись на глазах в лучшую сторону, мудрели, мужали быстрее. А ещё походная жизнь всё время ставила в ситуацию выбора: либо ты жалеешь себя, либо жертвуешь чем-то ради ближнего. И тут вспоминалась Русалочка и возможность на деле уступить, отдать, пожертвовать хоть чем-то, будь это лишняя ложка жареной картошки или более тёплое место в палатке прохладными ночами.

Девочка-подросток тогда вела дневник, где анализировала всякие ситуации, участницей которых являлась сама. Как-то уже гораздо позже, когда Татьяна перестала быть школьницей, мама нашла её заветную тетрадку и была удивлена: дочка всё время считала себя виноватой, если не могла обратить ту или иную ситуацию к добру, укоряла или ругала именно себя. Но так формировалась душа, привыкая к особой ответственности за всё, вокруг происходящее.

В школьной ранней юности пережила Татьяна первую любовь, чистую и красивую. Тут и проснулось внутри желание высокого творчества, возможности выражать первые чувства

словами, которые можно было не держать в себе, а пропеть, превратить в стихи или песню. Она научилась играть на гитаре, и песни свои исполняла в походах у костра, на школьных вечерах и мероприятиях. Удивительно, что уже в самой первой её песне среди иных слов в последнем куплете появилось слово «Бог». Оно легло в текст словно само собой:

*И пусть мне говорят, что мы с тобой не пара.
И пусть кругом соблазн, я не сойду с пути.
Хочу, чтоб эта музыка красивая, печальная
Несла к тебе любовь, и Бог её храни.*

С этой песни и начался её путь в искусство. Она стала её визитной карточкой к певческой и режиссёрской карьере в недалёком будущем. Признаюсь, что я не утерпела и нашла эту песню в записи на радио. Тогда Татьяна жила уже в Москве, работала в православном театре «Живая вода», её приглашали на телевидение, самостоятельно она делала свои авторские проекты. Я смотрела на неё и понимала, что теперешняя её монашеская жизнь, этот зигзаг судьбы и полное перерождение из Тани-звезды в игуменью Ксению чем-то действительно похожа на то, о чём я писала выше о Наталье Багаевой, теперешней игуменьи Нонне. А значит и изумляться нечего. Особо тем, кто верит в благой промысел над человеком нашего Бога, который видит сердце, просит возможности войти туда и, войдя, творит с человеком истинные чудеса и превращения.

Рассказывая о себе, матушка Ксения говорит с удивлением:

— Не знаю почему, но тема самопожертвования и проявленного мужества была мне близка с детских лет. Сказка про Русалочку отзывалась, что ли? Она мне очень нравилась, умиляла до слёз. Просила, чтобы мама каждый день перед сном её повторяла.

В пятнадцать лет как-то сами собой сложились у неё две песни, которые шли рядом с ней довольно долго и благодаря им она побеждала на местных конкурсах авторов и исполнителей.

Одна песня была посвящена первой девичьей любви и называлась «Мелодия любви». Вторая с названием «17 лет» была написана на стихи неизвестного автора и повествовала о самопожертвовании молодой красивой девушки языческих времён. Чтобы спасти племя от засухи, она добровольно, за послушание своему отцу, вождю этого племени, пошла на костёр и стала жертвой обряда, после чего, конечно, «случилось чудо — дождь пошёл... обычай древний повторился, лишь вождь до-мой печальным шёл, ведь он же с дочерью простился».

На выпускной экзамен по вокалу в эстрадно-джазовом училище выбрала песню из репертуара Жанны Бичевской «Баллада о солдате». Позже, обучаясь актёрскому мастерству в университете культуры, выбрала для экзамена монолог Жанны Д'арк...

Потом была сольная программа «Дорога домой», в которой ключевыми стали древние духовные стихи и песня из прошлого репертуара «Баллада о солдате». Помните это начало? «...Как служил солдат службу ратную, службу трудную...»

Кто знает, но, может быть, в этом тоже проявлялся промысел Божий, приуготовлявший девушку Таню к служению в монашеском чине — воинстве Христовом?

А пока как-то одним звёздным вечером шли они вдвоём с юношей Володей по дорожке и говорили о том, что может ждать их впереди. Молодой человек рисовал чёткую картину будущего. И Татьяна вдруг ощутила, что где-то там, в этом вполне светлом отдалении от данной точки бытия, её ждёт какой-то обыденный предел. Такой, как у многих и многих вокруг. И почему-то стало ей от этого поначалу лишь грустно. А потом пришли напряжённые мысли: неужели это всё, что мо-

жет устроить человека? Его душу? Неужели нет этого манящего и таинственного «дальше», когда человек не останавливается, а двигается вперёд, становится выше самого себя, лучше? Поднимается над уютной житейской суетой, в которой не может быть для неё высокого смысла. Она ощутила это именно тогда, на вечерней прогулке, рядом с человеком, которого, как ей казалось, любила. Как же так? В какой-то миг взгляд её упал на одну из крыш окрестных домов, и Татьяна оторопела: на кровле во весь рост стоял монах в чёрных облачениях! Да, именно монах! Где бы она тогда в своей жизни встретила живого монаха? И всё же узнала сразу. Монах! Да ещё схимник в куколе! И она вскрикнула:

— Смотри, Володя, монах! Видишь?

Володя озирался, но не видел. К тому же, двигаясь вперёд, она и сама потом поняла, что так сошлись в некой визуальной точке, пойманной её взором, обычные заводские трубы, что виднелись за домами. Но монах встал перед ней именно в тот момент, когда она и помыслить не могла бы о своём будущем. Уже потом, гораздо позже, когда их пути с Володей разошлись насовсем, а она начала воцерковляться, то вспомнила именно этот момент, этого монаха в куколе. И что совсем не случайно, может быть, он явился ей тогда? Как некий знак. Как некое видение, лишь ей явленное.

Но этот взгляд случайный невольно отвлек её от семейной темы, которая с Володей впоследствии не сложилась. Он уехал учиться. А Таня заняла первое место в творческом песенном конкурсе в Сургуте именно с песней, посвящённой их первой любви, и ещё в нескольких конкурсах других городов и до времени определила свой дальнейший путь. Ей хотелось приносить радость людям, говорить о том, что делает человека лучше, чище, добрее. А вернее — петь.

У неё был талант, артистизм, был чудесный голос. Это всё

пришло как дар. Потом уже, после конкурса и побед, год отучилась она в музыкальном училище, чтобы познать музыкальные азы. А ту, первую свою песню, она напела себе сама, не зная даже нотной грамоты. Стала солисткой вокального ансамбля в Сургуте. Начались концерты, пришла первая известность. Когда-то в детстве она много слушала песен с пластинок. Родители любили простые лирические исполнения, и это ложилось на слух, синтезировалось внутри, находило теперь выход. Всё было для неё естественно и не вызывало трудностей.

А ещё раньше, в самом раннем детстве, в ней уже была тяга к «публичным выступлениям» со стула. Когда приходили гости, Таня забиралась повыше и могла очень долго «выступать». Это началось с четырёх лет. В гостях у тёти, чтобы занять чем-то ребёнка, ей дали стопку открыток. А она вдруг начала пропевать все открытки. Одну за другой. И так, пока не «перепела» голосовым сопровождением все до одной. Удивило взрослых, что на открытках было разное изображение: цветы, природа, новогодние сюжеты, и Танина музыка была разной, она не звучала одинаково.

Довольно в раннем детстве пришёл к ней первый опыт раздумий о смерти. Это когда умерла её маленькая двоюродная сестрёнка, а сама Таня вскоре заболела желтухой. На похоронах девочки она ощутила первую скорбь, которой было наполнено всё вокруг. Со страхом смотрела на маленький гробик и понимала своим детским умом, что в слове «смерть» таится нечто самое страшное, безнадёжное и ужасное.

С этих дней ей стали сниться первые кошмары. Она боялась, что может вдруг умереть кто-то из самых близких. Неужели может и... мама? И даже... она сама? Вот теперь, когда болеет? Плакала тайком. Маленькая душа сопротивлялась мысли о смерти, не принимала её. И в то же время она видела то, что видела...

Конечно, в детстве осознание смерти оставляет огромное впечатление. Чаще всего потому, что ребёнок никому не сообщает о подобных своих открытиях. К каждому из нас они приходят в своё время. К ней — слишком рано: не было ещё и четырёх лет. Но она помнит свои тогдашние острые чувства. Вот есть человек, и вдруг... как это? Нет...

А началось всё в Фергане. Матушка Ксения вдруг испытывает сомнение: нужно ли открывать то, что всплывает в ней сейчас из самых ранних и ярких воспоминаний? Но мне становится интересно именно это — область детских моментов осознания сложных явлений и понятий. Спектр осмысления мира не только в радужных своих проявлениях. И тогда она рассказывает:

— Во дворе, где мы жили, я, помню, ухаживала... за одуванчиком. Он был такой чудесный, жёлтенький. Я его поливала. Любовалась им. Я его любила. Но крупная, неуклюжая, как медвежонок, девочка из соседнего подъезда, которая почему-то недолюбливала меня, намеренно лишила моё сердце этой радости: она сорвала одуванчик. Думаю, что намеренно. И ко мне пришло маленькое горе. Будто я лишилась кого-то, кто был мне дорог и нужен. Помню, что я устроила похороны моего цветка: раскопала землю, а потом, соорудив холмик, сломала две тоненькие веточки, скрестила их и водрузила подобие крестика. Откуда это было во мне? Скорее неосознанно, интуитивно, но вот именно... так. С приданием для самой себя горькой значительности события, с чувством потери и неоправданной несправедливости. Ещё во мне всколыхнулось негодование: зачем она так? И я думала над этим тогда.

Мама, узнав историю мою, стала тоже возмущаться поступком обидчицы. Вот, мол, скажем Олеже, брату. Пусть он её отругает, как следует. И потом, когда я уже была совсем взрослой, она напомнила как-то, что я встала на защиту той

воинственной девицы, начала искать ей оправдания. Видимо, девочка была по-своему несчастна. С ней особо никто не играл. И это было похоже на её молчаливый протест — сделать и другому кому-то больно. Не захотелось её наказания почему-то. Простила.

Доброе отношение ко всему и всем было семейной традицией. Потому иначе и быть не могло. Воспитывали нас с братом не словами, а поступками. Мама была действительно мудрой, сама умела прощать и забывать неприятное, относиться ко всему светло, уступать там, где можно, чтобы не повредить души. Это была жизнь по Божеским заветам во многом, хотя о Боге вслух нам так и не говорили.

Местную звёздочку Сургута за год до окончания школы отправили в поездку по Франции. Тогда уже собранные талантливые дети по обмену ездили за границу. Тут к Тане пришли размышления, а что же дальше? Пока она просто поёт, получая радость от того, как её слушают и встречают, но нужно было выбирать путь, профессию. Серьёзно думать об этом. Может быть, теперешний уровень хобби должен перерасти во что-то перспективное?

После Франции они были какое-то время с подругой в Москве. Та хотела идти непременно в театральный вуз, и они отправились по разным известным «артистическим» местам. В Щукинском даже прошли на второй тур. Но всё же, бродя в поисках чего-то своего, Таня выбрела на музыкальное гнесинское училище эстрадно-джазового направления, что на Большой Ордынке. Узнала всё, что нужно было до поступления, и на следующий год приехала именно сюда. И всё получилось. Там выслушали её авторские песни и приняли.

Отучилась она четыре года. Много занималась самообразованием, начала играть на фортепьяно. Но в соседний с училищем храм Николая Чудотворца ни разу пока не зашла. Хотя

звон слышала ежедневно. Бродили они с подругой по улицам, фотографировали памятники культуры, ещё не восстановленные повсеместно храмы. Но лишь как памятники. Не более. Главным для неё пока была именно учёба. Хотелось много знать и читать. Казалось, что она, сургутянка из сибирской глубинки, так мало знает по сравнению с москвичами. И трудилась, трудилась... Ходила в театральную библиотеку, покупала книги по искусству, на концертах слушала классическую музыку.

Как-то попала в музей Рериха, увидела фотографии Блаватской. Далёкий, пока не распознанный зов иного плана начал притягивать к себе. Душа не могла не ощущать, что истинное, высокое вдохновение музыкантов, поэтов и художников рождается не в земных пределах. А где-то выше, в иных сферах бытия. Понимала, что вся наша классическая литература насквозь пропитана Богом, о котором в теперешней жизни практически ничего не говорится. И потому она готова была пойти по пути поиска невидимой, но раскрытой в рамках высокого искусства Сущности, называемой Богом. И не каждый ищущий тогда, как Татьяна, шёл сразу в храм. Хотя он стал всё же возникать в её жизни, пока как место, где можно поставить свечу, постоять в тишине, произнести некое подобие молитвы. Но за пределами храма интерес её держало по-прежнему лишь искусство. Она изучала жизнь Дали. Рассматривала картины. Пыталась понять их философский и мистический смысл. Когда душа сопротивлялась, приписывала это тому, что в ней ещё живёт провинциалка, с которой она и пыталась бороться. Просто до каких-то тайн она пока не доросла. И всё откроется позже, и она обязательно дойдёт до самого таинственного и нужного мозгами, умом.

Но однажды среди всего прочего попала ей книга Андрея Кураева «Сатанизм для интеллигенции». Книга содержала два тома, но она поняла всё уже из одного. И её увлечённость тай-

ными знаниями улетучилась сразу. А вместе с этим терзания по поводу непонятностей из области искусства. Она поняла и вычитала в книге главное: Бог не в сложности, Бог в чём-то очень простом. И написанное в книге со столь недвусмысленным названием остановило её поиск в прежнем направлении. Но и в храм она пришла ещё не тогда.

Московская жизнь требовала своего ритма, поисков себя, своего места. Но многие беспечные поступки в её тогдашней жизни не были принимаемы сердцем, были против души, совершались скорее по велению хаотичного движения, которое не прекращалось вокруг. Она продолжала искать интересных творческих людей, бывала в так называемых богемных сообществах, пыталась насытить душу разговорами о чём-то интеллектуальном, неординарном и отстранённом от обычных бытовых забот.

Родители звали назад, в Сургут. Её там помнили, предлагали записывать альбомы. Но в сердце уже проросли тонкие веточки гордыни, хотелось большего. Хотелось широкой успешности, карьеры, выхода на телевидение. Два года она познавала законы столицы для движения вперёд. Очень скоро стало понятно, что везде нужны деньги, высокие связи или уступки совести. Грань была опасная. Появилось желание тихого места, пришли мысли о семье, о детях. Она даже начала молиться именно об этом, заходя в храм. Но доверия Богу не было. Казалось, что внешняя жизнь, поиски личного счастья не соотносятся с высоким именем Христа.

— А в 2000 году состоялось моё знакомство с выдающимся человеком, — продолжает матушка, — профессором музыки, педагогом по вокалу Гертрудой Михайловной Трояновой, которая стала учить меня трезво оценивать Богом данный талант, развивать его и «летать» в пении.

С первых занятий мне каким-то образом удалось «услышать», как она сама выражалась, метод её обучения и почув-

ствовать долготу звука, на котором создается пение. По Трояновой «пение — это разговор на длинных гласных». Именно разговор, в котором на первом месте было содержание и смысл произведения, а форма должна была лишь помогать выразить глубину и суть. Это было близко душе.

Помню, как-то на одном из занятий с Трояновой впервые ощутила эту бесконечность звука, которую голос человека способен извлекать, на ровном дыхании, находясь в состоянии активного покоя. Всё моё внимание было только «на точке в гортани», где зарождается звук, и на самом звуке. Мой ум, словно замер и все мысли точно остановились. Было ощущение, словно я умом стою в столпе незримого белого света, идущего от земли до неба, и соприкасаюсь с Вечностью. Когда мне удавалось на такой долготе звука так петь, то есть «разговаривать», проживать смысл произведения, то от сердечного умиления вдруг слёзы сами собой начинали вытекать из глаз. Бывало, что и Гертруда Михайловна или те, кто присутствовал с нами на занятиях, тоже плакали... Порой совсем не могла от чувства чего-то великого, вошедшего в душу, петь, и мы прерывали занятие, чтобы проплакаться и помолчать. А пелось часто с благоговейным чувством благодарности кому-то неведомому, Создателю всего. Теперь понимаю, наверное, это были первые состояния молитвы, но тогда об этом я ещё не ведала.

Петь ей очень нравилось. Не мыслила уже себя без этого. Потому решила учиться дальше. Выбрала режиссёрское направление по организации концертов, творческих проектов и программ. Ведь придумывать, изобретать любила с детства. Нравилось на спектаклях видеть режиссёрские задумки, разгадывать аллегории. Захотелось попробовать делать что-то самой. И стать самой себе режиссёром. Как Алла Пугачёва. Планки-то были высокие. Напутствием были слова мамы, которая верила в неё и говорила:

— Ты родилась для высокой жизни.

А какая это жизнь? Мама точно определить не могла. Просто часто, с самого детства повторяла их дочке. И эта «высота» в разные периоды жизни воспринималась ею самой тоже по-разному.

И всё же, получается, что со временем она достигла своей «высоты»... Ведь был её сольный концерт-покаяние «Дорога домой» из песен исповедального характера. Он стал неким итогом всей её режиссерско-певческой карьеры и привёл уже действительно домой, в монастырь.

С последним этим концертом в марте 2013 она выступала в Сургуте, что было ровно через 20 лет после начала творческой карьеры, с победы на конкурсе и песни «Мелодия любви». Концерт стал данью благодарности детству, юности и всем людям, кто помогал «подниматься» ей все эти годы. И он ставил точку на прошлой её жизни. Ведь сразу после него Татьяна навсегда уехала в Орск, чтобы начать совсем «иную» жизнь.

Но это потом, позже. А сейчас она попала к педагогу, который создавал спектакли по форме интеллектуального кабаре начала XX-го века и стоял на фундаменте классического искусства. Входившие в моду шоу его не интересовали, и он учил свой курс делать любую работу с позиции прежних школ, тяготеющих к театру Станиславского. Попади она в другое место, как знать, куда бы завели её пути лёгкого эстрадного жанра? Но именно погружение в глубину, осознание творческих задач и сверхзадач, всё то, чему научил её всегда очень тактичный и вежливый в отношениях с людьми художественный руководитель курса Юрий Владимирович Непомнящий, именно это легло в основу истинного поиска Бога. Учась понимать задумку режиссёра, который стремится сказать нечто главное зрителю, размышляя над темами и идеями сценических произведений, она начала и сама думать и о своей «теме», о своей «идее» жизни. Кто она? Что хочет сказать? И кому сказать?

По окончании четвёртого курса на летние месяцы её пригласили в Государственный Центральный Концертный зал «Россия» помощником главного режиссёра. Была такая практика для особо примеченных в таланте. И началась большая подготовка к концерту, а вернее к творческой акции, посвящённой годовщине трагедии в Беслане. Она была для женщин, потерявших в этой трагедии своих детей. Концерт носил название «Беслан. Год спустя». Работа предстояла огромная и психологически не простая. Практически это был реквием. И она благодарна Богу и сейчас, что эта работа превратилась в её дипломную работу. Что были встречи с этими женщинами, по обычаю ровно год носящими чёрные одежды. Была эта самая школа. Сотни фотографий на стенах. Потрясающие истории любви и боли. А ещё истинного мужества маленьких людей. Татьяна общалась с людьми и понимала, что искусство может не только развлекать и обогащать интеллектуально, но оно может «говорить» о самом сокровенном, личном. Может помогать хоть чем-то, утешать, давать надежду. И они решили рассказать о мужестве, проявленном в этих бесчеловечных условиях.

На концерт были приглашены многие матери. И сверхзадачей было поставлено именно то, чтобы они после памятного действия сняли с себя траурные платки, а потом переменили чёрные одежды на прежние.

Концерт-реквием получился глубокий. Очень сильный. Матушка вспоминает, что приглашены на него были многие маститые певцы и актёры. И вышло как-то само собой, что пришли именно те, кто смог по задаче проекта сработать именно в том эмоциональном ключе, который был единственно необходимым. А были и те, кто прислал отказ, понимая, что выступать в этом зале было бы вовсе не просто.

Вышло и ещё нечто незапланированное... Так сложились обстоятельства, что дипломный проект она заканчивала уже

одна, без помощи главного режиссёра. Потому успех тогда был ей особо дорог. И она могла бы отказаться, но не отказалась. Доделала проект, заручившись поддержкой тех, кто хотел помочь. Радость была огромной: такая удача! Концерт шёл по телевидению. Её поздравляли, ведь она была ещё студенткой. Конечно, тщеславие имело место в её тогдашних ярких чувствах. На волне успеха предлагали и предлагали новые проекты. Их было семь! И означало всё это одно: её карьера сложится, как она и хотела.

Всё, что она переживала, очень скоро по какой-то невидимой причине перестало приносить ей глубокую чистую радость. Она и сама удивлялась. Любая следующая работа придавала ей значимости и статусности, но сердце отказывалось наслаждаться этими «плюсами» светской жизни. «Минусы» не давали покоя. Их в себе она вскрывала, не щадя самолюбия. Детская привычка «разбора полётов» трансформировалась из письменных отрывков в бесконечные разговоры с собой, когда она оставалась одна.

— Ну, и что дальше? — спрашивала она у себя. — Тебе уже за тридцать. Семьи так и нет. Нет детей. А время идёт, и мама всё с большим беспокойством поглядывает.

Работала она в том же ГЦКЗ «Россия» до тех пор, пока его совсем не закрыли, чтобы сломать: советская архитектура без особых претензий с её функциональной простотой уже не вписывалась в рамки обновляющей свой столичный лик на новый лад Москвы.

Но без работы её не оставляли, предлагали престижную. Квартиру она снимала в центре Москвы. Жила жизнью, о которой многие лишь вздыхали. Внешне всё было превосходно. Но кто бы знал, что именно тогда начались её невыносимые муки. И моменты полного тупика, о котором практически никто не знал. Душа ненасытимо просила чего-то, всё, что она бросала

в неё, сгорало, как в топке, и вновь становилось холодно и одиноко. Что-то было не так...

О её метаниях знала подруга, с которой они вместе учились когда-то. И стало постепенно выясняться, что та воцерковлена, что она бывает в храме на службах, исповедуется и причащается Святых Христовых Тайн. Начало её воцерковления уже имело приличный стаж. И вспомнила Таня, как зазывала, буквально затаскивала её когда-то подруга с собой. Но от этого ещё более росло внутри какое-то упрямое неприятие. Что может быть в этом долгом стоянии? В частых праздниках? В одних и тех же словах литургии, в которую нужно было вслушиваться, но не понимать больше половины?

Когда она в очередной раз плакалась подруге, та уже без нажима, грустно говорила:

— Тебе нужно в храм. На исповедь. На причастие.

Но она искренно не хотела стоять на этих службах пустой и безучастной. Ведь сердце молчало. И ещё не звало... Будто закрыто было. Она ходила на венчание у подруги, крестила её доченьку. Ум принимал обряды, всё казалось осмысленным и правильным. Но... и только. Она была рядом с храмом. Но не в храме. Читала молитвы. Но не молилась.

Как-то после её очередных слёз и риторических вопросов вслух, подруга пошла к своему духовнику и спросила: что делать? Батюшка подумал и вдруг изрёк:

— А повези-ка ты её в Дивеево. К батюшке Серафиму. Он чудотворец. А вдруг..?

Но дал один наказ: ничего Татьяне не рассказывать, никуда её не звать, не тащить. Говорить, если сама начнёт спрашивать. Очень коротко, минимум духовной информации. Вот такой был наказ. Так и порешили.

И они поехали... Подруга с семьёй и она. Как раз выдалась передышка в виде майских праздников, Татьяна согласилась

развеяться, сменить всё привычно окружавшее на неведомое. Ведь ездили же они когда-то по городам с экскурсиями. Почему бы нет? Просто развеяться.

И вот едут они дорогой, подруга почти всю дорогу молчит, а Таня спрашивает:

— Как место-то называется?

Подруга в ответ:

— Дивеево.

— А что там такого?

— Там батюшка Серафим. Саровский.

— А он кто?

— Святой.

И дальше разговор в иную плоскость уводился.

Разместились в гостиничном комплексе «Дивеевская слобода». Друзья решили отдохнуть. А она пошла побродить. Заглянула первым делом в лавочку иконную и, чтобы быть «в теме», купила небольшую книжечку с названием «Как провести святой день в Дивеево». Вокруг весна, воробьи чирикают. Вдали — куполов целая стайка разноцветных. Вблизи — скамеечка сесть приглашает. Села она, открыла брошюрку и... очнулась лишь тогда, когда книжечка эта последним листом махнула. Место для прозрения и открытия сердечной двери не такое уж подходящее, но именно здесь, на улице, в преддверье самого Дивеева на неё вдруг откуда-то обрушился невероятный внутренний свет. И радость такая, что в себе держать нет сил. Батюшка Серафим будто стоял рядом, смотрел на неё и улыбался. Она тут же, прямо на скамейке, будто взглянула на себя со стороны своими глазами. И... ужаснулась. Всё в ней с её душой не согласное, но принадлежавшее ей, показалось чуждым, странным, ненужным, незначительным, крошечным по сравнению с тем, что входило внутрь с весенним потоком воздуха, вдыхалось большими глотками вперемешку со слеза-

ми, текущими по не понятной ей причине. Внутри появилось, как облако, некое чувство дивной любви. Это кто-то говорил ей потоком слёз и ощущением счастливого недоумения, что её любят. Вот такую. Именно здесь и сейчас. Её просто купали в любви, и оттого ей было странно: даже такую? Как же теперь было жить? С этим светом? С этой любовью? Она была растеряна, но, взглянув на купола храмов, готова была бежать туда, что-то немедленно делать. Отвечать на любовь. Иначе, иначе она больше не сможет. Прежнее состояние уныния и какой-то круговой суеты, не нужной ей, убежало, спряталось, сжалось. Внутри ощутилась жажда, ненасытимое чем-то не знакомым ей до этого часа и подаренным щедро, без просьб здесь и сейчас. Она вдруг поняла, что есть настоящая жизнь, есть неподдельные чувства, лавина любви, всё покрывающая собой. Что церковь — это не обряды, не каноны. А что-то иное. И ей захотелось войти в храм. Именно теперь.

Она вошла в номер друзей с другим лицом. Подруга всё поняла, и подруга произнесла, глядя на неё со слезами:

— Мне надо на исповедь.

В её руках всё выдала собой маленькая книжечка. И всё же она произнесла вслух то, что теперь было таким сладостным:

— Я, кажется, что-то поняла...

И здесь, в Дивеево, была первая генеральная исповедь. Друзья ушли, оставив её наедине. Перебирая свою жизнь, она странным образом вспоминала давно забытые поступки из детства, потом из юности и дальше, дальше. Когда подала тетрадку священнику, сама стояла рядом и плакала. Батюшка с сокрушением сказал ей вдруг, не назидая, не стыдя её, что отныне она должна будет стараться не повторять исповеданного. И что он разрешает её от грехов. Но это было не всё. Она начала со слезами вопрошать, а что же ей делать теперь? Ей надо срочно поменять всё в своей жизни, начать служить Богу.

Рядом стояло распятие с телом Христа. Впервые взглянула она на него из себя, из своей благодарности освобождения, когда отошла от священника. И вдруг он сам вернулся к ней, оставив другого исповедника:

— Вы же связаны с искусством, с музыкой, так и делайте всё, что делали. Только уже не ради славы или карьеры, не ради людской похвалы, а только для Бога. Ради той светлой доброй жизни, которая реальна. Живите с Богом. У вас многое поменяется. А там будет видно...

Она готова была сразу рвануть на клирос. И спросила его об этом. Батюшка подумал немного, а потом спросил:

— А, может, театр? Подумайте.

Она была удивлена. Театр? Странно. Ей казалось, что всё должно поменяться немедленно. Сейчас же.

На источнике все её спутники окунулись в зеленоватые ледяные воды. Это было им не в диковинку. Таня побрызгала на себя пальчиками. Погружение показалось для неё невыносимым. Было страшно. Они набрали водички, стали возвращаться к машине, а прямо навстречу шёл батюшка-исповедник. Он обрадовался и стал восклицать:

— Как замечательно, Танечка! Окунулась! Как замечательно! Теперь уж точно новая жизнь начнется. С чистого листа.

Ей мгновенно стало стыдно. Она не окуналась. Значит, и новая жизнь её не начнётся? Она бросилась назад и, преодолевая страх, окунулась трижды, как и положено: во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Аминь!

Надо было возвращаться в Москву. А душа задерживала мгновения. Друзья пошутили:

— Может, нам сразу в Москву за вещами твоими?

Но ни о чём тогда монашеском она даже не подумала. Она просто знала теперь твёрдо, что на фоне теперешней её жизни есть совершенно иная, полная реальной любви, вкусить от ко-

торой ей в эти два дня позволил батюшка Серафим, который будто водил её сам за руку и по канавке, и кругом, кругом... И в этой новой жизни она хочет жить!

А мне самой вспомнилось вдруг, что именно в Дивеево впервые пришло в душу твёрдое уверение, что смерти как исчезновения... просто нет. Есть лишь довременная разлука. Будто кто-то сказал мне это вблизи могильных холмиков так убедительно, что сомневаться больше не приходило в голову. С тех самых пор... Может, батюшка Серафим и шепнул?

Когда она вернулась домой, ей иными показались даже привычные иконы. Они будто светились, и Татьяна, конечно же, прочла это как знак свыше. Немедленно хотелось бросить всё прежнее, начать с нового листа всё, абсолютно всё. И тут ей позвонил духовник подруги, давший перед поездкой странный совет. Она сказала, что вернулась совершенно иной, что теперь ей нет пути в прежнюю профессию, и немедленно она уедет в Дивеево, потому что вот такие ей знаки явлены: иконы светятся!

Батюшка несколькими весьма твёрдыми фразами опустил её на землю! Ишь ты, смотри-ка, уж и светятся! И этот эмоциональный порыв пригасил. Жёстко пресёк. И Слава Богу! Иначе духовной прелести она бы не избежала.

Мать Ксения вспоминает тут и произносит слова монастырского духовника, отца Сергия. Он не раз говорил и говорит сёстрам, что именно вот такой порыв бывает опасен в начале пути, потому что человек, ощутивший Божью любовь бросается вперёд, не имея ещё духовных ориентиров, чтобы просто бежать, только бежать вперёд. И именно тут его может подстеречь враг и подставить подножку, чтобы случилось падение и отбросило бегущего с пути.

— Вот и меня понесло, — говорит игуменья. — А священник тот запретил менять всё резко. Сказал тогда, что надо

по шажочку, потихонечку отступить от привычной жизни, помня, что есть иная. Для начала — чуть меньше макияжа, чуть скромнее одежда. И без скачков. Возьми себе правильце небольшое и начни молитву. Ходи в храм. Особенно в большие праздники. Исповедуйся, причащайся.

Стала каждый день утром и вечером совершать молитвенное правило преподобного батюшки Серафима, по праздникам с подругой ходила в храмы, исповедовалась и причащалась, но всё это было спонтанно и больше не по чувству чего-то жизненно необходимого, а для соблюдения правил Церкви. Некой сделки с Богом. Хотя понимала, что нужно исправляться, стараться не грешить больше, чтобы быть успешнее в жизни. Ведь тогда весь мой ум и сердце были заняты больше мыслями о карьере, хотелось найти свою нишу в эстрадно-театральном искусстве, как-то реализовать себя и в семейной жизни, возраст поджидает, а жениха всё нет... И в то же время хотелось просто мира и покоя для души. Хотелось ещё когда-нибудь пережить ту дивеевскую волну Любви. Но, ходя в храмы Москвы, ничего подобного не чувствовала. Так, как батюшка Серафим, никто не одаривал. Или сама не умела воспринимать?

Помнит мать Ксения своё сильнейшее впечатление от фильма «Остров» в том же 2006 году. Этот фильм — загадка своего времени. Ведь сюжет был маленький, родился из небольшого рассказа. И Павел Лунгин сам не предполагал снять то, что в итоге получилось. Смотрела я как-то с ним разговор в какой-то студии, где он, умница, честно сознался: он не снимал такое кино! Хотел будто бы о другом. Может быть, о том, как судьба дала возможность человеку понять, что когда-то он ошибся, думая, что убил из малодушия и трусости человека. Но фильм получился... о Боге. О сильнейшей степени смирения и покаяния, понятиях, совершенно порой не знакомых

рядовому зрителю, так и не переступившему порог храма, не имеющему даже интереса к вере своих предков и уж тем более — к монастырскому житию русских подвижников духа. Так бывает в искусстве. Слово некая высшая сила руководит творческим процессом, и в результате появляется подобный шедевр, взволновавший многих, подаривший многим первую глубину раздумий о самом человеке.

А Таня тогда ещё два года пыталась строить свою прежнюю жизнь, помня духовный наказ. Ощутила, как это непросто. Ведь на два шага вперёд было временами и по два таких же шага назад. Но духовный росточек, уже пробившись сквозь асфальтовую толщу бесплодных прежних поисков и прежних метаний, начал тянуть к Солнцу Правды свои первые зелёные листики. И эту жизнь уже было не затоптать.

После окончания Университета культуры ещё поработала какое-то время при Управлении культуры ЦАО города Москвы. Живя в центре города, ходила пешком на работу по старинным московским улочкам, милым и словно стесняющимся своей простоты. А ещё, конечно, был круг общения с важными, знаменитыми людьми, уже некое заслуженное уважение, почёт, и внешне выглядело, что в её жизни всё в порядке... Лишь душа не ощущала счастья. Глубокого, настоящего, о котором она пела или рассказывала в проектах. Пустота угнетала её.

В храмах она всё же стала чуть сосредоточеннее и, как могла, просила Бога исправить её саму и жизнь. Просила научить доверять Ему во всём. Но просьб было больше об устройстве бытовых, творческих дел, а ещё была молитва о том, чтобы оказаться в компании единомышленников, где можно жить одним порывом. Где, отдавая, будешь понятой, и в ответ ощутишь отдачу сердечным теплом.

Продолжая поиски, поехала в Оптину, где один монах дал совет :

— Каждое утро начинай с благодарения Бога, прямо говори именно эти слова: «Слава Богу за всё!»

И только он мне это сказал, через пару минут от неосторожного движения какого-то человека, на неё обильно пролилось всё масло из висячей лампадки у иконы оптинских старцев. А она, словно что-то поняв, радостно шептала, заучивая:

— Слава Богу за всё! Слава Богу за всё... Слава Богу!

— Был период, — добавляет матушка Ксения, решившись всё же сказать об этом, — когда, чтобы выживать в Москве, мне приходилось, быть самой себе и режиссёром, и организатором, и исполнителем. И вот, пока занимаюсь подготовкой своего выступления, столько, бывало, нагрешу и через поступки, и через слова, и через мысли, что остро чувствую: нехорошее делаю, а потом на сцену выхожу, дарю «свой талант», душевную любовь ближним и за это получаю аплодисменты, как некое одобрение. И, вроде бы, ладно, не такая уж я и плохая! И в оправдание себе вспоминались когда-то прочитанные и услышанные истории о великих людях искусства: мол, талантливому человеку многое прощительно, и вообще, чем человек гениальнее, тем сложнее и хуже характер и прочее...

Понимаете, что происходило? Грешу, грешу, а потом ещё за то, что мне не принадлежит — голос и способность петь — получаю награду.

Признанием оправдываю свои грехи: раздражительность, человекоугодничество и прочее... И, успокаивая свою совесть, копила много лет «житейскую грязь», наносимую тонкими слоями дней. И слава Богу, хотя бы в Дивеево на фоне Любви батюшки Серафима «увидела» истинное состояние души.

Работая от управления культуры, состояла в совете молодёжи при префекте ЦАО. И однажды при подготовке к одному патриотическому проекту получила сильнейшее впечатление от строк поэта Мельникова «Гражданину». Особенно от этих:

*Есть вера, Бог, Отечество и ты!
Лишь это русских делает народом!
Решишь, уйди бесовской суеты,
Пусть даже «струсил» скажут мимоходом.
Уйди! И сам неистово молись,
Чтоб Бог вернул и веру, и сплоченье.
Ни слёз, ни покаянья не стыдись
Во имя долгожданного спасенья...*

Душа отозвалась странной внутренней решимостью — уйти... Можно ли уйти ото всего, что считается профессией, престижем, статусом.

Вновь приехала в Дивеево. Уже одна. Взяла первые послушания. После исповеди и причастия вновь ощутила новый мощный и радостный прилив сил. Но желания остаться здесь почему-то не было. Да, её врачевал, ей нужен был дух батюшки Серафима, его поглощающая и покрывающая любовь. Она как бы утверждалась в вере, понимала, что движется верно, хотя не без падений. А зова рваться куда-то ещё не было. Оказывалась она и в других монастырях, где её неизменно накрывало ощущение вечности, останки времени, но на жизнь монахинь со стороны смотрела, даже не соотнося себя с возможностью быть среди них.

Интересно, когда она училась на режиссёрском отделении, её педагог как-то не очень поощрял её пение, хотя признавал, что поёт она хорошо, но больше старался направить на стезю новой профессии. Как-то к концу курса она неожиданно для самой себя выучила несколько духовных песнопений. Когда педагог услышал, как-то слишком внимательно взглянул на неё и вдруг сказал, что вот это, пожалуй, именно эти песнопения, с ней более всего органичны. Что это и есть «жанр» её

души. Тогда она удивилась. Потом, гораздо позже узнала, что Юрий Владимирович был верующим человеком, ходил в храм, причащался. Что его жена была актрисой того православного театра, в котором она оказалась чуть позже. Что у них венчаный брак. Но он ничего не афишировал.

На годовщину после его похорон, они, его ученики, актёры театра сидели в его квартире, вспоминали всё самое светлое и доброе. Татьяна спела несколько древних духовных стихов, а потом наедине сказала его супруге, что чувствует чужой себя этому миру и ей приходится приспосабливаться. Потому душа всё время сопротивляется этому ходу её жизни, не находит места. Она не знает, что с этим делать. И вдруг жена преподавателя вскрикнула:

— Так тебе же к Ларисе надо! В театр! В «Живую воду»!

В памяти Татьяны всплыла исповедь в Дивеево, слова священника о театре. Она как раз во второй раз только что вернулась из Дивеево. Может быть, это и будет её путь?

Сразу же, на следующий день, позвонила руководителю православного театра «Живая вода», потом попала на спектакль. И решила перейти сюда. С головой окунулась в «живую воду». А Лариса со временем стала её подругой и первой духовной матерью. Она по-настоящему и воцерковила Татьяну. Своей любовью, своей мудростью, своим примером. Первые уроки духовного послушания она тоже прошла с Ларисой и часто потом восклицала вслух, как благодарна Богу за эту их встречу. Впервые её душа стала «говорить», что здесь, в театре, она по-настоящему нужна и востребована. Работа доставляла ей истинную радость. Хотя у театра не было своего постоянного места, не было театрального зала, и приходилось играть на разных площадках: от школьных залов до студенческих аудиторий, на свободных каких-то площадках. Это не тяготило. С Ларисой её душе было уютно, как дома. Готовя спектакли,

она стала многое узнавать. Это были жития некоторых святых. Перемещаясь по дорогам, они вместе читали акафисты. И её сердце теперь принимало всё это искренно и жадно. Становились понятными первые духовные книги.

— Теперь я только ясно вижу, — тепло говорит игуменья, — что служение в театре «Живая вода» было для меня уже подготовкой к монашеству. Лариса Никулина стала моей «мамкой духовной». О ней самой можно писать отдельную книгу. Пять лет нашего близкого общения для меня стали периодом духовных открытий, встреч с интересными людьми, поездок по святым местам. Но самое главное, я познакомилась с живым, истинным православием, наполненным радостью о Христе Иисусе, окунулась в тёплое «до нежности» общение между людьми, которые искренне стараются познавать глубины нашей веры и служить Богу, ближним своими талантами.

Мудро и потихоньку Лариса помогала мне добровольно воцерковляться. Конечно, поначалу приходилось где-то себя принуждать и ради уважения, любви к ней делать то, что мне было не совсем понятно и близко. Например, читать с ней акафисты, молитвы, книги о судьбах праведных, святых людей и заучивать наизусть тропари для будущего спектакля... Но это всё было соединено в творческом процессе с простым и добрым общением и наверняка поэтому с каждым разом всё более и более проникало в меня. А я и сама с радостью стала искать этой «пищи для ума и души». Не помню даже как, но, видимо, тоже по совету Ларисы стала каждый день прочитывать по главе из Евангелия и по две из Апостола. И помню, что стремлением горела через театр служить Богу.

Когда начались репетиции в спектакле в качестве актрисы, впервые от Ларисы я услышала сочетание слов «отречение от своей воли», то есть то же послушание, сродни дивеевским. Теперь это было пережито на практике и очень сильно помогло в творчестве.

Знаете, а ведь правда, когда актёр просто слушается и слышит режиссёра, отсекает свою волю, сомнения, личное мнение, то подготовка роли идёт успешнее. И я решила быть по любви в послушании у Ларисы, как у руководителя, как у режиссёра. В результате через месяц в спектакле «День Ангела» впервые в жизни вышла на сцену в качестве актрисы, хотя актёрское мастерство не было моим призванием. Исполняла роль простой, сердечной и глубоко верующей бабушки Дарьюшки, которая многие годы в процессе проживания её жизни на сцене, воспитывала мою душу и была самой любимой героиней.

Была в её жизни и встреча в Оптиной с отцом Илием (Ноздриным).

Она даже говорила с ним лично. Спрашивала о своём служении Богу в православном театре. Возможно ли такое? А ещё спросила о возможности выйти замуж. На первый вопрос получила одобрительный ответ:

— Да, это хорошо... Трудись.

А на второй вопрос услышала:

— Ох-ох-ох, не получилось у тебя с замужеством, да? Ну ничего. Вот, мне уж сколько лет, а я всю жизнь один. И ничего, не жалею... Ты главное Бога люби...

Под Рождество искала какую-то информацию для театра и вдруг наткнулась на статью о судьбе игуменьи Георгии из Горнецкого монастыря в Иерусалиме. Эпизод из её жизни, когда она в 12 лет была в храме на Рождество, пронзил её тёплым откликом. Там матушка вспоминала, как сама однажды услышала проповедь, ставшую для неё решающей в своём определении и служении. Приведу эту цитату из статьи. «Священник говорит проповедь:

— Дорогие братья и сёстры, какой сегодня радостный, спасительный, торжественный праздник! Волхвы принесли Христу ладан. А что мы принесём Боженке? Я стою и думаю:

«Боженка, а что же я Тебе принесу? У меня ничего нет, кроме грехов! Возьми меня саму!»

— Помню, что прочитав это, я стала рыдать от умиления. Это было так созвучно и моему состоянию души, — говорит матушка Ксения.

— А ещё в просветительский центр при храме, где проходили репетиции театра, к нам порой заходила в гости инокиня Димитрия и рассказывала о себе:

— Я сирота. Воспитывалась в детдоме. Всю жизнь одна. Никого из родных у меня никогда не было. Утром, бывало, встану, посмотрю на иконы святых и говорю:

— Здравствуйте, родные мои... доброе вам утро! Слава Богу за всё!

Подумала тогда: «Это ж как она любит Бога, что и святые ей стали родными!» Опять сердце умилилось. Вот он, смотри, реальный пример жизни в Боге.

И таких встреч было много. Они по капельке питали и возвращали во мне живую веру.

В период своего начального воцерковления оказалась как-то на экскурсии в Третьяковке по залам древнерусской иконы. Экскурсию проводила верующая женщина. Это сразу стало ясно. Запомнила даже её фамилию — Флёрова. Она рассказывала о символичности икон, о том, что означают цвета, предметы на иконе, о каких событиях они рассказывают. Неожиданной для меня оказалась фраза о том, что икону нужно «слышать» больше, чем «видеть». Что ей нужно внимать... И что глагол «внимать» и означает как раз, что больше «слушать», чем «смотреть». И вот, остановившись перед иконой Богородицы, экскурсовод вдруг попросила нас минуту постоять в тишине и постараться «услышать» икону. А затем говорит:

— Представьте, что вы идёте по улице, а вам навстречу идёт женщина вот с таким выражением лица. Постарайтесь

«услышать» внутри своего сердца, что бы она вам сказала при встрече?

И все мы стали прислушиваться... А потом экскурсовод спросила:

— А теперь, кто захочет, скажите вслух то, что бы вы сказали Этой Женщине в ответ?

И почти все мы, человек десять, в один голос тихо произнесли:

— Прости нас.

Это был мой первый «живой разговор» с Богородицей.

А уже перед отъездом в Орск, разбирая бумаги, нашла старые открытки с пометками о том, что за меня задолго ещё до моего воцерковления подавались записки то в одном святом месте, то в другом... Сначала и не поняла, что это такое, а потом вспомнила, что свекровь моей московской подруги, бывало, на праздник подарит открытку... Вот ведь... Даже когда я сама ещё в храм не ходила, благодаря этой доброй женщине за меня уже молились чужие верующие люди, мои знакомые, друзья. И монахи в монастырях, где она бывала. Спаси её Бог!

Так Бог устроил, что, не получая в полной мере удовлетворения в реальной жизни, я спасалась думами о каком-то прекрасном мире из романтических книг, вдохновлялась мыслью о возможности «сделать мир лучше, добрее». Казалось, будто своей доброй, хорошей жизнью смогу повлиять на мир. Но и совершая какие-то хорошие, добрые дела, замечала, что продолжаю раздражаться, обижаться, завидовать, ревновать... Что теперешний мой внутренний мир не изменяется от хороших дел. Но почему? Иногда всё же от каких-то поступков рождалась иллюзия, будто обретаю покой в душе. Но она быстро таяла. И тогда пришла мысль, что исправить мир к лучшему можно, исправляя саму себя. Ведь я, как капля, ношу в себе всё море. И исправляя свой грех, я уменьшаю по капле грех всеоб-

щий. И его реально становится меньше в масштабах вселенной.

Когда уже воцерковилась, стала замечать, как это хорошо, что бывает время в сутках, когда можно просто сидеть в комнате и плакать, осознавая, что без Бога ничего и никого нет. И хотелось всё больше и больше таких минут, часов в сутках...

В какой-то момент пришло осознание, что, как и все, я больна грехом, что грех — это не только поступки, но и мысли. А ещё признание в себе закона, о котором сказал даже апостол Павел: «Бедный я человек! Чего не хочу дурного — делаю». Получается, что ум не подчиняется мне. Пусть я и не совершаю внешне плохих поступков, но грешу в уме. Мысли плохие сами приходят, сами уходят, и я словно не способна их даже контролировать. Но если грех — это как болезнь, значит, его можно лечить? И много ещё возникало подобных вопросов.

В 2011 году, переехав на другую квартиру, стала прихожанкой храма в честь святого великомученика Пантелеимона. Через год записалась там в двадцатку на чтение круговой Псалтири, которую так и читала вплоть до переезда в Орск. А в этом храме было много новых духовных переживаний и открытий. У иконы святого целителя просила уже больше исцеления духовного, а не прежнего благополучия житейского. Всё больше и больше было внутренней заботы о том, а чем я могу вылечить свой грех? Сначала думала, что просто своими хорошими, добрыми поступками смогу преобразить свою жизнь и себя. И лишь спустя много времени как откровение, пережитое мною через общение с отцом Сергием в делании Иисусовой молитвы по его наставлению, поняла, что грех вылечить нечем. Потому что от греха человек освобождается не благодаря чему-то, а благодаря Самому Богу, которого моя душа была способна познать и принять только через личностные отношения с Живой Личностью Бога — Иисуса Христа. Лишь наполненность души Иисусом Христом делает человека святым,

обоженным, свободным от греха. И мне захотелось стать... святым человеком. По крайней мере, стремиться к этому.

Слушая матушку, я радостно изумлялась тому, как бережно всё же Бог ведёт ищущих Его по особым путям. Разве это не проявление Его истинной любви? Любви с терпением, со знанием всех уголков души. С тем, как тщательно Он отбирает людей, встреченных на пути. Чтобы каждый дал благой опыт, а мы могли взять его. Любое сказанное слово — не случайно. Любое испытание — вовремя. Как жаль, что не дано видеть всё сразу. И только со временем начинаешь выстраивать из пазлов дней, лет и событий картину собственной жизни, в которой Бог бережно проводит по самым нужным путям, куда бы ни забредал по глупости!

Шли дни... Душа Татьяны начала поиск того, кто мог бы по-настоящему стать её духовным руководителем. Духовным отцом. Стали появляться серьёзные вопросы. Лариса от глубокого богословия отклонялась. Священник, к которому она ходила на исповедь, не казался ей тем, кого искала душа. Найдя молитву об обретении духовного отца, она мысленно пыталась вставить туда имя этого батюшки и ощущала сопротивление души. А память всё время возвращала её к тому дивеевскому чуду любви, которым её одарил в первую поездку батюшка Серафим. Своего батюшку она должна была ощутить так же. И не иначе. Она ему и молилась, ему и жалилась, если нужен был ответ на серьёзный какой-то вопрос. И заметила, что непременно ответ приходил вскоре: то кто-то сам скажет, то книжку откроет, а там то, что нужно. То некто принесёт журнал или газету с готовым ответом. Она даже беседовала с ним так:

— Батюшка, ты сам знаешь, как лучше. Если не будет у меня духовника, я так и буду молиться тебе и со временем получать ответы. Но по своему выбору пошли мне, если есть на то твоя воля, настоящего духовника. Чтобы был у меня руководитель.

И это на самом деле так. Духовный мир умеет, не обнаруживая себя явно, говорить с нами знаками, событиями, встречами с нужными людьми. Иногда это происходит очень быстро. Вот как в последний мой приезд в Иверский монастырь...

У меня возник вопрос по молитве. Но батюшки пока не было, а я всё время мысленно уже задавала ему этот вопрос, думая лишь о том, когда отец Сергей появится. Поднявшись на второй этаж, прошла мимо батюшкиного кабинета по синему в вечернем свете коридору. Убедилась по отсутствию сета, что его так и нет. Собралась возвратиться в келью. И тут мой взгляд упал на полку, где вверх обложкой, раскрытая где-то на середине, лежала книга. Мне стало интересно, кто мог оставить её так? Тем более глаза успели прочесть имя Софрония Сахарова, старца наших дней. У меня есть все книги Софрония. Но эта была новой, с незнакомым названием. Я взяла её в руки, посмотрела на левую страницу. Взгляд сразу упал на абзац, с которого начинался... подробный ответ на мой вопрос. Я подошла поближе к окну и в сумеречном свете, изумляясь радостно всё больше и больше данному обстоятельству, прочла целую страницу текста. Надобность в дальнейшем или ином объяснении отпала сразу. И это лишь крупинка из россыпи подобных событий.

«Встреча» с духовным отцом началась задолго до самой встречи. На Афон улетал один знакомый, и Татьяна по телефону попросила его, чтобы кто-нибудь из монахов там помолился особо о том, искать или не искать ей духовного руководителя? Или у неё всё же должен сложиться обычный путь: замужество, семья, дети?

Вернувшись назад, знакомый привёз ей подарки: браслетики, сумочку с крестом, которую обычно носят на себе монахи, масло, освящённое на мощах, и чётки на сотицу, то есть из ста молитвенных узелков. Отдавая подарки, как-то уж очень

странно посмотрел он на Татьяну. Она это запомнила. И сказал, что был на Афоне у русского монаха, старца Григория. Взяв чётки, Таня быстро надела их на руку. И он вновь взглянул на неё особенно. Но ничего не сказал.

А она особо и не знала, что с ними делать, как молиться. Повесила дома, иногда лишь надевая на руку с осознанием важности подарка. Ведь с Афона!

Вскоре театр «Живая вода» поехал на гастроли в Орск. Владыка Орский и Гайский Ириней до назначения на эту митрополию в Москве окормлял некоторых актёров театра, давал советы по сценарию, помогал им материально, хорошо знал руководителя, Ларису. Он и пригласил театр в далёкий степной город.

В день рукоположения владыки Иринея в епископа Орского и Гайского в Новоспасском монастыре Москвы театр давал спектакль. И Татьяна исполнила после пьесы несколько сольных номеров. В зале находилась делегация из Орска, там был и отец Сергей. Ему дали слово. Владыка сказал, что батюшка тоже связан с театром в Орске, что пишет пьесы, что он неравнодушный к молодёжи и очень творческий человек.

Татьяна фотографировала, щёлкала аппаратом. Своего духовного отца она не признала тогда. Поняла только, что он, отец Сергей, батюшка добрый и большой, как мишка. Потом была ещё одна встреча, где обговаривалась поездка. Но батюшка молчал, практически ничего не говорил, улыбался. Был каким-то незаметным. И вновь она не узнала его. И практически не обратила внимания как на священника. Хотя театральные ребята подходили к нему под благословение.

Они приехали в Орск. Начались выступления. На Татьяне помимо творческого участия в спектаклях и концертах лежали и многие заботы по организации, по реквизиту и декорациям. Она была всё время занята. Но самый первый спектакль в тюрьме города Новотроицка потряс её. Она смотрела на этих

чёрных, как грачи в своих формах, людей, стриженных, в чёрных одинаковых фуражках и почему-то ощущала, что они лучше её, живущей на свободе. Они разбойники, которых уже поймали. А она... она ещё словно непойманный разбойник. Почему-то там же стали вспоминаться моменты, от которых ей становилось стыдно за себя: проявление гордыни, пренебрежение к людям, тщеславие. Она видела в глазах многих очищение покаянием, осознавала, что многие из них уже точно теперь знают, зачем живут. А она всё ещё нет... Она по-прежнему лишь прикасается к глубине жизни. И было горько. Они все уезжали тогда из тюрьмы другими. Всю дорогу молчали.

Потом были спектакли и концерты на разных площадках города. Последний из них — о войне. И как-то лишь к концу гастролей она «увидела» батюшку. И владыку. Её вдруг удивило, что они оба помогали ставить декорации, переносили и грузили в машину реквизит, костюмы. Как-то просто, без громкой суеты и значительности. Вспомнила вновь, как, уезжая из Новотроицка, батюшка тепло обнимал тех «стриженных грачей», и они лепились к нему, как малые дети. Вспомнила, как по дороге назад батюшка рассказал удивительный случай об исцелении умирающей девочки в больнице по молитвам близких и священника. И сказал так просто, что это всё Бог. Это Его проявления. Его милость. И Он творит удивительные чудеса по молитвам любящих. Она тогда смотрела в окно и даже не сразу начала вслушиваться, а потом ощутила, что эту тихую простоту речи воспринимает не умом и не через здравую логику. Слова входили в сердце. И там становилось тепло. Доброта и человечность были так естественны для него, что не вызывали сомнений.

Позже ей почему-то ощутилось... детство. Именно вот по этой простоте, по сердечности, по какой-то чистоте чувств и восприятию всего происходящего... Какие-то параллели между

папой и отцом Сергием вдруг дали о себе знать тонким звончком. В Москве она давно забыла об этом. Да там и не было ничего подобного: такого уютного, тёплого, домашнего отношения между малознакомыми людьми. И даже театральная сфера Москвы была иной. В ней не чувствовалось щемящей простоты и искренности. А здесь... чувствовалось.

Шестого мая они попали на службу в храм Георгия Победоносца. Татьяне очень захотелось причаститься именно здесь. К тому была масса препятствий, потому что завтра они дают последний спектакль, и нужна репетиция. Ей говорили, что это не срочно. Что причаститься можно и в Москве. Что за необходимость? Но она и сама не могла объяснить себе толком, что происходило. Внутри со стоической твёрдостью душа просила утреннюю поездку в храм Победоносца. Имя Георгия было связано для неё с памятью папы, которого отпевали как Георгия. Она и поминала его так с тех пор.

Лариса смотрела на неё с удивлением, но не возмущалась. Они вместе вычитали правило и уже вчетвером ещё с двумя ребятами утром приехали на службу. Народу очень много. Ещё служили тогда в деревянном храме. Трудно было и двинуться куда-то. Но некая женщина, спросив про исповедь, взяла Татьяну за руку и повела мимо иконы Серафима Саровского к аналою. Исповедовал отец Георгий Дынник. Она начала говорить и вдруг увидела, что плачет при этом не только она. Плакал и батюшка. Это вообще потрясло её в довершение ко всему. Она даже не думала, что такое возможно: так переживать состояние кающегося грешника, а вернее грешницы.

Началась литургия. И Татьяна услышала с клироса удивительно мягкий, высокий голос и длинный непривычный распев. Где-то наверху сопровождала литургию лишь одна певчая. Потом ей сказали имя: это Лиза, тоненькая молодая женщина. Красивая ликом и с голосом, про который говорят, что он от

Бога. Пела Лиза сокровенно и тоже просто, куда-то в самую глубину сердца отправляя чудесные звуки.

После целования креста вышел отец Сергей и вывел их, как цыплят, за собой, велел уцепиться друг за друга. До спектакля оставалось не так уж много времени, но батюшка всё же успел показать им новый строящийся собор. И было удивительно ей тогда, как этот молчаливый незаметный батюшка с тихим спокойным голосом может успевать и совмещать всё ею увиденное за эти несколько дней. А они его и разглядеть не успели, всё было некогда. Но у Татьяны внутри уже затеплилось предощущение важной встречи.

Закончились гастролы, всех артистов театра пригласили на отдых в Херсон, где зарождалось сестричество, где уже молились и подвизались в первых своих шагах к монашеству женщины-прихожанки, многие из которых и стали монахинями Иверского. Но их праздник раскинулся в степи, у костра, под огромным небом. Со всей своей щедростью угощал гостей местный фермер, возродивший умершее когда-то село в память своих родителей и построивший на горе храм в честь Табынской иконы Божией Матери. В большом котле приготовили ужин, и Таня взялась разливать по тарелкам густой овощной суп с кусочками мяса. Но заметила всё же, что отец Сергей и владыка Ириней говорят о чём-то тихонько, поглядывая на неё. Зато не увидела своего просчёта. И когда закончилось угощение в кастрюле, оказалось, что хватило всем, кроме неё. На дне кастрюли больше ничего не осталось, ни кусочка. Постаралась не привлекать внимания. Все весело шумели и говорили о впечатлениях. Очень хотелось есть, но что делать! Тем не менее, она была счастлива почему-то. Всё получилось не специально, а как-то само собой, и внутри было хорошо. Батюшка видел недостачу, но только молча улыбался, будто одобряя. И то ли он дал знак кому-то, то

ли Лариса заметила, но все дружно стали делиться с ней по принципу «с мира по нитке».

У неё внутри назрели вопросы. И душа понимала, что ответы хотелось бы получить от батюшки. От отца Сергия. Тем более, что в суматохе их гастрольной работы уже был очень странный момент, когда она носила внутри себя некий личный вопрос. И думала, стоит ли совершать намеченное после поездки в Орск или нет?

А ей предстояла поездка с человеком, который в Москве оказывал ей внимание. И не куда-нибудь. А в любимое Дивеево. И вдруг по дороге, когда батюшка перевозил всех с места на место по городу, он совершенно точно, прямо будто услышав её сомнения и раздумья, ответил, приведя в пример ситуацию, которая могла бы ожидать её. Нет, всё было конкретно не о ней. Да и откуда бы батюшке знать об этом? Они никогда не говорили ни о чём. Но пример был абсолютно совпадающим с тем, что сидело у неё внутри в виде сомнений. И она поняла тогда, что никуда не поедет. Батюшка очень точно сказал, и она запомнила это, что грех зачастую не подходит открыто, не предлагается напрямую. Он может быть преподнесён как вполне благочестивое намеренье, скажем, в виде поездки в святое место. И прямо назвал его: «В Дивеево, например». Она просто оторопела: разве это не про неё? Разве не ей сейчас говорится? Батюшка будто открыл ей суть того, что могло бы ожидать её в поездке, хотя она по-прежнему не оставляла раздумий о создании семьи. А тут и человек благочестивый появился. В Дивеево пригласил...

Ей необходим был серьёзный разговор. Удивительно, что именно вот в этой суматохе, но он состоялся. Их первый разговор, так нужный ей, оказавшейся на распутье. Поездку в Дивеево она мысленно отменила. И вдруг... вдруг подумалось, что, может быть, у неё совсем иной какой-то путь? О котором она

никак не догадывается? Ещё не знает, что он ждёт её? Почему и не складывается её личная жизнь, что удивляет всех вокруг: давно бы пора подумать о главном. Может, её главное... что-то иное? Она рассказала батюшке свою ситуацию с Дивеево, сказала о своих сомнениях. Что же ей делать? Как жить?

Он не стал давать никаких советов. Не было ничего, похожего на проповедь. Он просто сказал:

— Давай будем молиться. И не спеши. Не торопись. Всё устроится.

И в ней установилась странная тишина. А ещё умирённость. Что так и будет. И нечего метаться. И вообще вот эта степь вокруг, и это огромное небо, и гладь воды на пруду были тоже так тихи сейчас и молчаливо значительны, что хотелось верить и не сомневаться.

А потом у костра услышала рассказ о сестричестве, которое где-то рядом здесь, и о том, что батюшка мечтает когда-нибудь построить монастырь. Подумала: «Да, как хорошо было бы, если бы на этой земле возник монастырь и мечта этих хороших людей осуществилась...».

Рано утром их везли в аэропорт. Впереди над дорогой висел ясный лик луны, свет её золотил тонкой присыпкой всё вокруг. Кто-то дремал, кто-то тихонько шептался. И вдруг батюшка запел о степи. Высоко и протяжно, очень сокровенно и искренне. И это тоже было для неё утешением. И уверением, что всё будет хорошо. Сердце переполнилось, и она плакала, отвернувшись к окну. Но это были такие чудесные слёзы: лёгкие, светлые, сладостные для сердца.

В аэропорту батюшка подарил всем книжечки о духовной жизни, подписал каждому свои слова. И именно здесь, в аэропорту, когда её Лариса попросила спеть батюшке на прощанье какую-нибудь песню, она запела о батюшке Серафиме. Эта песня была в её репертуаре и чудесным образом пришла в

театр сама, принесённая автором. Она исполняла её на сольных концертах. Запела и теперь. От начала песни до её конца не более трёх минут, как и в любой другой. Но за эти три минуты ей стало понятно, что этот священник должен стать её духовным отцом. Тем, которого она искала, о котором молилась. А ещё ощутила: то тепло, которое излучал батюшка, схоже с тем, которое она испытывала в Дивеево. И папа опять вспомнился. Именно по ощущениям добра и души. Словно сошлось всё вместе. Она забеспокоилась, а вдруг это последняя встреча? И больше не выпадет возможности поговорить с ним? Набралась дерзости и спросила, можно ли надеяться, что батюшка хоть когда-нибудь смог бы согласиться и стать её духовным отцом? Для неё это было очень серьёзно. Но отец Сергей отшутился. Прямого ответа не было.

Они взлетели. Татьяна достала подаренную книжечку с названием «Принципы духовной жизни». Начала читать. И... забылась, как в Дивеево. Там были ответы практически на все её вопросы. «Неужели, — думалось ей, — так бывает? Так может быть?» Увидела она сразу и то, что практически все советы были предназначены для монашествующих. И тогда она задала сама себе вопрос: «Почему так близко всё написанное? Может быть, все её неудачи личного плана и долгое внутренне одиночество вели её неведомо до срока именно к этому пути? Может быть, именно это ей и дал ощутить когда-то батюшка Серафим в Дивеево? Ведь её душе так хорошо именно там, где она переступает через мирской предел и оказывается в зоне тишины».

Вернувшись в Москву, она даже не вспомнила о человеке, позвавшем её в Дивеево. А когда он позвонил, отказалась, сославшись на занятость, что было правдой. Больше они ни разу не увиделись. Будто отвело. И всё ушло само собой, без каких-то ненужных объяснений. Значит, было чужим. Не ей предназначенным. У неё теперь была цель, которая стала же-

ланна: собирать мирный дух, молитвенный дух, трудиться ради него, как говорил и батюшка Серафим, раскрывая цель для любого православного человека о стяжании Духа Святого. Отец Сергей не дал прямого ответа о её окормлении, значит, она по-прежнему будет молиться и спрашивать совета у батюшки Серафима.

В Москве, на Тушинской, где несколько человек жили в большой квартире малой коммуной, Лариса попросила её принять на несколько дней художницу Светлану, приехавшую от батюшки Сергея из Орска за бисером на икону. Татьяна забрала её к себе, и весь вечер они проговорили. Светлана рассказывала ей о работе, о художниках, а ещё о батюшке Сергии: и о том, как он служит, и о том, как он живёт, как на многое его хватает. Даже чисто по человеческим меркам это вызывало недоумение. А ещё рассказывала Света о времени общения с батюшкой, о том, как живётся им некой чудесной общинкой, где все любят друг друга нелицемерно, и потому душа больше никуда не стремится. Она дома: рядом с батюшкой. Татьяна освободила время, ездила вместе с художницей по столичным магазинам и впитывала, напивалась, жадно ловила всё новые и новые сведения о жизни более сердечной, нежели событийной. Узнала о приюте для бездомных. О детском доме для детей-инвалидов. Что у батюшки самого шестеро деток и чудесная матушка. И много ещё о чём тогда. Её душа поражалась, но ничуть не сомневалась. Да, там именно так, как говорит Светлана. Ведь и она сама успела ощутить то тепло, ту атмосферу простого благосердия и участия. А Москва уже многие годы учила её другому. Совсем другому...

Как верны всё же слова апостола Павла, сказанные в послании к Римлянам: «Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия». Значит, должен быть тот, кто скажет о вере. И не просто скажет, а теми единственно нужными сердцу словами,

которых оно ожидало. Но сказать можно не только лишь словом, о многом «говорят» дела, поступки. А всё вместе взятое уже рождает ответ, обретается прочный фундамент собственной веры. Человеку для начала нужен человек, в котором уже живёт Бог, проглядывает сквозь обычность Своей Необычностью, говорит своими словами Его Слова. Как от свечи зажигают свечу, как от факела факел, так и Слово Божие вспыхивает подобьем искорок в душе и в сознании. И начинает созидаться новая личность, сотворяться новое сердце, и зажигается огонь, горящий Богу.

Через Светлану она словно ещё раз убедилась в том, что отец Сергей — это её человек. Её духовник. Её отец, которого она готова слушать и идти туда, где совсем иная неведомая жизнь.

Светлана передала ей книгу от бабушки. Это был Софроний Сахаров. Книга оказалась подписанной так: «Одному оптинскому старцу ученик сыграл красивое классическое произведение. «Да, музыка хороша, — сказал старец. — Но если бы ты знал, чадо, как звучит музыка Духа. Как она прекрасна и ни с чем не сравнима, ты бы искал только её». Танечка, самое ценное приобретение, которое мы можем найти на земле, это Христос: скачай по Нему, ищи Его и будь счастлива. Твой отец Сергей. 13.05.12».

Как обрадовалась она, осознав по-своему слово «отец». Книга потрясла её. Прочлась захлёб. Было много вопросов, она спросила у бабушки разрешения звонить, если что-то будет неясно.

И началось духовное общение... порой даже не на уровне слов. Происходило что-то мистическое. Часто отец Сергей давал ответ на ещё не заданный вопрос. Такое, наверное, бывает, когда души находятся «на одной волне», когда всё идет от сердца к сердцу.

Вскоре поделилась с Ларисой, что душа не хотела бы больше никаких поисков. Что она ощущает благое доверие именно к

этому священнику. Понимает, что он даст ту силу веры, которую она ищет. И не зря, может быть, так долго длился её путь, и всё не складывалось с духовным окормительством до встречи с орским бабушкой. Это бабушка Серафим медлил, чтобы всё, что ей нужно в плане веры и Духа, нашлось в каком-то далёком Орске, в священнике, похожем для её сердца и на бабушку Серафима, и на её родного папу. Может ли такое быть? Мудрая Лариса тоже посоветовала не торопиться:

— Будем молиться. Всё само устроится и станет ясно.

А вечером, когда стала звонить бабушке, чтобы задать очередной вопрос, вдруг услышала:

— Дочка, здравствуй!

От неожиданности и волнения пролепетала:

— Значит, вы берёте меня в духовные чада? И бабушка ответил мягко, по-отечески:

— Да, беру.

Так начался её иной путь. Он дал ей первое духовное правило по молитве. И она стала выполнять его.

Вскоре Татьяна с родителями и детьми из воскресной школы Новоспасского монастыря вновь отправилась в Троице-Сергиеву лавру. К Сергию Радонежскому. Теперь уже благодарить и молиться за дарованного духовного отца... Сергия. Шли они к лавре от Подмосковья пешком, группой, с ночёвками на лесных полянах. Но и тут Татьяна не оставляла правила, молилась ночью, выйдя из палатки, преодолевая страх темноты и пугающих шорохов.

Последняя ночёвка была в пяти километрах от лавры. И здесь она поняла, как непросто путь молящегося человека, как неожиданными обстоятельствами показывает Господь, что нужно трезвиться. Нельзя расслабляться, ибо и враг не дремлет. Он устрашает, пытается переключить внимание человека от Бога на собственное тело, посылает страхования.

С ними был священник. Вечером он принял у всех исповедь. Знакомая женщина, бывшая с ними в группе, пошла ставить палатку. Накрапывал дождь. Татьяна тоже решила приготовить спальное место. В палатке стала расправлять спальник, заметив на своём месте какой-то бугорок. Был порыв лечь спиной и попробовать: удобно ли? Но что-то остановило. Татьяна ударила ладонью по бугорку, чтобы разровнять его, и с ужасом увидела, как между пальцами ладони, прорезав дно палатки и её спальник, пробилось остриё стекла. Высота скола была сантиметров десять, похожая на специально отточенный кинжал или копьё. Она похолодела. А если бы легла спиной? Она бы поранилась сильно, очень сильно. Стекло пронзило бы спину глубоко. И тогда — немедленно больница. А вокруг лес. Куда? Не было бы и главной цели их пути — лавры ни у неё, ни у тех, кому пришлось бы срочно искать помощи. И в то же время она поняла, что и такая «удачная» проверка, когда она даже не поранилась, некое чудо, защита свыше, пример действия молитвы. Её духовный отец был в это время на Афоне. Может быть и скорее всего, именно его молитва уберегла её от беды.

Появился сначала страх. Потом внутреннее возмущение. Как можно было не проверить всё? Но она вдруг вспомнила о недавней исповеди, посидела в палатке, начала молиться и... никому ничего не сказала. Сама вытщила осколки. Их оказалось несколько, стоящих в ряд днищ разбитых бутылок. Будто кто специально выставил! А в темноте, конечно, их можно было не заметить. Женщину она расстраивать не захотела. Ведь та была не виновата. Но появился серьёзный повод думать, осознавать, что случайности, скорее всего, совершенно не случайны. И благодарить Бога за такой исход событий.

Она вернулась из лавры. Прилетел с Афона батюшка. Позвонил и сказал, что привёз много отснятого материала, попросил посмотреть его и, если есть возможность, смонтировать фильм.

Татьяна растерялась: она режиссёр, конечно, но вовсе не кинорежиссёр. О режиссуре кино мало что знает. Она просто не умеет этого сделать. И... отказалась.

Но когда положила трубку, душа затомила, будто свинцовый кусочек в неё попал мгновенно. И ясно было, что он не уйдёт сам собой. Что-то не так. Она просто струсила. Позвонила Ларисе. Та, выслушав, вскрикнула:

— Да ты что? Это же твой духовный отец! Надо было сказать «буди благословенно» и ничего не бояться. Это послушание! Главное — сказать «да», а Бог даст и силы, и умение, и разумение. У тебя всё получится именно по благословию.

Тогда она сама позвонила отцу Сергию и сказала, что поняла свою ошибку. Попросила благословения и обещала постараться по его молитве приступить к монтажу. Отснятого материала было очень много, часов на десять видео. Ей пришлось даже затвориться в хижинке, построенной папой Ларисы под Дмитриевом. Она начала отсматривать видеосъёмку и оказалась... на Афоне. Переживания и восприятие были так остры, что не могла освободиться от мыслей ни на минуту. Афон... Монашество. Красота молитвенного подвига. Ой, не случайно батюшка дал ей такую встречу с островом Духа! Она практически не спала, отбирала материал, сама собой пришла музыка к фильму. Ей показалось даже, что это не совсем она собирает фильм. Всё выстраивалось само. Программа по монтажированию была на английском языке, перевода нет, но методом проб и ошибок она всё же пришла к результату. Фильм собирался. Стало спокойнее. Он должен был получиться на удивление ей самой.

Батюшка пригласил в гости и попросил привезти то, что вышло. Фильм ещё не был закончен, но материал для показа достаточно. Она приехала. По дороге из аэропорта батюшка спросил о правиле: получается ли не пропускать? Она кивнула: получается.

— А чётки-то у тебя есть? — вдруг спросил он.

— Есть. Мне в прошлом году ещё с Афона привезли. Из кельи старца Григория. И она показала ему те самые чётки, подаренные знакомым, когда он странно поглядывал на неё после приезда.

— А ты знаешь, это ведь мои чётки! Привозил в подарок монастырю и отцу Григорию оставил часть сплетённых здесь чётков.

Это было удивительно! При въезде в город, на перекрёстке, мимо них проехала машина с рекламной надписью бутилированной воды: «Живая вода», я навсегда с тобой!». Её вновь удивило, что название театра, где она служит, явилось ей здесь в таком виде. И даже это сочетание слов показалось теперь более полным по значению. Не здесь ли вообще источник её «живой воды»? Её жизни с Богом? Ещё более утвердилась в своём послушании. Поняла, что будет исполнять все советы, доверив батюшке свою духовную жизнь. То, о чём она до того читала в книжках, требовало деятельного исполнения.

Посмотрев смонтированные части, батюшка растрогался:

— Получается так, как я бы и хотел. Как сделал бы сам. И тогда она осознала: а ведь это и есть её первый плод послушания. Потому была и помощь, ощущаемая откуда-то свыше.

...Чудо послушания — вот удивительная загадка и для меня самой! То, что я теперь делала, слушая истории монахинь Иверского орского монастыря, и то, что должно со временем стать книгой с этим названием, тоже плод послушания. Батюшка сказал об этом мне так просто и обыденно однажды, когда мы ехали в который раз из Оренбурга в Орск, в его монастырь:

— Напишешь книгу про матушек, про их путь к Богу. Нарисуешь их портреты. Сама сделаешь обложку...

Я, конечно, запротестовала против портретов. Я их никогда не писала. И даже не пробовала. Делала рисунки ко второй

своей книге сама, потому что люблю рисовать с детства, но это далеко не портреты! А батюшка добавил:

— Я не прошу профессиональной портретной живописи, попробуй изобразить характер, нечто главное.

Это не облегчало задачу, но я решила попытаться, испросив заранее прощение у сестёр за несовершенство будущих работ. А один священник, отец Александр, сказал мне так:

— Ты не бойся. И не сомневайся. Если батюшка благословил, он не просто так это сделал. Работай. Должно получиться. У тебя есть благословение духовного отца!

С тем и приступила я к работе с надеждой. Так что портреты монахинь и батюшки в книге — плод послушания.

Беседа наша с матушкой была долгой. Мы отвлекались несколько раз. Сходили на ужин в трапезную. Потом уже в келью попили чаю, поговорили с постучавшимся к нам батюшкой. Он благословил нас и поехал домой. За окном стоял глубокий зимний вечер густой своей синью. Почему-то особо я люблю приезжать в этот монастырь именно зимой. Именно в это время хорошо бывает смотреть из полутёмного длинного коридора монастыря в узкие окна. Туда, где дорога, где жёлтые фонари. Рассыпанный вдалеке мерцающий блеск пригорода. А на площади перед входом в монастырь — большой тёмный крест на фоне белого снега, как сторожевой символ границы между миром обычным и миром иных реалий.

Матушка вдруг решает рассказать об одном странном явлении, бывшем с ней до принятия решения о монашестве. Как-то попала ей в руки фотография, сделанная с литографии дореволюционных времён. На ней был изображён монастырь со всеми своими угольями, постройками, храмами, корпусами, дворами и подворьями. Рисунок был мелкий, но зато умещал в себе целую развёрнутую карту, на которой были изображены ещё и монахи, прихожане храма, лошади, везущие телеги

с подворий. Матушка говорит, что заворожённо смотрела на всё это сверху, задумалась и вдруг... На несколько мгновений всего, но вполне достаточно для осознания и памяти, увиделась ей ожившая панорама этого монастырского взаимосвязанного мира, где всё, как на маленьком нецветном экране, запустилось кем-то с временной паузы и явилось реальностью, задвигалось, затрещалось. Лошадки перебирали копытцами по дорогам и тащили тележки, вдали виднелась мельница и работающие рядом люди, монахи неторопливо двигались к службе, в окнах храма мерцали зажженные свечи, к паломнической гостинице прибывали экипажи, дамы в шляпках с детьми прогуливались у реки вдоль монастырской стены. Показалось, что она слышит даже шум этой жизни. Всё было так гармонично и осмысленно в этом кратком видении, зачем-то должно было явиться всё сразу в таком удивительном виде... Не затем ли, что, очнувшись от «виртуального экрана», она в тот момент осознала для себя монастырь как совершенную форму жизни на земле. Как её богоугодное устройство. И эта жизнь показалась ей близкой. Повеяло дуновением тепла.

В свой первый приезд в Орск она умудрилась «кровно» породниться с этим городом, видимо, чтобы вскоре приехать сюда насовсем. Гуляя по двору при храме Георгия Победоносца на улице Васнецова, они с тогдашней Татьяной Николаевной, секретарём батюшки, а теперешней матерью Серафимой, зашли к художникам. Татьяна посмотрела, как рождаются иконы, поговорила с теми, кто их писал. Кто-то из них сказал, что у неё необычное лицо. А была она в шляпке чудесной да в платье горошковом. Да ещё про лицо услышала возглас. Всё было чудесно! И пошла с этим «необычным лицом» вновь во двор: белочек ещё обещали показать в большой клетке-вольере. Они при храме давно живут, как и многие животные, которых горожане порой подбирали и привозили именно сюда, в неболь-

шой зоопарк. Белочки были чудесны. Полюбовавшись, Таня развернулась и шагнула от них в сторону храма. Незамеченная сварочная конструкция пришлась как раз по верхней части головы. Шляпа отлетела, пронзила боль, полилась кровь. Все вокруг заохали, даже рабочие изумились:

— Во как льёт кровь-то!

Приложили кусок ваты, быстро намокавший кровью. Она капала на землю. Но отчего-то ей совсем не было страшно. Именно тогда и подумала с неуместной самоиронией:

— Вот тебе и особенное лицо твоё. Вот оно... Вот и здешнюю землицу поливаешь кровью, будто родную... Она теперь тебе кровная...

Хотя было не до шуток. Откуда-то подъехал батюшка, и её повезли в травмпункт. Врач, осмотрев рану, сказал, что для безопасности хорошо бы выбрить вокруг часть волос, а то, мол, не заживёт. Взглянул на неё. Таня пришла в ужас:

— Да вы что, доктор, я актриса из Москвы у, меня спектакль через неделю. Что значит «выбрить»? Ни за что...

Так и ходила последние дни перед отъездом, как раненый боец, по всем правилам нося шапочку из бинта, но совсем не ту, в которой лицо выглядело «особенным». Когда вышла из кабинета московская красавица, перевязанная да ещё и с просочившимся ровным кругом красного цвета на лбу, батюшка пошутил:

— Да уж... Ни дать ни взять японский самурай...

А вот ведь, однако... Батюшка ведь, когда уезжал, сказал чётко, чтобы шли они с Татьяной Николаевной к художникам и там его дождались. Выходит, что уроки послушания продолжались. И пока не всегда «на пятёрку».

Когда вернулась в Москву и встретилась с друзьями, то, ещё стоя на пороге, услышала:

— Наверное, наша Танечка, уедет жить в Орск. Видимо, что-то было необычное в её обычном лице. И прочлось...

Вскоре после Орска Лариса пригласила её в Пюхтицкий монастырь. Она «благословилась» у батюшки, а он попросил её перед отъездом купить книжечку «Игуменья Арсения» и прочесть как очень душеполезную книгу. Её любят и монахи, и обычные прихожане, потому что полна она простыми и глубокими советами к духовной жизни. Батюшка и себе попросил книгу купить, что она с радостью исполнила. В музее монастыря увидела посох игуменьи Арсения, а ещё неожиданно для себя попала к некоей старице-схимнице, звали которую мать Параскева. Им посоветовал заехать к ней знакомый священник. Схимница жила уже в богадельне при монастыре, была старенькой и согбенной. Батюшка попросил навестить её, передать поклон. Она его духовная мать. И Ларису предупредил, что это не простая схимонахиня, а прозорливая. Лариса-то об этом знала, а Татьяна нет. Иначе, может, и идти бы испугалась.

Вывела к ним схимницу послушница, которая за ней ухаживала. Все они зашли на неширокую верандочку. Схимонахиня чуть выпрямилась, взглянула сбоку и сразу спросила:

— Зовут-то как?

— Татьяна.

— А-а-а, Татьяна-мученица, значит?

Потом у Ларисы имя спросила. И тоже произнесла:

— И Лариса — мученица, наверное...

Потом вновь взглянула на Татьяну:

— Что ж ты такая обструганная-то? Тебе ж в кресле сидеть...

Она ничегошеньки для себя тогда и не услышала, и не поняла. А Лариса обомлела. Потому что всё услышала и поняла.

Схимница начала рассказывать, вроде бы, какие-то баечки. Да всё про игумений. Какие они разные бывают. И опять повернулась к Татьяне и строго сказала:

— Ты, может, думаешь, что игуменья — это так просто? Игу-

менья — это телефон без конца звонит. Это — бежать. Это — стрелы летят! То туда, то сюда, то на просфорню.

И подумалось: она же книжку об Арсении только что прочла! И так впечатлилась! Вот и матушка-схимница тоже об игуменьях всё говорит. Надо же! А та не унималась, продолжала. И перешла уж к подобью поговорок:

— Как грома, бойся игуменского дома!

Они тогда не раз к ней приходили. И в каждую встречу схимница говорила о разном. Но частенько вновь на игуменскую тему поворачивала внезапно. Они с Ларисой записывали её слова, порой очень похожие на пророчества о будущем. Но это пусть останется сокровенным. До исполнения. Потому что пророчество о кресле уже исполнено. А остальному — свой черёд.

Продолжала служить в театре, репетировать, выступать, а сердце уже жило другую жизнь. Как-то, стоя перед иконой, мысленно спросила у батюшки Серафима:

— Всё ты видишь, дорогой... Думала, что театр и творчество — это моё призвание на всю оставшуюся жизнь, а теперь, вот после знакомства с батюшкой Сергием, словно не так мне это всё интересно стало... Как же мне теперь жить дальше, в чём моё призвание? И словно услышала в глубине сердца тихий ответ: «Батюшке помогать — монастырь создавать».

Как-то в Переяславле-Залесском она в одном из храмов, ещё маясь помыслами о возможном замужестве, сказала об этом священнику, а он вдруг... запел слова знаменитой народной песни, чуть их переиначив:

Это не моё, а это не моё,

А это не моё, Богом суженое...

Увидел батюшка нечто. Батюшки, они ведь тоже непростые бывают. Смотря какой попадётся!

Тогда же, перед отъездом из Переяславль-Залесского с друзьями она зашла в один из монастырей. Там была чудотворная икона Богородицы, монахини посоветовали написать записки с просьбами и положить за икону, как было принято по традиции. Мол, Богородица всегда исполняет просьбы. Все стали писать записки, и я написала, а потом и забыла об этом...

А просьба-молитва заключалась в следующем. Будучи уже воцерковлённой, думала, если замуж выходить, то уже только чтобы женой священника быть, поэтому и написала в записке:

— Богородица, если есть на то воля Божия, пусть я стану многодетной матушкой.

Два года назад, проезжая мимо того монастыря, вдруг вспомнила свою просьбу и повторила её вслух. На что услышала от отца Сергия:

— Да, Богородица исполнила твою просьбу. Ты же игуменья, то есть мать, матушка. И многодетная...

...Духовные чада должны быть одного духа со своим отцом. Так и собирается «подобное к подобному» хоть в земной жизни, хоть и за её пределами. Об этом говорит нам Священное Писание. И не верить ему у верующих нет основания.

Год она общалась с батюшкой по телефону, задавая разные вопросы. Читала книги. Ещё дважды приезжала в Орск. Батюшка стал говорить о том, что образовавшееся сестричество, возможно, когда-нибудь перерастёт в монастырь, если Бог даст. И как-то очень естественно для себя начала всё чаще думать о монашестве. Мысли о нём были ей совсем не чужды теперь. А знания духовной жизни и молитвы, прибавляемые постепенно всё больше, становились плодом её постоянных размышлений о Боге. И было тепло душе. И жизнь вокруг всё более отступала в своих стремлениях.

С приходом в театр «Живая вода» она стала больше читать духовной литературы. Лариса дарила много книг о судьбах

людей, о вере, о молитве Это были «Отец Арсений», «Старец Силуан», «Дарьюшка». Обладая даром «вдохновлять на подвиги», Лариса научила меня «за раз» читать на церковнославянском языке.

Став духовным чадом отца Сергия, старалась жить в полном послушании и даже на чтение книг брала благословение. Первой книгой, которую от себя как от духовного отца батюшка подарил ей, была книга «Старец Софроний. Ученик преподобного Силуана Афонского». Батюшка сделал дарственную надпись...

А потом в духовной радости с жадностью прочла: «Слова и житие старца Порфирия Кавсокаливита», «Игуменья Арсения», «Моя жизнь со старцем Иосифом», книги старца Софрония «Видеть Бога как Он есть», «О молитве» и другие...

А в Орске уже родилась и жила не просто общинка, отец Сергей задумал монастырь. Они продолжали общение по телефону.

Батюшка предложил им с Ларисой создать спектакль для детей про Букашечку, которую никто не понимает, а она по ночам взбирается на холмик и разговаривает с Другом (Богом).

Был написан сценарий, где в конце Букашечка приносит себя «никчёмную» в жертву, чтобы спасти Кузнечика (ближнего) из паутины. Это было созвучно состоянию её души. Образ Букашечки был не просто образом христианства, а именно образом монашества.

Премьера «Букашечки» состоялась, но с каждым днём сама Татьяна всё больше чувствовала некое охлаждение к своему театральному искусству. Понимала, что назревает разговор с дорогой сердцу Ларисой, которая по-матерински, конечно, тоже всё чувствовала, но от недосказанности в их отношениях росло напряжение, ведь она была её правой рукой, сподвижницей в миссионерском служении... Решила, что поговорит с ней

при встрече в Новоспасском монастыре. Приехала пораньше и неожиданно встретила там владыку Иринея. Попросила его помолиться, ей сейчас предстоит разговор с Ларисой, она переживает, сможет ли правильно объяснить словами своё состояние. Ведь она так же любит театр, её, ребят, но сердце живет уже не только театром, как раньше... Владыка внимательно посмотрел на неё и ответил вопросом:

— Может, вам подумать о монашестве?

Помолчал и добавил утвердительно:

— Подумайте.

Это было как благословение свыше, как разрешение на монашество, словно её внутреннее предчувствие о возможности идти таким путём получило окончательную оценку:

— Да, подумайте, вам можно, вы способны.

И стало легко. И таким образом последующий разговор с Ларисой сам собой состоялся уже в свете сказанных владыкой слов. Они договорились также продолжать молиться друг за друга, трудиться, карабкаться к Богу, а там... уж как Ему будет угодно.

Позже узнала Таня, что в этот же день вечером и отец Сергей говорил с владыкой о ней как о будущей монахини. Их мнения совпали.

К тому же в Москве вдруг произошло нечто неожиданное: попросили освободить снимаемую квартиру. В ней она со знакомой семьёй жила три года. А теперь жильё понадобилось хозяевам. Надо было искать что-то другое. Или... Пойти туда, где началось её духовное возрождение? Пойти, чтобы расти дальше? И всей своей жизнью служить Богу? Разве не Он так сложил её путь? Разве не батюшка Серафим дал ей когда-то опыт первого исцеления души и обретения истинной жизни не вокруг себя, а внутри. Там, где живут рядом душа и сердце, и стремятся согласно к одному: к деланию. К работе не для

себя, не для личного блага. А для Бога. Для того, кому служит и батюшка. Её духовный отец. Отец Сергей.

Она позвонила ему и сказала, как есть. Потом добавила:

— Батюшка, простите, я не знаю, как и что будет со мной, но просто хочу жить рядом с вами, чтобы расти духовно, и мне совершенно не важно, кем я буду, главное, чтобы рядом с Богом и с вами. Спросила совета: что делать? Хотя внутри себя вопрос уже был с ответом. Но его мнение она сочла бы единственно верным. Как скажет...

Батюшка сказал, что подумает... а потом перезвонил:

— Будем строить монастырь. Приезжай. И не переживай, где жить будешь первое время. Найдём, что-нибудь придумаем. Стала готовиться к переезду и по благословию раздавать всё имущество, решив отказаться от всего прежнего, хотя бы для начала внешнего, ради будущей внутренней новой жизни.

Увы, мы так ушли от Бога «в страну далече», что мнение даже многих крещёных таково: в монастырь уходят от горя или от несчастной любви. Не важно. Главное — от чего-то или от кого-то. Может быть, кто-то так и уходит. Но настоящий монах или монахиня не уходит «от», а приходит «к». И это принципиальная разница. Во всяком случае, читая жития святых подвижников-монахов, понимаешь, что истинный монах, а не ряженый в чёрные одежды, и родится лишь при условии, если он будет служить Богу и людям из состояния любви. Иначе будет не монах, а перебежчик. И в современном монашестве подобных, к сожалению, много. Одному не нравятся братия, другому устав или игумен. Что можно перенести и на женские обители — причины будут те же. И тогда не монашество выходит, а маета, что в конечном счёте ведёт к духовной гибели. Хотя монастырь «свой» нужно и можно искать на стадии решения ухода от мира. И поехать тогда не грешно, а даже полезно. Ведь человек ищет то, что сообразно с его стремлением.

В монастырях разные уставы богослужений, разные трудовые послушания. Начитавшись книг о монашестве, люди порой не могут смириться с тем, что их книжные представления не совпадают с реальностью, что тоже может повредить искреннему кандидату в иночество или монашество. Монастырь — выбор серьёзный. Одежда монаха — не гарантия спасения. И за порогом выбранного монастыря лучше оставить все сомнения. Монахи-беглецы — горькое явление. В их глазах всегда непокой и неприкаянность, как у сирот. Говорю так, потому что много раз встречалась с этим явлением.

Бывшая звёздочка эстрады Татьяна Пашкова искренне оставила всё ради Любви к Богу, ради Иисуса Христа. А ещё не ошиблась с духовником. В нём увидела образ Христа, ощутив Дух той Любви, которая ещё в 2006 году в Дивеево сподвигла её к покаянию. Общение с отцом Сергием убеждало её, в том, что этот человек искренне любит Бога и словно «лично знаком» с Иисусом Христом. И самое главное, что он имеет дар — делиться этим знанием о любви. Причём как-то очень сокровенно, тихо, кротко, не произнося высокопарных слов, не призывая всех на великие подвиги. Он «показал» Иисуса Христа собственным примером жизни, «плодами», которые он носит в себе по благодати Божьей.

Она и своих первых впечатлениях от общения с батюшкой говорила своим друзьям в Москве:

— Отец Сергей — словно великан, который ногами стоит на земле, а головой живёт в небе.

И многое она находила через него, что было близко её сердцу. Так, в одной из книг отца Сергия «Ксения» нашла объяснение своему состоянию: «раньше я много знала о Боге но Самого Бога не знала...»

Не через свою сначала, а через любовь отца Сергия к Богу начала исполнять ночное правило с Иисусовой молитвой по

благословению, и в какой-то момент в молитве словно «узнала лицом к Лицу» и всем сердцем, всею душою и всем своим разумением «прожила присутствие» Личности «Бога Живаго». И после этого стало ей молиться по-другому. Началось обращение не к какому-то далёкому и неведомому Богу, а к конкретной Личности Бога Иисуса Христа. Такое «общение» вдохновило начать на деле исполнять то, о чём прочлось в духовных книгах. Душа потребовала жизни в таинстве послушания, с отношением к духовному отцу, как к другу Христа, и через это становится ещё ближе к Самому Богу, глубже познавать Его, жить Им, служить Ему как Живой Личности. Которая всегда рядом: здесь и сейчас. Состояние было похожее на влюблённость, когда ум и сердце живут возвышенно. И о том, кого ты полюбил, хочется знать всё и быть рядом.

— Помню, — делится мыслями матушка Ксения, — возвращаясь с очередного выступления, думала: как было бы хорошо побольше отдавать времени своей жизни Богу. Быть в храме и на вечерней, и на литургии. Не только по субботам и воскресеньям, а и в другие дни. Ведь самое драгоценное что есть у человека на земле — это время... Кому и на что мы отдаём его в своей жизни, то и становится нашим достоянием.

Акафист митрополита Трифона (Туркестанова) «Слава Богу за всё!» однажды очень сильно затронул струнки её души, дал почувствовать вкус молитвы.

«Ты услаждаешь думающих о Тебе, как животворно святое Слово Твое, мягче елея и сластнее сот беседа с Тобой». Как утвердили эти строки меня в желании тоже искать этой беседы.

В православном театре «Живая вода» был установлен закон: «не раздражаться, не укорять друг друга, чтобы ни случилось». И еще был девиз: «лучше дело не сделать, но мир сохранить». И мы старались, как могли, жить в таком состоянии, о котором в акафисте говорилось так: «Не страшны бури житейские тому,

у кого в сердце сияет светильник Твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас и завывание ветра. А в душе у него тишина и свет: там Христос! И сердце поет: «Аллилуия!»

А позже, слова из икоса б помогли мне объяснять друзьям, почему я в расцвете творческой деятельности решила оставить карьеру певицы, любимый театр единомышленников и стать монахиней. Вот почему:

«Как молния, когда осветит чертоги пира, то после неё жалкими кажутся огни светильников — так Ты внезапно блистал в душе моей во время самых сильных радостей жизни. И после молниеносного света Твоего какими бесцветными, темными, призрачными казались они. Душа гналась за Тобою».

— Знаете, до сих пор, снова и снова перечитывая это вдохновенное благодарение Богу, знаю, что мне очень хочется, чтобы и моя жизнь, и жизнь всей моей духовной родни, как и вообще жизнь каждого человека, была подобна этому акафисту, — говорит матушка практически в конце нашей беседы.

На её письма до сих пор не отвечают некоторые бывшие подруги. Она никому не сказала, что едет, например, на последний свой сольный концерт. Они ещё ждали и встречали её как актрису. А она уже мыслила о монашестве. На этом же концерте она ощутила, что сильно заболевает, и связи практически отказываются смыкаться от звуков. И это тоже показалось ей не случайным...

Чуть раньше, готовясь к работе над документальным фильмом «Ксения» по сценарию отца Сергия, поехала в Петербург для духовного подкрепления. И там у часовни святой Ксении Блаженной словами духовного отца от всего сердца помолилась:

— Ксеньюшка, родная, если есть на то воля Божия, и если нет в этом гордости, тщеславия, помоги мне стать монахиней.

И ровно через три месяца с отцом Сергием, возвращавшимся тогда с Афона через Москву, полетела в Орск. Навсегда. Билет батюшка благословил купить в одну сторону.

Шестого мая 2013 года, в день празднования святого Георгия победоносца и Иверской иконы Богородицы, на месте строительства обители была заложена памятная плита и установлен крест, которые теперь находятся в алтаре нижнего храма в честь преподобного Серафима Саровского.

Перед поездкой к месту освящения строительства духовный отец, направляясь к машине, вдруг спросил у неё:

— Таня, ты хочешь быть монахиней?

И она, не размышляя больше, ответила:

— Да!

Душа ликовала. В этот день батюшка объявил впервые сёстрам тогдашнего сестричества: те, кто хотел бы в дальнейшем избрать путь монашества, могут надеть на себя тёмные одежды. И Таня, как и многие сёстры, на следующий день была в чёрном.

А через несколько дней отец Сергей ещё раз спросил:

— А ты готова «умереть»?

И душа вновь отозвалась:

— Да!

Её постриг был седьмого июля. В день рождества Иоанна Крестителя. Она стала первой, кого епископ Ириней постриг для рождающегося нового монастыря.

И вот так, Умерев Татьяной, она родилась... матушкой Ксенией, какой я знаю её, игуменью орского монастыря в честь Иверской Божией Матери.

И какой люблю.

ОТЕЦ СЕРГИЙ

Скажу сразу: я люблю душу этого человека. Этого священника. Моего духовника. Никогда прежде не приходилось столь открыто говорить о том, что знаю её. И всё же могу с дерзновенной радостью произнести: во многом знаю. Видела проявления в сотнях разных ситуаций. Мы провели многие часы длинных дорог в долгих разговорах, кажется, обо всём на белом свете. Перепели не один десяток песен. А то и куда больше. Наши совместные пути лежали в разные города по задумкам паломнических поездок, когда им, молодым ещё священником, развозились по восстающим женским монастырям иконы из его мастерской. В дар. Бесплатно. Просто для молитвенной помощи.

Мы были много раз вместе в Дивееве, были в Оптиной, в Шамордино, в Задонском монастыре, десятки раз в Самарском Иверском. Я знаю и люблю его семью, его шестерых детей, его чудесную матушку Наталью. Знаю его многих постоянных прихожан. Знаю тех, кто был рядом с ним долгие годы. Знаю некоторых его монахинь ещё совсем не монахинями. Знаю художников, из которых от него уходили лишь те, кто совсем выбывал из земной жизни. Его друзей священников. И тех, кто были друзьями...

В связи со всем этим у меня есть вопросы к себе самой: с чего лучше начать? Как лучше рассказать о нём, чтобы получилось о главном? Всё о той же душе. Разве каждый из знающих его знает не своего Сергия? И судит обо всём не из себя? Значит, тот, о ком последняя глава, будет... мой Сергий? Но и всего знакомого за время человеческой дружбы и духовного общения передать не будет возможности.

Понимаю, что многое останется за рамками повествования по причине личного ощущения, что не всё можно отдать для

всех. Порой наши разговоры были сродни дорожным исповедям. Я слушала его мысли. Он — мои. Но убеждена более в том, что истинным инструментом общения между людьми являются не они. А чувства. Чувствуя человека, видишь то, что стоит за словами. И это опять о душе... Чего ни коснись, получается, неизменно встанешь перед нею. Тогда ещё раз напомним: буду писать из любви. Иначе у меня не получится. Правда, по этому поводу есть два мнения. Одно гласит, что любовь слепа, и значит, она не видит полной объективности. А второе утверждает, что лишь любовь видит «своими глазами» человека таким, каким его задумал Бог. Мне ближе именно второе убеждение.

Взглянуть на человека именно так, сквозь призму любви, разве не чудесная возможность?

Вот уже готовы главы о монахинях. Я их писала с радостью. И остаётся лишь эта: рассказ о том, кто выносил в себе эту мучительную мысль о монастыре и сумел вопреки многому воплотить её в жизнь. Кто сумел внушить доверие всем помогавшим ему деньгами, советами, трудом, молитвами.

Попробуй-ка ныне обрести лишь благостными речами подобное доверие! Вряд ли выйдет. Время слов отошло, и люди быстро отличат фальшь от искренности. А тут ничего из отданного ему в доверие не пропало. Всё встроено по кирпичику в этот мощный квадрат молитвенного духа и любви, выросший почти на краю города. В Иверский монастырь. Значит, есть вера в его духовные силы, если люди откликнулись на его духовный опыт, знают о чистоте его молитвы и о том, что он честно приносит вместе со всеми свою жизнь во служение Богу. Потому все вместе и не сомневаются, что возможно уже на земле, в этой юдоли грехов и печали, от которой каждый «спасается», как умеет, найти нелёгкий, но благодатный путь к единственно истинному счастью — любви, которой надо учиться. А не ждать от других. Которую нужно просить у Бога.

А значит молиться... О любви нелицемерной, светлой, жертвенной, спасительной и спасающей души тех, кто встретился с ней в личности живого Христа. Сам загорелся верой. И умеет поделиться жаром огня.

Итак...

...За окнами темно. Стоит зима, жадная до утреннего света... Это потому, что солнцу тоже не хочется вставать рано, когда холодно. Солнцу-то хорошо! А мама опять будит его в детский сад. И намеренно не включает в комнате электричество. А он боится темноты: давно и сильно. Боится оставаться один в комнате. Это известно, но с ситуацией трудно что-то поделать. И мама не спешит, не дёргает его, а в который раз прибегает к доброй хитрости:

— Сыночек, давай посидим немножко рядом? Послушаем... темноту?

Он уже юркнул руками в рубашечку, натягивает колготки, поглядывая в сторону тёмного оконного рта. То, что пугает, живёт где-то там, входит по вечерам сквозь стёкла в комнату. Заполняет её собой. Но что это? Он не может объяснить словами, почему его пугает именно темнота. Может, ей самой тоже страшно? Потому она хочет, чтобы её выслушали, как говорит мама? Сейчас... они начнут. Это уже не в первый раз. Нужно только устроиться поудобнее, усесться на край кровати. Он скрещивает ступни ножек, одна из которых ещё голая. Но это неважно. Он просто не успел нырнуть быстро в две слипшиеся коричневые макароны колготок. А темнота тем временем ждёт, напрягается, особо густая за шкафом и под кроватью. Но ему уже не страшно. Они с мамой готовы... Для полноты действия остаётся одно: крепко обняться. Это неременное условие! Он обхватывает её, прижимается к тёплому телу, вдыхает тоненький мамин запах. И думает о том, что, наверное, темнота сейчас и сама в удивлении... Ведь её не прогнали

щелчком выключателя. И сидят они с мамой, совсем не шевелясь. Тихо-тихо, полностью замерев. Чтобы темнота привыкла к ним и не вздрогнула от какого неосторожного скрипа. Иначе напугается сама, всколыхнётся, заволнуется. Начнёт в ответ разбрасываться паническим страхом. А если сидишь вот так, почти не дыша, в маминых ладонях, смотришь в синюю густоту и вслушиваешься, то она успокаивается. Перестаёт бояться и пугать собою. Становится чуточку добрее.

Так они узнавали друг друга: маленький мальчик и темнота. Со временем она всё же отступала от него, пряталась в длинной трубке житейского калейдоскопа. Отчасти забывалась. Отчасти перерастала в другие страхи, подростковые неловкость и стеснение. Временами откликалась в нём самом нелепым недоразумением.

И вдруг в самый последний раз вернулась уже недавно со всей полнотой, со всем своим главным ощущением — страхом. Хотя и не из памяти детства, не из заоконного пространства. Она явилась, выплыла, обернула его своей беспредельностью, оторвала от земли, понесла далеко в бесконечную высь. Было это в ярком сонном видении, когда они вновь встретились и темнота забрала его к себе. Нет, скорее в себя. В свой космос...

В эту ночь, как наяву, он поднимался, плыл, словно влекомый её зовом всё выше, в леденящий чёрный ужас полного одиночества. Полёт был довольно быстрым и лёгким по вертикали движения. И темнота всё продолжалась, густела, ширилась. Перетекала из знакомого неба в иное небо, словно иную галактику. С невиданными по цвету и форме звёздами, тлеющими, как угли в огромной жаровне. Она давала ему рассмотреть себя. Заглядывала в зрачки. Он успевал и видеть, и осознавать её разом. Ощущал на себе её любопытство и одновременную отстранённость. А сам был уже так далеко от земли! Плыл в неизвестность такой микроскопической точкой,

что и этой величиной ощущать себя больше не мог. Потому что нет таких малых величин в таком неведомом беспредельном объёме.

Пожалуй, было состояние космонавта, отделившегося от корабля и полетевшего в иную реальность, оторванную от привычных мыслимых реалий. Потом он вспомнит, что о подобном переживании в одной из своих книг писал старец Софроний Сахаров. А у батюшки, в его ощущениях, самым сильным чувством стало тогда именно беспредельное одиночество. Осознание потерянности и невозвратимости, которые всё нарастали, усиливая непередаваемый ужас. Спасение чаялось, но надежда терялась от холода, тьмы и покорившего душу страха. Но, видимо, в самой критической фазе смешения чувств он вдруг с последней мыслью о спасении произнёс вслух единственное, будто Само пришедшее к нему на помощь Слово: — Господи...

Собственный голос было трудно узнать. Он ослабел и распался на звуковые ноты до шёпота к концу последней седьмой буквы. Но Слово оказалось всесильным, тёплым и сладостным. Оно будто ждало его и откликнулось с радостью. И вместе с этим Словом вдруг чётко начал сначала тоже лишь ощущаться, а потом уже и видеться некий лёгкий туманный свет вокруг его зависшего во тьме тела. Он больше не летел вверх, а парил в лёгкости блаженного зависания. Свет был мерцающим, голубовато-молочным, будто живым, отбросившим страх за невидимую границу безграничности. Становился всё ярче, окутывал собой, ощупывал его тело густеющим ореолом. Разглядывая этот свет, он осознал, что трагедия безысходности начала покидать разум, уступала место сначала слабому, но всё нарастающему покою, надёжности. И любви... Личной, направленной к его одинокому сердцу, любви. Потому что это чувство трудно спутать с каким-то иным, если оно вдруг приходит...

Позже он пытался осознать смысл этого сна-видения. Тогда память вновь вернула его к темноте детства, которую он тоже наедине с собой воспринимал как ужас полного одиночества, но лишь ровно до того момента, пока в комнату не входила мама. А когда появлялась, то сразу преобразовывала собой пугающую темь в кроткое, ждущее быть услышанным, а значит, принятым существом. По сути своей это было обычное отсутствие света, с лёгкостью менявшее свойство с пугающей тайны на тайну... благу. И становилось вовсе не страшно, хотелось посидеть в ней подольше. Не двигаться. Но с одним неизменным условием: чтобы рядом была мама.

И когда Бог пришёл к нему во сне Своим Светом, он осознал, что самый глубокий страх уходит от одного лишь прихода в его область Того, кто безмерно сильнее и мудрее страха. В детской жизни это была мама. Теперь — Бог.

...Мама просто не могла тогда дать ему знание Бога. Семья была неверующей, в той стране, в которой мы все выросли когда-то. Но милосердию научила именно она. Это желание проникнуть в боль и чувства другого тоже родилось ещё в раннем детстве рядом с ней.

Как-то под Новый год наряжали они с мамой ёлку. Достали игрушки из заветной коробки, развесили их все, кроме двух, которые оказались разбитыми. Обычное дело! Стекло ведь так хрупко! Но шапочки с петельками и усиками проволоки оказались целы... Тогдашний мальчик Серёжа рассудил вслух очень разумно, по-взрослому, поднимая с картонного дна крупные тончайшие осколки:

— Ну их-то мы вешать всё равно не будем, а выбросим. Пусть полежат пока в сторонке.

И вдруг мама сказала:

— Серёж, а ты только представь... Они же целый год... праздника и нового года ждали! И мы их не повесим? И выбросим?

Он поразился тогда, детское воображение быстро поменяло местами две непохожие величины: себя и разбитые игрушки. Мысленно это он тут же лёг осколками на самое дно и ощутил ненужность. Томление напрасного ожидания сказочного праздника. Нет, это несправедливо. Так нельзя с теми, кто сломался, разбился, потерял форму, утратил содержание. Что-то можно сделать? Собрать, соединить? Спасти...

С тех пор, не обманутые ожиданием и клеенные аккуратно для продолжения хрупкого своего бытия, висели эти две игрушки на ёлке в самых видных «почётных» местах. И были самыми любимыми, потому что самыми «живыми» и... «жалостливыми».

Жаль, наше время внушило нам рациональную мысль, что старые вещи не нужно чинить или налаживать. Их теперь с радостью выбрасывают, ничуть не жалея. Наверное, с этим мы потеряли мудрую бережливость предков, которые продляли «жизнь» любых служивших им верой и правдой предметов, одежды, посуды. Передавали их друг другу по наследству, чтобы не прервать внутренней связи молодости со зрелостью, зрелости со старостью. Ведь всё на свете ветшает, теряет былую красоту и значимость. Но уважение к вещи было важной чертой воспитания.

Когда батюшка рассказывал о маминой чуткости в этом моменте детства и о том, что могли «ощущать» стеклянные игрушки, то предупредил:

— Сейчас плакать буду.

Но после «почётных мест» так заразительно захохотал, что слёзы мгновенно спрятались. Он всегда с тёплой нежностью говорит о маме. Очень тихо. Вдумчиво. И добавляет:

— Когда я стал размышлять о том, чему можно посвятить жизнь и кем бы я хотел служить этому миру, то благодаря её наивным урокам доброты ко всему живому и неживому, подумывал о враче или священнике.

Да, кто бы мог подумать, что именно он, их сын Серёжа, стеснительный молчаливый мальчик, боящийся темноты, в будущем приведёт обоих родителей к вере. Что оба они к концу жизни, борясь с серьёзными болезнями, примут одним днём монашеский постриг с именами Кирилла и Марии, как звали родителей самого известного игумена Руси Сергия Радонежского. Что мама будет первой монахиней, упокоившейся в новой монастырской усыпальнице. И, слабея с каждым днём, на грани жизни и смерти дожждётся батюшку из поездки в Европу, куда его пригласили заранее. А он будет переживать всё время: успеет ли вернуться?

Думая об этом вдали от неё, он в какой-то момент уверился: мама всю жизнь жила ради него, очень любила сына и не сможет уйти без его последних молитв рядом с ней. Так и вышло. Он прилетел из Женевы во вторник вечером. А в среду она отошла спокойно и с миром. В гробу при отпевании улыбалась. Это и сёстры заметили.

Отец Кирилл после пострига явил для областной медицины загадку из области реальных чудес. Да и до пострига — тоже. Прошлой осенью батюшка привёз в областной центр отца в онкологическую больницу на срочную операцию. Тот был слабый, жёлтый, хорошо знающий о своём диагнозе и совсем не знающий, чего ждать от врачей. Когда хирург во время срочной операции увидел, что печень больного уже мертва, от неё нет никаких оттоков, он стал вместе с бригадой думать, что делать? Зашивать? Не зашивать? Ждать смерти прямо на столе?

Двигаясь по операционной в разных направлениях, доктор заглянул в какой-то момент в разрез и не поверил своим глазам! Безжизненная печень начала давать от себя тонкие ручейки. Желчного пузыря у больного давно не было, а все трубочки-протоки забиты без просвета. Но печень-то заработала!

Хирург позвал к себе весь состав операционной, показал на чудеса живучести организма и сказал, что за тридцать с лишним лет своего операционного опыта он такого ещё не видел. Неужели это молитва сына? Того священника, что привёз его сюда? Ведь он, зная об операции, наверняка молился об отце? И вот... человек живёт, дышит, хотя всё говорит ему, профессионалу, что не должен жить. Но печень выпускает из себя желчь. И с этим надо что-то делать. Тогда к ней подсоединили три трубки и вывели их наружу. Операция на этом закончилась. Исход был неясен. Николаю Семёновичу было плохо. Он ослаб. Я приходила к нему в больницу, и мы о многом говорили, хотя и это было для него непросто. Среди всего прочего он сказал как-то, что думает о постриге в монашество перед смертью. Не знает, успеется ли? Можно ли ему? Ведь он женат.

Те же мысли носил и батюшка в себе. Когда он через несколько дней приехал, сказал мне в машине у больницы, что хотел бы для него именно монашеского пострига. Думает об этом, но как спросить? Ведь это фактически значит, что надежды на выздоровление совсем нет? Пересказала батюшке наш разговор. Мы поднялись в палату вместе. Говорили все трое перекрёстно. Подбадривали друг друга. И вдруг Николай Семёнович сказал сыну:

— Отец Сергей, я хотел бы принять монашество в условиях своей болезни. Давно об этом думаю, но считаю себя недостойным. Пусть Бог хотя бы желание моё знает и видит. Потому тебе говорю.

Как же мы с батюшкой ярко обрадовались, ничуть не смутив при этом самого Николая Семёновича!

Отца батюшки я тоже знаю давно. Мы вместе ездили в паломничество, и моё место было рядом с ним, впереди на сиденье «Газели». За длинную дорогу можно всю жизнь узнать.

И мы говорили, говорили, слушали на кассетах, дисков тогда ещё не было, православные песни и жития святых.

Потому я приехала на постриг. Всё готовили на четверговый день недели.

Оба они, и отец, и мама, были слабы. Накануне, в среду, Николаю Семёновичу стало так плохо во временной келье монастыря, что мать Пантелеймона не на шутку распереживалась, делая ему уколы и присматривая за ним. Он практически не поднимался. Казалось, слабел с каждым часом. Но по воле Божией постриг был совершён над ними двумя в дворовом внутреннем храме Марии Египетской.

Так подробно говорю про это потому, что не сказать не могу... Ведь именно сейчас монах Кирилл вновь лежит в той же больнице, но уже совсем по иному поводу: ему прочищают протоки, чтобы потом присоединить их к печени и убрать трубки. После пострига его здоровье пошло на поправку. И выглядит он как здоровый человек, каким я и знала его всегда. Только вот отцом Кириллом я зову его порой после машинально произносимого имени и отчества. Ещё путаюсь с непривычки.

Тёплым октябрём, уже после операции и пострига он как-то сидел под навесом уличной столярки. Я проходила мимо по монастырскому двору. Он окликнул. Показал на ещё одно свободное кресло сбоку от себя и вдруг без всяких вступлений и приготовлений сказал вот это:

— А ты знаешь, дьявол ведь с первого дня появления на свет Сергия знал, что у меня родится сын-священник, который не только нас, родителей, спасти захочет, но и монастырь для сестёр построит?

Я не стала изумлением реагировать на это заявление, понимая, что сейчас и без того услышу нечто необычное.

— Ох, и поизмывался сатана надо мной! А началось всё в ту самую ночь, когда я жену в роддом отвёз. Отвёз и отвёз.

Пришла ночь, лёг спать. И тут он ко мне и подступил! Вот где ужас! Проснуться не могу, вижу во сне невероятную рожу страха жуткого! Просто неопишемого! Он тянется ко мне, хватается, ревет в лицо, душит. А я двинуться не могу с места, убежать не могу. Только ору в холодном поту. Еле проснулся. Потом, когда жену с сыном забрал из роддома, она мне сама стала говорить, что ночами почти всегда я так во сне кричать начал и биться, что она меня тормошила и будила, чтобы прекратить эти мои страхования. Утром сам ничего особо не помнил, но ночей стал сильно бояться. И спать надо, а как тут спать? И ведь невдомёк было, что власть он надо мной вражескую свою имел по ночам лишь потому, что я не крещён тогда был. Разве думали мы об этом? Жили и жили. И так продолжалось двадцать шесть лет! Представляешь? Двадцать шесть! Пока Сергей дьяконом не стал и не окрестили меня в храме. А после обряда крещения ни разу больше он меня не пугал. Не подступал. Власть надо мной потерял. Но я истинные мучения от него вынес. Веришь? Как же я спать боялся! Хотя армию прошёл и никогда ничем напугать меня нельзя было. Я ж шофёр: ночь-полночь, а едешь по солдатским делам. Вот так-то! Это сейчас я такой умный и думаю: вот он почему так лютовал надо мной! Выходит, ведомо ему было о Сергии?

Киваю головой. Конечно, ведомо. И радостно мне вдруг оттого, что сила Божия в сто крат сильнее силы тёмной! Что Свет истинный изгоняет тьму, а она есть лишь отсутствие Света. И ничто иное. И что во избежание тьмы нужно впустить в себя Свет.

Служил по юности отец Сергей в Заполярье. В жёстких погодных и солдатских условиях. Морозы, холод, чужие люди кругом, строжайшая дисциплина, техника, физические нагрузки. Истинное мужание. Родных нет и не будет ещё долго. Батюшка вспоминает, что именно так молодой ещё человек, вчерашний мальчишка, начинает сам плыть, без поддерж-

ки кого-либо, учиться выживать, становиться по-настоящему взрослым, потому что появляется ответственность за себя и других. А главное — он начинает серьёзно и глубоко думать. Во всяком случае, к нему это пришло именно в армии.

Постепенно начиналось в стране некое потепление в области веры, шла неожиданно мощная подготовка к празднованию тысячелетия крещения Руси. Отслуживший и вернувшийся из армии парень устроился работать на завод художником-оформителем. Жил он тогда в Гае, молодом рабочем городке, что недалеко от Орска. Считался по роду деятельности и традиции человеком парторга. Но спокойная и уединённая работа и здесь позволяла размышлять. А вот литературы никакой духовной не было. Совсем. И поэтому первую информацию о Боге он получал из библиотечки того же парторга. Антирелигиозную, естественно. Таскал книги оттуда. Читал и переводил плюсы на минусы в православии и христианстве. Прочёл и про индуизм, и про буддизм, и про мусульманство. Было интересно. Совсем не то и не о том, чему учили в школе, что говорилось по телевидению и писалось в прессе. Это была совсем иная область знаний. В бытовой обыденной да и рабочей жизни ничего из надмирного и слыхано не было. Но он понимал, раз об этом пишут в особой партийной литературе, надо узнавать самому как можно больше. Всё, что попадалось о вере, тщательно выбиралось им и почему-то волновало, тянуло к себе необъяснимым зовом.

— Слава Богу! — произносит батюшка. — Это Он Сам, видимо, не пускал меня никуда, и потому я ни в какую сомнительную сторону не пошёл. А уходили и терялись тогда многие.

Да, если припомнить, первая псевдодуховная литература появилась в книжных магазинах и на уличных развалах в перестроечные годы гораздо раньше церковной. Её было просто море, шквал. Дешёвая по цене и доступная, она потоком текла

откуда-то и тащила в себя многих, кто начинал думать не только о существовании видимого и осязаемого мира.

А первую в жизни библию человек парторга купил позже, отдав за неё буквально ползарплаты. Настоящие духовные знания имели иную цену.

Из церквей была открыта тогда в городе лишь одна Покровская. Но он ни разу не был в ней. Читая всё подряд, будущий отец Сергей попал как-то в баптистскую церковь, прихожанкой которой была одна из родственниц его жены Наташи. Видя поиски молодого человека, та сама позвала его однажды с собой на беседы. Он приехал в старый город, посидел на собрании, потому что богослужения как такового не было, а было лишь обсуждение текстов, что походило именно на собрание. Никаких впечатлений, захвативших собой, не ощутил. Сердце никак ни на что не отозвалось. Когда они возвращались по улицам назад, направляясь на автовокзал, он вдруг спросил, не знает ли родственница, где тут находится православный действующий храм? Он оказался совсем недалеко, попросив прощения, что оставляет женщину одну, молодой человек решил всё же зайти в церковь, а встретились бы они уже на вокзале, чтобы вернуться вместе в Гай.

Когда он зашёл в православную Покровскую церковь, то тоже ничего не понял. Не понял, но... почувствовал! Нечто неведомое, тёплое и щемящее заполнило его сразу, до краёв души. Описать свои ощущения ему бы не удалось, потому что растерянный ум молчал. Лишь душе было «понятно»: здесь Бог. И больше никуда не хотелось.

— Я дома, домаааа! — ликовалось внутри. И радость была такой реальной и яркой, что всё иное собой стёрла за несколько минут моего там пребывания, — вспомнил батюшка. — Там всё было наполнено Богом... Хотя я вошёл в пустой храм. Там никого не было.

Вскоре он узнал, что в Орске, на Преображенской горе, собралась инициативная группа людей, совсем обычных мужчин, которые задумали восстановить одиноко стоящую тут колокольню. Она виднелась отовсюду неким негласным символом старой части города. Кто называл её сторожевой башней, кто колокольной, кто остатками крепости. Люди уже не очень помнили, зачем она высится тут, закрытая, заколоченная, с заваренными металлом окнами.

— Я приехал сюда, нашёл их. Мы познакомились. Ребята обрадовались, что я художник. Это могло пригодиться позже. А пока, получив разрешение на реставрацию башни, начали просто очищать от грязи. Метр мусора пришлось снимать.

И называли они её тоже между собой именно башней тогда. Но дальнейшие планы были всё же на то, что тут будет небольшая церковка.

— И первую свою икону я написал именно для этой башни, чтобы понятно стало, что это будет культовое здание. Эта иконка была вставлена в нишу над входом. Потом уже поставили крест большой деревянный. И как-то мы все сдружились, стали вместе строить планы. Здорово, что такие люди были. Были и есть. С них вот так незаметно и начиналось всеобщее возрождение православной Руси.

И батюшка называет Юру Сураева, Сашу Костенко. Они тогда стояли у самых истоков. Были лидерами настоящего и нужного всему городу дела. Здесь состоялась и первая встреча у батюшки с будущим другом-священником отцом Олегом Топоровым.

Я прошу поподробнее сказать о моменте их первой встречи, потому что помню, уважаю и до сих пор люблю отца Олега, а тогда — тоненького молодого человека с умными внимательными глазами. Тоже жадно ищущего какого-то иного смысла, кроме смысла житейского. Почему этим немногим ребятам

было его тогда мало? Потому ли, что страна, как корабль в волнах, резко разворачивала курс жизни к иным целям и к иным смыслам? И чтобы не сломаться внутри себя, чтобы стоять прямо на этом крутящемся судне, нужно было для души какое-то святое и благое дело? Не в угоду текущему времени, а идущему дальше и выше? К надмирному и вневременному? Видимо, так и есть. Именно на этой так называемой «первой волне» этого беспокойного моря появилось у нас в стране и первое «горячее» священство.

А тогда они приходили на гору, трудились вместе, убирали «мерзость запустения», а на службы начали ходить в Покровский храм, что стоял внизу, если спуститься с горы на одну из улиц. Состоялась и первая встреча со схиархимандритом Серафимом (Томиным). Хотя он жил в Оренбурге, ребята стали ездить к монаху, советовались, брали благословение. Думали вместе, что и как делать. Решили, например, эту колокольню внутри расписать. Орские ребята тогда приехали в Гай и попросили директора завода отпустить художника на благое дело с сохранением заработной платы, чтобы за зиму он мог преобразить колокольню. Там тогда негде было жить, на этой горе. Просто стояла на территории железная будка от машины, кем-то привезённая хоть для какого-то укрытия. Там он иногда и ночевал, если зарабатывались допоздна. Варили еду на костре и трудились, трудились. Святой безумный подъём души требовал подвига. Была уверенность в значимости дела. Бог давал силы. Они их чувствовали безошибочно.

— Если бы Христос пришёл к нам тогда, как к рыбакам, и предложил оставить всё и следовать за ним, мы бы все пошли. Такое состояние было. До росписи колокольни ещё первая служба на горе прошла. На Святителя Николая. Это был 1992 год. Помню, из музея нам дали на время колокола. Мы их повесили наверх. И митрополит Леонтий благословил, чтобы

крестным ходом священники из Покровской церкви шли и поднимались вместе с людьми, а потом служили литургию. За одну ночь, я помню, мы поставили иконостас из ДВП. Дьяконскими воротами стали белые простыни. Я на них сухой кистью нарисовал архангелов. Царские ворота сбил. Это были сутки непрерывной работы! Без сна и отдыха. Когда приехал отец Серафим и начал всенощное бдение, я уже просто падал в обморок и заснул мёртвым сном. Ничего не слышал. И невозможно было разбудить.

А на следующий день стал свидетелем первого после революции крестного хода по городу. Наблюдал его Сергей с высоты колокольни, потому что был при первой службе и первым звонарём. Звонить никто вокруг, равно как и он, не умел. На музейных колоколах болтались верёвки вместо медных языков. И звонить пришлось ему, привязав железки-болты самым простым перезвоном: «С нами Бог. С нами Бог. С нами, с нами, с нами Бог». Так и отзвонил, как мог.

Крестный ход растянулся по старому городу, по его улицам. Поднимался на гору неспешно. С достоинством, о котором давно было забыто. Священники старенькие и прихожане Покровки, согбенные бабулечки и деды с бородами, жители окрестных домов — всё это двигалось к уже начавшей дышать новой жизнью Преображенской горе, где когда-то до революции красовался чудесный, так называемый «купеческий храм», от которого остался лишь один стержень башни, оказавшейся вовсе не башней, а церковной колокольней. Да не какой-нибудь, а исторически и духовно весьма значимой! Ведь деньги на строительство её дал в Петербурге святой Иоанн Кронштадтский когда-то. Потому, скорее всего, и выстояла она сквозь все «вихри враждебные», чтобы стать в своё время символом возрождения веры в городе.

Сейчас, глядя на гору, в это трудно поверить. А сколько

красивых храмов ещё выстроено! Но тогда это первое людное событие было волнующим и знаковым.

В зиму Сергей стал расписывать храм, а в Покровской церкви его пригласили петь на клирос. Вместе с бабушками. Он припоминает это с улыбкой:

— Однажды приехал из Гае один знакомый человек по какому-то делу, зашёл, увидел меня, дождался, когда освобожусь, потом подошёл и участливо спросил, заглядывая в глаза: «Серёжа... Ты что? Заболел..?» Ему это, видимо, было дико! Гае — совсем молодой город. Современный. Там никогда не было и не могло быть храма. Даже этой темы не было. И вдруг молодой художник, который модно и со вкусом одевался, любил красивую одежду, стоит с бабушками, поёт что-то церковное, из прошлой жизни, «отсталое»...

Отец Серафим тогда руководил уже его духовной жизнью. И приезжал к нему обычно по зиме Сергей в модных джинсах, в дублёнке, в спортивной шапочке. Вся молодёжь так носила. Но однажды старец взглянул на него как-то странно, будто размыслив о чём, и произнёс:

— Серёжа, какая у тебя детская шапочка. Несолидная. Это не дело. Погоди... Сейчас я тебе принесу другую шапку. Солидную. Моего папы.

Отцу Серафиму тогда было, наверное, лет семьдесят пять. В уме Сергей быстро прикинул, а сколько же лет было папе? И, соответственно, шапочке? Внутри всё замерло. Ожидал с опасением. Старец вскоре вышел и вынес, неся любовно, цигейковую шапку-ушанку. У неё от времени уши как согнулись, так уже и не сминались, торчали в разные стороны, и с двух сторон свисали... тряпочные верёвочки! Она была изъедена молью, и в некоторых местах чёрный цвет сквозил предательской крашенкой. Блёклой желтизной. Спортивную шапочку монах конфисковал, сам надел на остолбеневшего парня «солидную» папину и остался доволен:

— Ну вот, теперь ты стал гораздо солидней. Благословляю — носи!

— И я появляюсь в Гае в этой шапке... А ещё у меня уже щетина, которая пытается стать первой бородкой... Представляешь картину?

Мы оба смеёмся, но батюшка говорит сквозь теперешнее весёлое понимание тогдашнего воспитательного момента в послушании, когда ему вовсе не было весело. В таком сочетании одежды его вид вызывал в городе сочувственные или насмешливые взгляды. Так смотрят на местных дурачков....

— По Гаю, конечно, скоро поползли слухи среди знакомых и одноклассников: Серёжа болен. Как жалко... А я всю зиму так и проносил эту шапку. По послушанию.

А заодно это была ещё школа по изживанию стеснения. Жёсткая, но действенная. Хотя понял он это гораздо позже. А тогда страдал, но послушания с себя не снял. Выполнял его у всех на виду.

— Где-то в это время к нам на гору пришёл бывший военный, теперешний милиционер, будущий мой друг и первый священник. Это был Олег Топоров. Зашёл однажды просто, проходя мимо, потому что лишь делал вид, что утром уходит на работу. А вот уже несколько дней там не появлялся, мучительно осознавая, что больше не может заниматься не своим делом. Откуда было знать тогда молодому милиционеру, что его дело уже ожидало с ним встречи именно на горе Старого города? Что и готовилось для него и уже расписывалось место его служения, которому он ревностно будет отдавать всю свою изголодавшуюся по настоящему делу душу.

А в тот день он несмело вошёл в двери колокольни, внутри которой высились леса, а со стен смотрели лики написанных художником Сергием святых.

— Он постучал в двери. Я был внутри. Смотрю, входит молодой худенький милиционер. И говорит мне:

— Вы Сергей?

— Я.

— А я милиционер. Можно сказать прихожанин. Там у меня пятнадцатисуточники есть. Может быть, чем-то помочь надо? Могу их привести. Только за ними присматривать необходимо.

Так они и познакомились. Милиционер стал приходить часто. Вместе начали и к отцу Серафиму ездить. И через полгода уже отец Серафим благословил бывшего военного офицера, а ныне блюстителя порядка, тяготившегося не своим делом, рукополагаться во священника. И стал он отцом Олегом. Человеком, который и меня, грешную, обратил к вере. Он меня крестил полным погружением. Ему были мои первые исповеди, из его рук — первая чаша причастия. Благодарность моя ему потому безмерна. Спаси вас Господь и — многие лета, отец Олег!

А тогда «новорождённый» священник очень переживал, что он стал священником, а не Сергей. Ведь не он пришёл сюда, на гору, первым. И это его смущало. А будущий отец Сергей ему в ответ, чтоб не переживал:

— Ничего. Я у тебя дьяконом буду! Богу служить на любом месте — счастье.

Так они искренно и думали. Так они свято и верили. Так и стало. Ведь Господь не оставляет Своих. И на искреннем пути к Нему не бывает поражений! Вдвоём продолжили потихоньку да с Божьей помощью и добрых людей ежедневно восстанавливать «гору». Среди недели помощники работали на основных местах. А дел было много — невпроворот. И Сергей совершил безумный с точки зрения здравой логики поступок: уволился с завода. С тогдашней зарплаты под пятьсот рублей, что считалась вполне нормальной, ушёл сюда, к колокольне-храму, на... двадцать пять. Во сколько это раз меньше, он даже никогда почему-то не считал, хотя были уже на его попечении нерабо-

тающая жена и ребёнок. Не было квартиры, не было достатка, но зато были такие силы, решимость и уверенность, что они не пропадут. Не могут пропасть. Что Бог не оставит, и он правильно принял это решение.

— Отец Серафим нам тогда сказал: «Деточки, вспомните мои слова потом. Сейчас вы пошли в нищету ради Христа. Придёт время, когда Господь вам за эту искреннюю жертвенность даст в три раза больше: у вас будут и дома, и машины, и много детей. И всё у вас будет». А моя семья жила в Гае на квартире. Мы по счёту девять их сменили до своего жилья. А я вообще жил практически в машине, потом в домике на горе. А до машины какое-то время летом на открытой площадке колокольни спал. Купол ещё не возвели, после работы я забирался наверх, расправлял свою нехитрую постель из матраса и ложился лицом в звёзды. А они были надо мной, слева от меня и справа. И за головой. Кругом было сплошное звёздное небо. Как купол. Вот тогда окончательно и прошли мои страхи темноты.

Восстанавливая тогда колокольню, они все уже подумывали о настоящем храме, ведь колокольня — это колокольня. Там всё же тесно. Где-то раздобыли деревянный брус. И стали поднимать небольшой храм. Снова нужно было сооружать иконостас, писать иконы, делать царские врата. Уже столярка была, и диаконские врата тоже делать самому пришлось. Всё как-то осваивалось постепенно. Приобретался навык.

— И вот, — продолжает батюшка, — пилю я брус днями, долблю прорезы для укладки брёвен, а отец Олег ездит по предприятиям, сам просит на храм пожертвования. Я приготовлю всё, он приезжает и помогает поднять эти брёвна, уложить в гнёзда. Вот так мы и строили. Помню, что до того трудились, что вечером сядем ужинать, а руки дрожат от напряжения, как у алкоголиков от похмелья. Чашку невозможно держать, она ходуном ходит.

Нам чуть позже пожертвовали ещё сруб, чтобы в зиму было где жить, в машине ночевать холодно было уже. На колокольне — тем более. И вот, когда мы стены собрали и крышу сделали, был уже ноябрь месяц. Отец Александр Куцов нам освятить его приехал. Осветили. Остался ночевать в нём. Проснулся утром, ещё не совсем рассвело. Холодно... Посмотрел, а вода в ковшике, оставшаяся от освящения, не выливается — льдышкой стала. Сквозь щели свет фонарей видно.

Так мы и жили. И всё же радовались, когда что-то новое для храма появлялось. Как дети. Такая радость чистая была! Вот пристрой к колокольне за следующее лето осилили — уже почти храм. Как не радоваться! А осенью он сгорел...

От неожиданности я вскрикиваю:

— Как... сгорел?

— Дотла...

— То есть... совсем? Почему? И что же?

Мне и самой странны свои вопросы. Припомнила всё, потому что жила много лет в ста шагах от строящегося храма. Но ещё не пришло моё время тогда войти внутрь. И потому на пепелище я даже любопытствовать не ходила, когда случился пожар. Лишь пустота да чернота со стороны огорчали. Помню, что было жаль людских трудов. Ведь то, как трудились там, я видела... Каждый день с работы на гору мимо поднималась.

— Мы тогда были совсем безумные, а оттого, видимо, немножко святые были, — тепло говорит отец Сергей. Помню, ходим по пепелищу, у нас почему-то рот до ушей, никакой скорби, поём молитвы. А люди вокруг стоят, смотрят. Вроде поплакать даже пришли с нами, посочувствовать. И, глядя на нас, говорят: мол, дураки вы, что ли? Весь труд за одну ночь ваш пропал, а вы поёте. А мы отвечаем: значит, новый храм построим, большой. Господь нас не оставит. И после пожара начали служить прямо в сгоревшей колокольне. Пропустили,

помню, лишь одну литургию всего. А потом стали служить, служить всё время.

Я тоже помню одну из этих служб. Скорее всего, свою самую первую. Пришла, встала в уголочке. Народу много. Стены чёрные, росписи тоже сгорели, пахнет гарью, в горле першит. Иконостаса нет, вместо него лишь перегородка, но отец Олег служит так истово, трепетно, что слёзы хлынули.

— А моя задача была буржуйкой протопить колокольню, чтобы не замёрзли люди и отец Олег. Топил углём, люди приходят, щурятся от дыма, но стоят, претерпевают, молятся. Дверь откроем, чтобы проветрить, всё тепло разом выдувает. Холодно. Служили в валенках. Ризы священнические прямо поверх курток надевали. И мечтали уже о большом настоящем кирпичном храме. Вот бы найти чертежи прежнего! Было бы здорово! Друзья решили отправить меня в Петербург, в синодальный отдел, чтобы поискать там чертежи именно этого храма в проектном хранилище. Поехал. Это теперь легко сказать. Господи, а тогда... как поехал-то!

И вспоминает мой отец Сергей со вздохом, какие же они в те времена нищие были! Наскребли денег лишь на билеты. И чуть-чуть на руки. Он помнит, что не хватило бы даже на гостиницу. Потому, поработав днём в архиве, он возвращался на ночь в аэропорт, чтобы переночевать на сиденье. Никаких знакомых в городе на Неве не было.

— Однажды иду по Петербургу... Холодно. Зайти погреться особо некуда. Поесть толком не могу нигде. И решаю купить билет в кино, чтобы там просто в тепле посидеть и поспать. Потому что там темно, там нет дождя и там тепло. Поспать, конечно, не удалось — кино какое-то громкое попало. Но я хоть часа полтора погрелся. И то радость была.

Тогда в первый раз он поехал к Ксении Блаженной. На Смоленское. Уже в день перед самым отъездом. Добрался, когда уже

вечерело. Кладбище ещё не закрыли, но часовня была затворена. Никого вокруг. В его руках — пусто, все нехитрые вещи оставил в камере хранения. Лишь билет обратный и паспорт в кармане. Идёт по кладбищу, пробирается между могил, а от часовни человек какой-то вдруг начинает кричать:

— Как жалко! А? Как жалко! Так издалека ехал и опоздал! Как жалко! Пятнадцать минут назад закрыли!

Батюшка говорит, что тогда точно начал в удивлении соображать: откуда кричащий знает, что он приехал издалека? Чемодана в помине нет. А в ответ на мысли вот это:

— Надо же! С самого Урала ведь ехал! И опоздал! Пятнадцать минут назад ведь закрыли!

Да он уже и сам понял, что в часовню к святой Ксении Блаженной попасть не случится. Досадно. Но что делать? Кричащий мужчина шёл к нему от стены часовни. Они познакомились.

— Но ты не переживай, — сказал непонятно откуда взявшийся здесь человек. — Не переживай. Подойди к алтарной стене, коснись её лбом и проси у Ксении, чего хочешь. Она услышит. Вот увидишь. И всё исполнит.

Так и сделал бедный «командировочный». Стал к стене. Лбом коснулся шершавой поверхности штукатурки и сказал:

— Святая Ксения Блаженная, если есть на то воля Божия, помоги мне стать священником. Если это не гордыня, если я Ему нужен, то помолись обо мне. Попроси Христа.

Молюсь. А человек сердобольный в сторонке стоит. Потом мы с ним ещё чуть поговорили, попрощались... Он уже повернулся и пошёл. Метрах в пятнадцати от меня повернулся. Вижу, что заплакал он и говорит мне, чтобы я каждый раз сюда приходил. Не забывал Ксению. Сам он уже три года ежедневно к часовне ходит. Теперь на своих ногах, а до того много лет к инвалидной коляске был прикован. Потому что инвалид детства...

Потом батюшка пытался найти того человека, расспрашивал о нём у многих, у служителей кладбища. Но никто его припомнить так и не смог. Загадкой для него эта встреча тогдашняя осталась.

Были эти поездка и встреча в ноябре. А после крещения, где-то в феврале, благословил владыка Валентин тогдашний рукополагаться ему во диаконы. Заехал Сергей и к отцу Серафиму. Как есть: в дарёной «солидной» шапке. А тот вдруг снова внимательно приглядывается, с прицелом, и изрекает, что шапка, мол, хороша, и это бесспорно. А вот дублёнка коротковата и не годится никуда.

— У меня есть пальто... Оно гораздо солиднее. Моего папы. Сейчас принесу.

Опыт с ушанкой был. Воображение не могло обмануть. Ожидалось продолжение... благословляемого внешнего юродства. Сердце Сергея просто замерло в ужасе. Всё, теперь его точно нарекут сумасшедшим. И это безнадежно. Между тем старец вынес пальто, глядя на него с неменьшим благоговением.

— Вот, Серёжа, и пальто тебе. Носи. Благословляю...

— Господи! Такое только на Мосфильме найти можно было для съёмок исторических фильмов про нищету или войну: тяжёлое, из сурового сукна. Пуговицы — размером по пятаку в два ряда. И в них — по четыре дырки с нитками крест-накрест. Для прочности.

Моль пальто это давно считала своей кормовой базой. И теперь возмущённо взлетала от прерванной трапезы. Цигейковый, под стать ушанке, воротник тоже давно забыл о своём тёмно-синем цвете, рыжина придавала ему ещё более жалкий и нелепый вид, — вновь весело хохочет батюшка.

— Дублёнку он с меня снимает и сам помогает войти в одежду юродства, приговаривая:

— Ой, как ты теперь солидно выглядишь! Совсем другое дело, Серёжа. Мне нравится. Культурный взрослый человек, а не кузнечик какой.

И добавляет батюшка уже сказанные выше странные, но истинные для тогдашнего состояния слова:

— Вот правда, святое безумие тогда в нас было, видимо. Если бы он сказал совсем без верхней одежды ходить, мы бы ходили. Я думаю, может быть, Ксения Блаженная тоже помогала мне в этом?

И вот вызывают его на рукоположение в собор. В Оренбург. А он приезжает в таком виде, как отец Серафим облачил. И ещё... На рукоположение нужен был первый подрясник. А тогда и тканей даже не было подходящих. Нашли в городе своём ещё до поездки некую швею. Как сказано было — высшего пилютажа, чтобы успела сшить и не испортила ничего. Вместе с отцом Олегом к ней пришли. Священник показывает портнихе на своё облачение, спрашивает: можно ли срочно такое же сшить? Мастер отвечает им двоим с достоинством:

— Ребята, я свадебные платья любой сложности крою и шью, вы чего меня смешите? Неужели такое не смогу?

— Сняли мерку, оставили заказ. И приехали уже за ним в тот день, когда в дороге собирались. Заказ был готов... Я, будущий диакон, с внутренним радостным нетерпением пошёл надевать подрясник. Надел... А как взглянули на результат... замолчали от неожиданности. Мы молчим, и она молчит, потому что рукополагаться в этом нельзя. Никак нельзя. Пояс опущен, проймы рукавов тесные и высокие. Сшитый подрясник был весь несуразный и тесный. А времени на новый не было. Уже пора ехать.

То есть моё юродство продолжалось, шло дальше. Представь, являюсь я к отцу Серафиму в папиной шапке, в папином пальто, раздеваюсь и предстаю в непоторебном подряснике для

завершения полной картины! Сам в ужасе! И тут сам Серафим глянул и расплакался:

— Ребятки, вы ж меня опозорите. Ему завтра читать шестопсалмие. Впервые на службе в соборе, выходить к людям. Как же он выйдет? На посмешище?

Жила у отца Серафима в доме его двоюродная сестра, старенькая монахиня Ксения. Болела сильно. Но вытащили они с отцом Серафимом все свои тряпочные запасы, все старенькие подрясники латаные-перелатаные. Нашли один, летний лёгкий подрясничек, который был будто как раз по ширине, но по росту не подходил. И эта монахиня Ксения... Ксения ведь вот снова... За одну ночь на руках надставила этот коротенький подрясник. К рукавам новую длину прибавила. И пришёл будущий диакон на рукоположение в областной богатый собор в синем пальто с рыжим воротником, в шапке с торчащими ушами и летнем подряснике.

— Помню, — говорит батюшка, — я даже среди молящихся прихожан и то выделялся тогда, когда встал помолиться. Потом в алтарь надо было зайти, доложить, что прибыл. И готовиться как ставленнику по традиции читать завтра шестопсалмие на службе. А у меня ещё один комплекс: очень стеснялся людей и говорить там, где их много, совсем не мог. А тут мне надо в Никольском соборе на людях большой текст прочесть на церковнославянском. Да ещё какой: шесть псалмов! Чётко, громко, как положено. Стою перед выходом, страшно очень. Потряхивает даже. Думаю, кому бы помолиться? Ну конечно, Ксении. Молюсь, прошу укрепить, помочь. И удивительно ведь как! Тихо стало внутри как-то само собой. Мир настал, покой. Понимаю, что не боюсь больше. Вышел читать, и будто всю жизнь читал! Зашёл в тёмный угол после чтения, стою, молюсь. И слышу с клироса: всё Ксения да Ксения. Ксению какую-то поминают. Спрашиваю у священника, мол, почему

имя это на службе звучит? А он говорит: сегодня день памяти Ксении Блаженной! Я даже не знал! И тут только понял всё: что полгода назад я ей же и молился об этом! И она исполнила мою молитву именно... в день почитания её Церковью!

Так стал диаконом. Выехал домой, двигаюсь в сторону Орска в том же самом виде. А сам предательски подумываю: хоть бы не встретить никого из знакомых по дороге на вокзал. Нет, не встретил. Слава Богу! Уже стал в вагон заходить, и вот пожалуйста: сталкиваюсь лицом к лицу именно со своим одноклассником. И вижу глаза, в которых всё написано. Взгляд говорил: ну да, всё правда, вот он, бедняга...

По возвращении в город начался новый «крестный путь» молодого диакона. Когда он, не любивший и стеснявшийся взглядов, должен был ходить по улицам в таком странном виде, а из-под «солидного» пальто виднелся ещё надставленный подрясник. Первые полгода, возвращаясь со служб в Гай рейсовым автобусом, он подрясник всё же снимал, чтобы не шокировать пассажиров по вечерам. А когда сторел первый тот храм, почему-то подумал, что больше снимать нельзя. Так и стал ходить всё время. И ездить теми же автобусами.

— Конечно, все пьяные были мои. И все сумасшедшие — мои. Вся ирония — моя, косые взгляды, смешки. Слава Богу! Так Он лечил меня от моих комплексов. И Ксения Блаженная помогала.

А дальше он полтора года отслужил диаконом. За это время подняли за колокольной новый большой храм. Стали в нём служить. Народу всё больше и больше приходило. Встал вопрос о необходимости второго священника. И тут произошёл интересный случай... Отец Олег быстро набирал вокруг себя прихожан, был очень деятельным священником. Диакон Сергей в силу стеснительного характера старался быть как можно меньше видимым. Поехали они в очередной раз в Оренбург к

батюшке Серафиму брать благословение на рукоположение во священники теперь уже Сергея. В доме у старца молодой диакон вошёл в комнатку к сидящей на постели и уже тяжело болеющей монахини Ксении. Она любила Сергея, очень тепло встречала всегда, говорила с ним. Отец Олег пошёл беседовать с отцом Серафимом. А они обнялись с матушкой. Он даже встал на колени, чтобы лучше слышать тихий от бессилия её голос. И как-то так вышло то ли случайно, то ли намеренно, но дверь в комнату, где говорили о нём, не была закрыта. Или открылась сама? Он не знает точно. Только речь из другой комнаты была ему чётко слышна. Хотя он не прислушивался. Это было невольно, случайно... И всё же — прямо каждое слово. Отец Олег говорил о том, что хорошо бы благословить отца Сергея уже для священства, и вдруг отец Серафим произнёс:

— Ну нет! Зачем? Он же шизофреник! Ненормальный!

Он, кстати, частенько так говорил, его любимое выражение было в своём кругу. А с Сергием здесь и сейчас случилась внутренняя трагедия: во-первых, этого он никак не ожидал услышать. А во-вторых, получается, что подслушал и теперь ему надо делать вид, что всё нормально, хотя внутри взметнулись сложные чувства.

—Я зашёл тогда к ним в комнату, извинился, что стал невольным участником такого мнения. Пообещал, что сейчас выйду из дома на крыльцо, чтобы не было дальнейшего смущения. И там, на крыльце, поистине пережил, повторюсь, личную трагедию: как же так? Как же теперь жить дальше? Что делать? Выходит, я правда ненормальный? Шизофреник?

Мозг метался, душа переживала разрыв с дальнейшими задуманными событиями, с людьми, со всем, что могло стать его дальнейшей жизнью. Внутри будто искрил живой блуждающий нерв. И как всегда, на фазе именно самого критического накала сил, вдруг повеяло откуда-то тёплым дуновением покоя.

И в себе он услышал слова, сказанные без всякой трагедии себе самому:

— Ну и ладно! И что? Бог же и шизофреников любит. И всех самых странных и больных. Он вообще любит по-настоящему всех. Значит, и его!

И стало легко. Потому что он это не понял, а вновь ощутил в тот момент. Это его и утешило мгновенно, и окрылило. С крыльца он вернулся в дом. Всё было нормально. Оказалось, что говорившие о нём почему-то тоже... говорили уже именно о рукоположении его во священника. И он не стал это внутри себя анализировать. Решил перешагнуть и идти дальше.

Батюшка стал батюшкой накануне праздника Успения Божией Матери. Ездить ежедневно из Гая на службы было неудобно и тяжело. Семья часто оставалась без него, потому что несколько дней в неделю он просто жил при храме, ночевал в том домике. Остро встал вопрос о переезде в Орск. И удивительным образом вдруг решилась проблема с жильём. Одна женщина приняла решение уехать в Дивеевский монастырь на монашество. Квартиру пожертвовала церкви. Так появилось в семье из четырёх уже человек первое несъёмное жильё. Однокомнатная небольшая квартирка.

Восемь лет батюшка отслужил вторым священником в Преображенском храме. А всего на этой знаменитой горе потрудился и пробыл, выходит, полных десять лет. Вместе с отцом Олегом они начали вынашивать идею православной гимназии при приходе. Собственные дети подрастали, и батюшки стали волноваться об образовании. Куда их отдавать? Стали пробовать сначала нечто подобное домашнему обучению. И на гору стали приходить несколько преподавателей. Отец Сергей сам успел поработать какое-то время учителем рисования у многочисленных тогдашних учеников: у старшего сына отца Олега и старшего батюшкиного — Семёна. Но нашлись люди, которые

дали деньги на строительство православной гимназии. Так она и родилась на горе. И до сих пор стоит.

Планировали её сначала лишь для среднего и старшего звена, но когда уже был выстроен основной её корпус, стали прихожане просить священников и для маленьких детей открыть классы, то есть для начальной школы. Что делать? Всё уже распланировано. Здание выстроено. И тогда родилась мысль о пристрое с одной из торцевых сторон. Место позволяло, отец Олег попросил батюшку подумать о возможности дополнительной пристройки. Шёл он в этот день домой и говорил себе:

— Отец Сергей, думай... Думай.

А потом пришла совсем иная мысль:

— Нет, неверно. Не думай, а молись...

Да, если вступаешь в область духовной жизни, то надо не думать в первую очередь, как мы привыкли, как нас учили, а молиться. Мысль пришла довольно быстро. Он даже вернулся с полдороги назад, вошёл в кабинет к отцу Олегу и предложил выход из положения. Так и родилось нечто вроде «проекта» пристроя. Родилась начальная школа. И, глядя со стороны, никто теперь не догадается, что когда-то её в основном проекте не было. А время строительства я и сама хорошо помню, потому что в то лето уже знала, что из общеобразовательной школы перейду осенью учителем в эту гимназию. Всё было рядом с моим домом. И я стала прихожанкой храма.

Когда на горе всё задуманное было построено, когда отец Сергей ощутил, что подходит время «почивания на лаврах», зародилась мысль о построении храма в центре нового города: на улице Васнецова. Там, за кинотеатром, был большой пустырь, который задумывался как Парк афганцев. Но в то перестроечное время кое-кто уже подверг сомнению важность подвига русских ребят, воюющих в чужой стране, в одной из горячих точек планеты. И потому во время странного безвременья и

переоценки, казалось бы, незаменимых ценностей Парк афганцев мало кого интересовал. Местность зарастала, становилась обычным пустырьём.

— Я согласился пойти на этот пустырь. И первый молебен мы отслужили в траве по пояс. Привезли и поставили вагончик. Стал служить в вагончике молебны. Каждое утро приезжал и молился. А параллельно из брёвен возводили небольшой храмик в честь Георгия Победоносца. За зиму всего мы его и построили. И в мае, в день святого, в храме была первая литургия.

Этот храм — удивительное явление для Орска. Он встал скромно почти в центре города, такой камерный, уютный, золотистый. В нём всегда была какая-то особая тёплая атмосфера. Может быть, от людей, которые собирались вокруг батюшки? Все они были светлые, очень открытые, всегда приветливые. Через полгода служб в бревенчатом храме стало ясно, что все люди не вмещаются. Он мал для тех, кто хотел бы стать частью прихода. Постепенно на территории появлялись постройки, здесь всегда, как ни зайдёшь, былолюдно. Стал сам собой образовываться приходский зоопарк. Люди приносили раненых животных: орлов, косуль, принесли белочек, а потом появились козочки, куры. Всем хватало места, а ребятишки после службы с радостью тянулись к вольерам: покормить, потрогать, шумно поудивляться.

В условиях тесноты сначала встал вопрос о расширении храма. Батюшка приехал к благодетелю, Виктору Васильевичу Горбунову, и сказал, что нужно пристраивать ещё один придел. Но финансовое положение тогда у безотказного помощника было не лучшее, он бы просто не потянул строительство. Извинился. Батюшка огорчился, но, подумав всего минуту, сказал:

— Тогда я продам свою машину и заложу фундамент пристроя.

Так и было сделано. И по утрам его тогда часто видели идущего от Старого города пешком через мост до самой улицы Васнецова. А вечером — обратно. Когда спонсор-строитель увидел это, он отреагировал так:

— Ну ты даёшь. Мне же стыдно. Тогда и я продам свою коллекцию монет.

Этих денег хватило, чтобы появился придел Ксении Блаженной, который в день её памяти и освятили. Места стало заметно больше. Но со временем и его перестало хватать. Опять он не вмещал людей. Нужно было строить ещё больший храм. Да денег на него не было.

С батюшкой всегда находились рядом художники, с которыми он творчески работал уже давно: они расписывали вместе храм на горе, писали иконы для открывающихся церквей. И тут родилась мысль: делать большие и дорогие иконы для русских монастырей, а потом развозить их в дар, чтобы была молитва, чтобы была помощь Божия. Так и договорились. Много работали. А его самого многие не понимали тогда. Суть поступка была непонятна, выбивалась из колеи здравого смысла. Но разве храм — это просто стены и крыша? Разве не место духовной силы, не место для ежедневной Евхаристии, благодарения Бога? И потому есть события, которые не случаются, а совершаются. Вроде бы в определённое время, а на самом деле — в вечности. И мы должны быть не за границами этих сакральных моментов, а словно бы внутри них.

Как хорошо однажды сказал Паскаль: «Распятие Христа длится вечно, и в это время нельзя спать». И у меня такое ощущение, что Бог дал мне встречу с человеком, которому стыдно спать. Он всегда помнит о Христе. Помнит, как коротка может быть человеческая жизнь. И трудится, трудится, трудится. Многие думают: откуда эта ненасытимость делами? Нет ли здесь корысти? Многие думают: к чему поступки, гранича-

щие со странностями? К чему давать повод? Многие думают: сколько можно брать на себя? Не лучшее ли качество — умеренность? Всё верно. С логикой трудно спорить. Но речь не о логике. Помните? О душе...

Не может мир стоять без Бога. Не может жить без Христовой бескровной жертвы, приносимой Им за нас ежедневно в тысячах больших и малых храмов по стране. Христос поистине распинается ежедневно, и благо миру — люди, которые осознают это: одни из них строят храмы, другие жертвуют от себя для этого финансы, третьи приходят возводить по кирпичику Божий дом, а десятки других, являющихся сюда на службу, знают, зачем идут. Для самой главной встречи в своей жизни. И слава Богу, что она состоялась! Но в этой цепочке первым всё же стоит тот, кто... строит храмы. Сначала у себя внутри, потом на заброшенных пустырях, чтобы видел Господь соработничество. И радовался благим помыслам и делам.

Первой повезли икону Иверской Божией Матери в Дивеево. Я хорошо помню этот первый маршрут. Он у меня случился чудесным образом. Прочла книгу о батюшке Серафиме, и загорелась душа: так потянуло помолиться ему. Но на дворе зима, морозы. Шли святки. Про поездку даже не мыслилось в воображении. Книга лежала на письменном столе, и, проходя мимо, я каждый раз просто шептала ему:

— Батюшка, как хочется к тебе...

На четвёртый день моих вздохов в гимназии стали говорить о том, что отец Сергей едет в Дивеево. Да, именно в эти Святые послерождественские дни. И берёт с собой часть ребятишек из старшего класса. Так в поездку попала и я. Там были и мои ребята.

Когда возвращались из поездки, в Самарском Иверском монастыре игуменья Иоанна первой ответила жертвой на новый храм. Она вынесла и вложила в руки отца Сергия свёр-

ток с деньгами. Когда батюшка попытался было сказать, что не возьмёт, потому что тогда этот монастырь ещё сам не был восстановлен в полной мере, игуменья сказала:

— Возьмёшь. Я не тебе даю. Это на твой храм. Матерь Божия даёт. Так и прими, как Её благоволение.

Так вернулось первой отдачей, первым ответом на благой и не понятый многими тогдашний батюшкин порыв, ощущение правильности шага. Следующее крупное пожертвование было из возрождающегося Шамордина, из женского монастыря под Оптиной, куда была отвезена огромная по размерам икона Николая Чудотворца. Ощущение от пребывания в этих святых местах до сих пор возвращается ко мне тёплой памятью.

Помню, что в Шамордино мы приехали весенним вечером. Прошла Пасха. Стоял ранний май, пробивалась кругом в подлесках трава, первые настоящие подснежники средней полосы России я увидела именно там. Острыми белыми макушками они раздвигали прошлогоднюю листву и выходили на белый свет, потягиваясь, поднимая вверх зелёные острые листья. Помню гул проснувшихся пчёл над пушистой жёлтой веткой тальника. А чуть раньше, в Оптиной, пробираясь тропинкой к скиту, стала свидетелем удивительной картины, почему-то весьма поразившей меня.

Из леса были слышны колокольцы, видимо, где-то недалеко бродили коровы. Их передвигающиеся неспешно пёстрые тела мелькали между деревьями. И ещё слышалось какое-то негромкое птичье ворчанье. Оно тоже приближалось. Все мы, кажется, двигались в одну сторону — к скиту, который уже проступал и синел своим забором. Выйдя из-за деревьев, я наконец увидела все источники звуков и движений так близко, что застыла от удивления. На спинах спокойных коров плотными рядами сидели... вороны. Они были довольны положением дел. Негромко судачили между собой, издавая мирные буль-

кающие звуки. Их ничто не пугало, они взмахивали крыльями просто так, словно красуясь друг перед другом блестящими чёрными подрысниками из перьев. И эта картина показалась мне тогда чем-то из области некоего допотопного райского сосуществования пернатых рядом с млекопитающими. И была столь трогательна, что я залюбовалась естественной неспешностью и достоинством движений тех и других. Гармонией сосуществования.

А тогда мы стояли перед воротами Шамординской обители, выйдя из автобуса, говорили друг с другом и ждали батюшку, который, довольно быстро вернувшись, сказал, что в монастыре идёт вечерняя служба пасхальной седмицы и нас просили немного подождать. Игуменье не сообщили заранее, что будет привезена икона, и она должна была испросить благословения духовника. Тот вышел из алтаря и попросил ожидать у ворот, пока идёт вечернее богослужение. Мы и без того послушно стояли и ждали. Икона Николая Чудотворца была освобождена от сохраняющей её ткани и ждала своего срока. Её должны были принять сюда сёстры, выслушать просьбу о молитве. А все мы нуждались в ночлеге, так как дорога была длинной. И в Оптиной принять такую большую группу ещё не было возможности.

Начинало темнеть. И вдруг душистый весенний воздух прорвал высокий и радостный колокольный перезвон. Мы все оглянулись на аллею, что шла вдоль огромного кирпичного храма, и увиделось вот что: к воротам шёл крестный ход. Впереди с хоругвями — молодые, одетые в стихари юноши, два диакона с кадилами, позади них — несколько священников, среди которых выделялся некий седой старец, игуменья с духовником, после — целый ряд сестёр, облачённых в свои чёрные одежды. Ход подошёл к воротам, их открыли, и наши ребята внесли во двор икону Чудотворца. Момент был столь трогательный и торжественный, что у женщин на глазах появи-

лись слёзы. Икона была принята с благоговением. К ней стали прикладываться, как к святыне, понесли в храм. Ощущения эти вряд ли передаваемы словом... Помню, как поразил меня ещё не восстановленный храм, который по своим размерам был просто колоссален! Внутри, от самого входа, шли плотно пригнанные друг ко другу, но ещё не до конца обработанные широченные доски. Удивлению масштабам не было конца. Казалось, что это просто гулливеровские размеры! Поразила высота храма до потолочного перекрытия. Пространства и воздуха было столько, что исчислять и прикидывать в метрах всё это казалось бессмысленным. Мы заказали молебны и требы, вышли во двор. Там быстро стущалась ещё прозрачная тьма, очень хотелось всё рассмотреть, но самое интересное отложилось на завтра, потому что в трапезной попросили помощи. Уборка кухни стала моим самым первым серьёзным послушанием, которое закончилось уже глубокой ночью, практически к утру. Но силы не кончались. Внутри стояла будто иная по ощущениям радость.

Когда батюшка шёл рядом с игуменьей к храму, она спросила его, что нужно сделать? Что должны? Батюшка объяснил, что все мы просим молитв для строительства нового большого храма. Ныне покойная уже игуменья Никона тогда тоже была весьма удивлена, сказала даже, что так не бывает в наше время. И батюшке пришлось убедить её в том, что это как раз такой случай, когда взамен нужны лишь молитвы.

Через полгода батюшке вновь довелось побывать в Шамордине со своим другом священником. Они переночевали и уже собирались уезжать, сели в машину, как вдруг показалась бегущая к ним благочинная:

— Подождите! Мне нужно вам кое-что передать. Это от духовника монастыря.

Она протянула пакет, крестным знаменем проводила их

в дорогу, машина тронулась и отъехала от ворот монастыря. Когда пакет был открыт, оказалось, что в нём очень приличная по тем временам сумма — сто тысяч рублей. Второй священник изумился:

— Отец Сергей, а он тебе кто, этот духовник?

— Никто. Я его видел всего пять минут полгода назад, — ответил батюшка. Что было правдой.

Так потихоньку каменный храм на улице Васнецова рос и строился. Иконы были отвезены и в Петербург, в часовню Ксении Блаженной, и на Карповку, где рака с телом Иоанна Кронштадтского, и в Задонский монастырь. А в Грузию сколько отвозили? Далеко не раз! Молитвами всех сестёр и братьев вершилось в неведомом им Орске строительство нового большого храма, который постепенно становился красивейшим собором с белоснежными оштукатуренными стенами, с множеством золотых остроконечных куполов, похожих на воинов-шлемоносцев, с удивительно красочными и сочными росписями внутри, где всё вписано под купола и вмещено, как в мироздание: и Бог, и Богородица, и святые, и небо, и звёзды, и травы, и цветы, и птицы.

Время строительства второго придела к деревянному храму на Васнецова пришлось на самые непростые перестроечные годы. Тогда как-то особо остро встал вопрос о тех, кто остался за бортом новой жизни, кто потерял и работу, и жильё, и документы. А чаще всего и человеческий облик хоть самого скромного материального благополучия. Тогда же люди придумали для таких краткое, похожее на резкий звук внезапного хлопка, название — бомж. «Человек без определённого места жительства» звучало вызывающе официально и долго, выговаривать эти слова в спешке и погоне за рыночными ценностями более удачливым было некогда да и стыдно. Так и родилось это слово. Проблема осознавалась катастрофически обширной, её

невозможно было спрятать, от неё не удавалось отвернуться, потому что по улицам то там, то здесь встречались эти согбенные от холода и алкоголя тела. А смотреть в чёрные лица и безразличные ко всему, кроме подаяния, глаза было невыносимо. Куда же им всем идти, если не к церкви? Туда и шли, просили милостыню, ждали хоть каких-то продуктов, обычной помощи.

— Меня это, помню, стало очень тяготить, — говорит батюшка. — Сунешь им при выходе по сто рублей, а больше помочь ничем не можешь. Каждый — это масса проблем. И получалось по моим личным ощущениям, что откупаюсь этими подачками. Большого не могу. Особенно зимой это было тяжело. Стал думать и искать, как можно хоть как-то приходящих накормить, обогреть, помыть, дать возможность ночлега. Хотел выпросить у администрации города вагон железнодорожный, чтобы там что-то сделать. Но мне предложили за условную сумму взять на окраине города, в районе так называемой Майки, один двухэтажный дом, который уже определили на слом. Бывшее здание туберкулёзного профилактория, куда направляли на долечивание в основном заключённых и неблагополучных. Дом уже стоял без отопления, без электричества. Окна побиты, всё ценное давно разобрано хозяйскими руками окрестных жителей: не пропадать же добру!

Как раз в это время попросили батюшку помочь одной семье, в землянке которой однажды рухнула крыша, и остались практически на улице пять человек: отец, три дочери и грудной ребёнок одной из этих дочерей. Их не придавило всех лишь по кажущейся случайной причине: ветхий кров рухнул и завис на старом добротном шкафу, и образовалась другая «крыша», в пространстве которой все они и находились. Удивительным было то, что люди продолжали там жить, потому что идти им было некуда. Батюшка приехал за ними сам, забрал и отвёз в аварийное здание. Вот они и стали первыми жильцами его бу-

дущего приюта для бездомных, поселившись в единственной комнате, где были хотя бы стёкла. Туда привезли обогреватель, нашли кровати, восстановили провода. Уже можно было как-то существовать, не опасаясь за жизнь. На дворе стояла весна, замёрзнуть они не могли, но были настолько бедны, что у отца не имелось даже куртки, чтобы выйти на улицу. Да и в помещении ещё холодновато без верхней одежды. Он как-то неуклюже топтался на месте и, глядя на батюшку, произнёс, что не может согреться, мёрзнет. Решить эту проблему быстро оказалось возможным лишь одним способом: отдать свою куртку. Сам уехал домой раздетый.

Эта семья стала старожилами приюта на Майке. Она прожила тут лет восемь. Потихоньку стали на ноги и ушли жить самостоятельно. Слава Богу, что тогда, в момент их безвыходной ситуации, так сложились обстоятельства. Что было бы, случись всё иначе? Удивительно лишь, что по прошествии многих лет, когда этого человека встретил кто-то из приютских на улице и спросил, почему ни разу хозяин рухнувшего дома не зашёл повидаться с батюшкой, тот ответил:

— А зачем? Что он для меня сделал-то?

И как-то комментировать слова эти трудно. Странно. И ненужно. А ещё грустно. И невольно думаешь: а сами-то мы всегда ли бываем благодарны друг другу? Всегда ли осознаём, что помощь любая приходит к нам через людей от Самого Бога. Благодарим ли хотя бы Его?

В этом приюте мне не раз приходилось бывать с батюшкой. Виделся уже вполне налаженный простой быт, работала кухня. Пожертвования из храма привозили сюда и кормили всех горячей пищей. Двенадцать лет было отдано сюда усилий и трудов отцом Сергием. Даже храм в честь Елизаветы Фёдоровны со временем был освящён, и я была там на службе, стоя перед чудесной её иконой, написанной нежными красками. Сестра

самой императрицы когда-то тоже занималась теми, кто нуждался в лечении и помощи, основала знаменитую в Москве Марфо-Мариинскую обитель, пока не была сброшена живой большевиками в шахту Алапаевска.

Первые годы, когда приют открылся, в городе не было больше никаких социальных организаций для помощи обездоленным. И здесь, на Майке, жило уже около ста человек. Кровати высились в три яруса. В коридоре — то же самое. В отдельных комнатах разместились женщины, которых тоже было довольно много. Хотя основная категория проживающих — всё же мужчины. Здесь были безрукие, безногие, неходячие, с отмороженными частями конечностей. Здесь болели и умирали. Умерших отпевали и хоронили за счёт приюта. Здесь крестились и венчались те, кто хотел и был способен создать семью. Здесь играли свадьбы, поставив во дворе столы и танцуя под гармошку. Удивительно, что в приюте, где сто человек алкоголиков и наркоманов, свадьбы игрались тогда безалкогольные! А ещё странным было то, что первые годы становления люди практически не срывались в пьянство. Это стало происходить гораздо позже: на шестом, седьмом году жизни. Конечно, здесь со временем рождались дети. Их одевали и покупали питание. И тоже крестили. А ещё в телах насельников жили болезни, о которых даже страшно говорить и думать. Особенно теперь, задним числом. Батюшка удивляется до сего дня только одному, как при такой скученности и разных болезнях не случилось самого страшного, что могло бы быть, — никакой эпидемии? Но тогда это был бы резонансный скандал. И тюрьма... Это Бог миловал. И в этом даже не приходится сомневаться.

Чтобы получить хоть какую-то теоретическую помощь и ценные нужные советы, батюшка отправился в Москву, в ту самую Марфо-Мариинскую обитель, которая уже была возрождена и действовала. Тогда ему сказали там слова, над ко-

торами он даже не задумался, когда брал заброшенное здание и селил туда первых бездомных:

— Батюшка, вы взялись за самое трудное на свете дело: социальное. Сложнее не бывает. В него вкладываются огромные силы, но отдача хотя бы в виде понимания и сердечной благодарности или полного изменения жизни подопечных... На это даже надеяться не нужно. Её не будет. Поезд идёт практически во всех случаях в одном направлении, по одним рельсам. Только туда...

Ну что ж... Это факт. И берущийся за дело рано или поздно осознаёт, сколько потрачено сил без отдачи.

Почти все собранные в одном месте люди страдали недугом пьянства или наркомании. Бывшие заключённые, освободившись из зоны, играли в карты, дрались и ссорились, особенно если проносили в приют водку или самогон. Батюшке часто звонили по ночам, что в приюте очередная драка, доходившая порой до поножовщины. И он ехал утихомиривать, увещевать, успокаивать. Матушка Наталья, провожая его у порога, крестила молча, не зная, когда он вернётся. Что ожидает его там в очередной раз?

— Два раза я привозил домой вшей. И вся семья, включая мою матушку, брилась наголо. Лишь я оставался почему-то переносчиком и только. Помню, как-то приехал к утру домой после очередного вызова и разборок с пьяными, захожу в комнату, а на кровати — матушка моя. Бритая наголо. Вокруг неё трое деток спят, прижавшись лысыми головами друг ко другу... Мне так их жалко стало... Вид, как у узников Освенцима. Сейчас вспоминаю, сам удивляюсь: она меня отпускала. Она не роптала.

Я ведь и несколько лет новогодние ночи проводил с ними как массовик-затейник! Мы ставили ёлку. Делали концерты. Сам пел, только что не плясал. Конкурсы проводили для них

там, готовили праздничный стол, чтобы их всех как-то обогреть вниманием. Правда, удивляюсь с уважением, как матушка моя всё вытерпела? Только крестила и ждала. Дааа... А было всё равно нечто святое в этом неблагодарном труде. Настолько был близок Бог, что прямо ощущался... Представляешь, как я с ними справлялся? Я и орал, и устраивал истерики, водку отнимал и выливал, ножи отбирал, уговаривал, грозил...

Батюшка качает головой, будто сам удивляется всему, что прошёл:

— Чего только не было! Однажды они у меня начали один за другим заболевать вирусной инфекцией. А их и в коридоре полно, и в комнатах! Я понимаю, что начнёт болезнь расхотиться — тогда караул! Что делать? Не говоря детали врачам, узнаю, что надо колоть. Покупаю на весь приют инъекции, шприцы. Выстраиваю все сто человек в очередь перед медпунктом и сам делаю уколы всем: и мужикам, и женщинам, и детям. Они послушно снимают штаны, я — шлёп: «Следующий!» Потом, когда врачи узнали, сказали: «Ох, батюшка, тебя бы точно посадили, если бы хоть что-то было с плохим исходом». Но инфекция нас тогда поголовная миновала.

Да, это был точно период какого-то святого сумасшествия. Думалось только, что главное — помочь. Остальное — не в счёт: осторожность собственная, трата сил и средств...

Батюшка вспоминает, как захотелось тогда всем своего приютского хозяйства. И оно появилось. В нём были коровы, овцы, свиньи. Рядом было озерцо, и в сезон они выращивали по триста гусей. Весь год было своё мясо: свинина, говядина, птица. Сами насельники за всем этим следили, кормили, чистили за животными, убирали двор, ремонтировали постройки.

Я вдруг грустно спрашиваю у отца Сергея:

— А чем кончилось?

И он отвечает:

— Кончилось тем, что через шесть лет меня впервые увезли с сердцем в реанимацию. Они меня всё же доконали! Но ещё долго я занимался всем этим, просто пересмотрел условия приёма и проживания: перестал брать тех, кто постоянно пьёт, и удалил тех, кто устраивает скандалы. Помню, женщина одна появилась в приюте, вскоре сильно напилась. Я простил на первый раз. Второй раз напилась — простил. А потом приезжаю, а уже все женщины у меня сорвались и нетрезвы. Понял, что лучше всё же убрать одного человека, если он может так повлиять на остальных.

Был в том приюте один инвалид Володя, у которого обе ноги по самый таз отрезаны. И всё же при этом он как-то умудрялся ежемесячно получить свою пенсию, напиться сам и напоить полприюта мужского населения. И вот в очередной раз приезжает отец Сергей, а Володя вновь пьяный. Из-под подушки остатки пенсии торчат. Он решил забрать деньги, чтобы прекратить безобразия. А тот проснулся, и потянуло его на концерт перед всеми: сел на кровати, майку с себя сдирает, на все два этажа приютских вопит:

— Аааа, у инвалида последние копейки забирают! Давай! Бери! Обдирай, если совести нет!

И майку при этом сдирает с себя, как в кино военном видел. Решительно и горячо, в расчёте на эффект.

— Да на! Всё себе забери, забери!

А батюшка ему в ответ:

— Тогда и трусы снимай! Чего уж там!

Володя в порыве развития собственного киносценария снимает трусы и остаётся совершенно голым посреди кровати. Бросает всё под ноги батюшке. А тот спокойно подбирает бельё и выбрасывает в форточку:

— Вот и сиди теперь голиком, раз так.

И уехал. Ему уж потом рассказали, что посидел минут десять

Володя голый и замёрз. Мурашками покрылся. Зрители вниманием к нему уже поостыли. Стал просить мужиков принести ему с улицы трусы и майку. А те говорят:

— Нет уж, сиди теперь так. Нечего было перед батюшкой выламываться и оскорблять его. Сдалось ему твоё исподнее.

В другой раз батюшка только вернулся из тюрьмы и заехал в приют, а там опять очередное ЧП. И он на волне тюремной... такой монолог выдал, что один из приютских мужичков толкнул другого и на полном серьёзе, с изумлением изрёк:

— Вася, во мы достали бату! Как зажигает!

Это сейчас вспоминать смешно. А когда-то переживалось батюшкой до сердечных приступов.

Приют этот всегда числился при храме на Васнецова и при соборе. Он и сейчас существует, но в первые, самые трудные годы отец Сергей отдал туда огромное количество и сил, и времени. Там даже была организована конная детская школа тогда. Она работает и поныне. На конюшне живут три лошади, есть тренер-инструктор. Постоянно приходят ребятишки, и один из сыновей батюшки, Кирилл, тоже занимался с ними несколько лет. Был инструктором.

С первого года священства батюшка начал окормлять тюрьмы. И в его жизнь вошли заключённые. Вошли и до сего дня не оставлены. За двадцать один год скольких из них он покрестил, скольких исповедал и причастил Святыми Дарами.

Да, порой новое дело жизни становится нашим странным образом. Так случилось и здесь. Пришла как-то к нему, молодому священнику, женщина, сын которой сидел в СИЗО. Попросила исповедать и причастить его. Так он впервые переступил тюремный порог. И... «остался». Лет пять регулярно приходил именно в СИЗО, потом попал в строгую колонию, потом стал священником для всех оренбургских тюрем. И «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке не раз посещал.

— Тут как-то не так давно в очередной раз пришёл к заключённым. Сидим с ними, говорим. А один молодой человек перебил меня внезапно, что-то добавить захотел. Удивило меня, что старший по возрасту ему вдруг сказал: «Знаешь, замолчи. Ты тут пятый год всего, а отец Сергей уже двадцать». Я и сам удивился, что они точно «мой срок» знают.

Здесь, в тюрьме, к батюшке пришло очередное и совсем не обычное новое дело... Кино. Администрация одной из тюрем обратилась с бумагой: который год проводится конкурс тюремных фильмов. Да не какой-нибудь, а фестиваль мирового масштаба, с участием многих стран. Есть, оказывается, и такой! Так вот не смог бы отец Сергей помочь снять фильм и поучаствовать в этом конкурсе? Обратились, конечно, не просто так. Времени было уже очень мало. Знали, что батюшка занимается молодёжным театром и даже написал несколько пьес, по которым поставлены спектакли. Отказаться у батюшки тогда не получилось. Дело было неведомым, но интересным. Он согласился, за один день написал план съёмки и сценарий, договорился с оператором телевидения. Они вместе зашли в колонию и за один дневной заход сняли тот первый фильм. Текст к отснятым кадрам батюшка наговорил сам, он звучал за кадром его голосом. Неделя оставалась на монтаж и подгонку текста к отобраным кадрам. Торопились, а всё равно... опоздали. Отправили готовый фильм наудачу не в указанный срок и забыли о нём. На три месяца. А потом позвонили сами заключённые и с удивлением сообщили:

— Отец Сергей, а мы вроде бы что-то заняли на этом фестивале!

Правда, удивительно! На конкурс было выставлено сто пятьдесят фильмов! И страны принимали в конкурсе участие самые разные: Америка, Франция, Бельгия, Турция, Саудовская Аравия... Батюшка с радостью говорит:

— Конечно, было удивительно и приятно! Это самый первый мой опыт. Да, чем-чем, а вот кино я не занимался. И когда получилось, был рад. Чего от этого отказываться? А ещё через три дня снова звонок из колонии: гранпри! Ни больше ни меньше!

Батюшка смеётся! И добавляет:

— Знаешь, думаю это случилось по той причине, что ничего не было выдуманно. Ни одного слова. Все эти годы я действительно проживал вместе с заключёнными, знал, что творится в их душах.

Потому и вышел таким правдивым фильм, задел, видимо, за живое и жюри. Он и назывался-то «Философия покаяния». Рассказывал о внутреннем мире тех, кто посажен за решётку. Все они преступники, да, но и у них есть душа. Об этой душе был фильм.

И всё время он искал возможность говорить с людьми, особенно с молодёжью. Через слово. Сам пришёл в театр, где играли молодые ребята, сам предложил им сценарий первого спектакля с названием «Коза». Шесть лет пьеса жила. С ней ездили на гастроли. Теперь её вновь играют. Восстановили недавно. Сделали более современным прочтение смысла.

Потом была пьеса «По ту сторону войны», потом была даже рок-опера «Пожизненный», а ещё известный спектакль «Дураки».

А ещё был сценарий для детской сказки. Позже родился знаменитый фильм «Литургия», который тоже стал лауреатом первой премии Киевского фестиваля документальных фильмов.

— Знаешь, что удивительно? — спрашивает батюшка. — В условиях наших отношений с Украиной и Киевом вдруг присуждают фильму из России первое место. А ещё высылают две тысячи долларов премии, на которые я еду потом к старцу Ефрему в Аризону. Но половину премии честно отдал ребятам, с которыми снимал.

Действительно, удивляюсь... Бывает же такое! Потом вышел фильм «Страна Пиросмани», состоялся показ его в Грузии, когда в одном из залов он услышал такую фразу: «Отец Сергей учит нас быть грузинами через этот кино».

Однажды батюшку пригласили в гайский детский дом для детей-инвалидов. На концерт. Батюшка сидел в зале и был потрясён тем, как умилительно и искренно пели эти дети! Как танцевали, читали стихи И было это не просто умилительно, а даже... свято. Ведь в них — ни тени лукавства, ни капризов, свойственных здоровым домашним детям. Они искренно дарят себя зрителям, вовсе не думая, как при этом выглядят. Это обезоруживает, делает пленником их душ. После концерта ему предоставили слово. Батюшка вышел и вдруг сказал то, что напрягло половину зала, и лишь близкие друзья поняли его ощущения:

— Вот я столько лет уже священник и никогда об этом не жалел, но сегодня, увидев вас, я пожалел, что родился не... бабочкой!

Это трудно понять разумом. Это надо ощутить. Когда мне самой впервые удалось побывать там в первый раз на предновогоднем концерте, стало многое видеться по-другому в своей собственной жизни. Правда... Слёзы лились сами по себе. Беспрестанно. Было стыдно, но невозможно... без слёз. Меня успокоили спутники, которые бывают здесь часто:

— Это только первая реакция. Она почти у всех такая. Потом слёз не будет. А будет радость. Вот увидишь.

Уверяю, что так и было. Это по палатам, где лежачие, трудно было ходить без сильнейших эмоций, осознавая, что в кроватках всю свою маленькую и не очень маленькую жизнь лежат дети и подростки, не виноватые в своих увечьях и болезнях. Многие из них ничего не понимают и не испытывают, кроме двух полярных состояний: боли и радости. Боли, когда им

больно. Радости... А радости, если даже едва коснёшься ладонью их щёк или остриженных голов, которые бывают величиной в половину остального тела... Нет, не хочу здесь подробно описывать то, на что больно смотреть. Пусть останется внутри. И помнится.

Выходя из длинного ряда палат, удивляясь чистоте и уюту, я обняла сестёр, стоящих в коридоре, а ещё поклонилась им за их святой и нелёгкий труд, когда каждого нужно накормить с ложки, переменить памперсы, поправить неловко запрокинутые головы, успокоить плачущих. У них удивительно добрые лица и глубокие глаза, с другими глазами здесь не сможет... Не работается.

А в зале я тоже изумлялась тому, как искренно принимали уже ходячие ребятишки выступающих на сцене. Какие прекрасные добрые песни звучали. Какие костюмы шили для них сами воспитатели. Как красиво была оформлена сцена, сыграно представление.

В коридорах дети подходили и просто так дарили маленькие поделки, обхватывали руками, заглядывали в глаза и желали счастья в новом году. Так трогательно и с такой верой, что вновь наворачивались слёзы. В машине на обратном пути ощутился сгусток тепла внутри. Тяготы не было. Было благодатно и совсем не грустно. Я улыбнулась и сказала батюшке:

— Такое ощущение, что на меня плеснули из ведра потоком света. Как странно. После всего увиденного...

А отец Сергей добавил:

— Почему именно такие дети? Этот детский дом? Да потому что только здесь можно реально позволить себе быть... бабочкой. Или зайчиком. Можно оставить в стороне неискреннюю взрослость. Неправдивую серьёзность, неестественность. И побыть самым обычным человеком. Мы ведь не умнее их. Мы, к сожалению, лишь хитрее. А они умнее нас. Своей до-

бротой, умением любить любого, кто попал в поле зрения. Сначала меня пригласили их покрестить. Было и 80 крестившихся разом! Было и 30. Я приезжал ещё и ещё. Потом стал председателем попечительского совета этого детского дома. А потом снял фильм про них. Да, этот удивительный фильм «Не забывай меня».

Батюшка вздыхает. Молчит с минуту, а потом со светлой грустью говорит:

— В фильме был в кадре один ребёнок с большой головой от гидроинцефалии и маленьким тельцем. Помнишь? Лёвушка... всю свою недолгую жизнь он просто лежал на кровати. Просто лежал. Он был слепой. Ничего не слышал. Он даже глотать сам не мог. Его кормили через зонд. А потом он умер, и я приехал его отпевать. Когда увидел его в маленьком гробу, то впервые понял, что вижу не голову и маленькое тело. Как обычно. Он лежал, одетый в костюмчик и белую рубашечку, такой светлый, трогательный и красивый со своим вот этим уродством головы... Удивительно! Но правда! Передо мной лежал красивый, как ангел, ребёнок. Глаза были полуоткрыты, будто он смотрел куда-то за окно, в небо. Такой повзрослевший, спокойный. И уже... не здесь.

А через неделю приснился. Это был он, Лёвушка, но с совершенно обычной головкой и с обычным нормальным телом. Я удивился, а мне будто сказали во сне, что там все такие, каким я и увидел. То есть нормальным, без всяких отклонений. Он ничего мне не сказал. Просто стоял передо мной. Красивый мальчик. Лёвушка...

В своё время в жизнь батюшки мощно вошёл и остался в нём Афон. Путь к нему начался невидимо и задолго до самой первой поездки. И связан был с духовником — отцом Серафимом, который подвизался на святом острове много лет. И потому для него, отца Сергия, и для друга его, священника отца Олега

Топорова, это всегда была особая и святая тема. Конечно, они поначалу и мечтать не могли туда попасть. Всё ещё было сложно и неопределённо. И вдруг узналось, что туда открыт путь, что можно поехать, оформив документы и загранпаспорта. Всё было сделано, и поездка состоялась.

Сойдя на каменистый берег монашеского острова, они, как и многие другие паломники, с благоговением опустились на колени и поцеловали святой берег, куда когда-то сошла с корабля Сама Богородица. Под Её тихими стопами задрожали тогда и рухнули все идольские капища, а Она пожелала, чтобы здесь отныне было место особых молитвенных подвигов монахов и чтобы на берег этот после Неё не ступала более никогда нога ни одной женщины. До самых последних времён.

— Тогда ещё Афон был другой, — говорит батюшка, — не такой, как теперь: удобный для паломников и довольно комфортный для тех, кто привык к комфорту. В первые годы открытия паломничества не был таким ухоженным и отреставрированным. Он увиделся нам довольно бедным и аскетичным. Но мы были опьянены. Дышали его воздухом и не могли надышаться. Я не помню, по какой причине не поднялись мы в самый первый раз на вершину Афона. Это случилось уже лишь через год, когда мы вновь попали туда с тем же отцом Олегом. Тут и обстоятельства сложились уже иные...

Я попал туда через два месяца после онкологической операции. Удалили часть лёгкого. Болезнь была затяжной, длящейся не один год. Ещё с диаконских моих времён заметил, что периодически приходила небольшая температура и держалась по несколько дней. Лечился сам как мог. Сбивал температуру, на большее времени не было. И только очередная флюорография определила, что затемнение в лёгком. Я ещё в Гае тогда жил. Обследовать стали. А после отправили в областную онкологическую больницу. Представь только: молодой, только что

воцерковился, работы всякой много... И вдруг такое. Для меня это стало по ощущениям просто каким-то мраком.

Помню, что это была весна. Март. Воробьи чирикают, солнце, а для меня нет этого ничего. Будто ночь. У меня жена, ребёнок первый. Так тяжело было. И всё же пока миновало меня тогда серьёзное испытание, подлечили и операцию делать не стали. Температура ушла. А во второй раз уже серьёзнее отозвалось. Лет шесть прошло. Я уже священником был. Вдруг опять температура стала подниматься. Да какая! До 39 доходила и держалась по нескольку дней. Потом уходила. И вновь возвращалась. Было непонятное состояние. Обследуют — ничего не находят. И лишь рентген лёгких показал... Делали его мне лёжа. Врач взглянул, помню, потом нагнулся ко мне и сказал с участием:

— Батюшка, послушай, немедленно поезжай в областную онкологию. Не тяни время. И если скажут про операцию, не вздумай отказываться. Чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше.

Батюшка вздыхает:

— Я тогда в священниках сколько уже отслужил! Проповеди читал. Уже иначе, конечно, весть воспринял. И всё же было страшновато. Уже двое детей у нас, матушка третьего ждала. А тут всё опять у меня возобновилось и ещё в более нехорошем качестве. И я еду в Оренбург. Мне подтверждают онкологию. Назначают операцию. Тяжело было: город другой, все чужие, я один с этой бедой, без поддержки. Но держусь, молюсь, смиряюсь. А накануне операции вдруг такая тоска пришла, такое уныние, безнадёжность полная. Очень нехорошо на душе. Звоню матушке и прошу её, чтобы передала всем прихожанам, знакомым, священникам: прошу молитв, пусть помолятся обо мне. Когда матушка спросила, а кому молиться, я сказал, мол, пусть читают акафист Ксении Блаженной.

И утром он проснулся другой: совершенно спокойный. Его

готовили, делали процедуры, уколы, а он почему-то ещё хотел бы поспать. Сколько там до начала? Ему сказали, что где-то через полчаса приедут и заберут в операционную. И он снова намеревался заснуть на эти полчаса в своей палате, потому что было внутри полное спокойствие. Абсолютный штиль. Даже мужики больничные удивились:

— Ты деревянный что ли, батюшка? Какое тут «заснуть». У тебя операция на носу. Вот даёшь!

Операция прошла нормально. Часть лёгкого удалили тогда. Целых десять дней ожидался анализ на гистологию. Батюшка сотни раз исходил больничный коридор своими шагами, постоянно молился. И вот по прошествии положенных дней томительного ожидания в коридоре его доктор сухим официальным тоном сообщает, мол, ждёт в кабинете для разговора. Конечно, ему предположилось самое худшее. Очень волновался. Ждал приговора. В кабинете доктор тоже не торопился. Или ему это казалось? Почему-то говорил медленно, затягивал главное: результаты самого анализа. Впору было похолодеть. Самому предположить вслух худшее, чтобы не томил. Но наконец произнесена была самая нужная для него фраза, обернувшаяся мощной радостью: всё нормально. У него всё нормально! Жажда жизни мгновенно вернулась в сознание, душа ликовала. Ощущение полноты счастья и Божией помощи заполнили его тогда. И покой: он будет здоров. Всё хорошо.

И вот ровно через два месяца они с отцом Олегом вновь поехали на Афон. И именно тогда состоялось их первое восхождение на вершину высотой 2033 метра! Конечно, безумное для него тогда восхождение! Состоявшееся просто невероятным образом! Ведь был он ещё совершенно слаб, и остаётся загадкой для него самого, как сумел он преодолеть этот подъём, который и здоровому не всякому дастся.

Накануне подъёма, остановившись в монастыре Симона

Петре, они всю ночь отстояли на службе без отдыха и на два часа пешего пути отправились в порт Дафни, чтобы сесть на корабль, который отвёз их к пристани Святой Анны, к подножию Афона, откуда все начинают восхождение. На берегу отец Олег участливо спросил у друга, как он себя чувствует? Отвечать надо было честно, нашлись и два подходящих слова:

— Как покойник...

Уже у подножия совсем не было сил. И они пошли... Самое что ни на есть благое безумие веры, надежда на Божью помощь и помощь Царицы Небесной, которую он всё время просил, сотворили для него тогда чудо личного огромного масштаба! Вершина была покорена, хотя ему самому до сих пор странно, что он дошёл, прилагая все усилия, падая несколько раз и решая внутри себя, что не пойдёт дальше. Не двинется ни шагу. В глазах то темнело, то ярко вспыхивало. Воды им один афонский монах посоветовал не брать, чтобы не утяжелять подъема. И они пошли без воды. Батюшка, когда изнемогал, просил отца Олега идти дальше одному, потому что сам двигался крайне медленно, падая время от времени. В какой-то момент он понял, что если и поднимется, если это всё же произойдёт, то всё равно не сможет спуститься. Спуск на Афоне не менее труден, чем подъём, и по времени практически такой же долгий. Обратной дороги ему точно не осилить. Но без него друг идти и не мыслил и даже прибегал к хитрости, чтобы заставить отца Сергия подниматься с обочины каменистой тропы. Говорил, что за очередным поворотом уже видна сама вершина. Осталось немного. И тогда приходилось вставать и идти, идти вверх. Ради друга. Чтобы его не подвести. И не похоронить мечту. Несколько раз отец Сергей будто даже терял сознание, во всяком случае отключался, выходя из реальности. И в течение получаса «отсутствовал», сбросив рюкзак со спины, набираясь откуда-то неведомых внутренних силёнок для очередного броска.

— Ничего тяжелее этого моего первого подъёма в жизни не было, — улыбается сейчас батюшка. И даже трудно вообразить, как сумел он всё же тогда совершить свой подвиг восхождения?

Впереди их ждал крест на каменной макушке, который был принесён сюда когда-то и вбит в скалу русскими паломниками. А кто бы ещё захотел нести на спинах металлический символ христиан практически к самому небу? Ведь, стоя на вершине горы, многие паломники говорили о том, что видели на уровне глаз летящие мимо острова на заданной полётной высоте самолёты.

От самого последнего места привала, келии Панагии, до подъёма до вершины — ещё целых семьсот метров, круто зовущих вверх. До неё батюшка просто дополз и упал, чтобы отлежаться. Он знал, что по преданию Сама Божия Мать поднималась сюда. Значит, и он должен сумеет преодолеть себя. Вокруг пустынно, потому что на такой высоте не подвизается никто даже из святогорцев. Лишь ветер — полновластный хозяин этих мест. Чтобы согреться огнём очага, нужно нести с собой сухие ветви. Стоял ноябрь. Ночи в это время очень холодные. Но у них хвороста не было. Не было ничего и в Панагии. Обходя окрестности, которые тысячи раз уже были обойдены до них в поисках дров, увидели большой кедровый пень, который поднять было не под силу, потому что он и лежал тут, никем не тронутый, с ободранной корой. Вверх его перемещать было метров пятьдесят до входа в келию. Русская смекалка подсказала, что можно попробовать перекачивать колоду. Но и это было немислимо тяжело. И всё же они его толкали вверх. По шагу, по нескольку сантиметров. Наверное, Сама Мать Божия сжалилась тогда над ними: на тропе показались вдруг трое паломников-европейцев. Двое из них были французы, а один, как выяснилось позже, итальянец. И тогда двое батюшек, прибегнув к последнему средству — чувству юмора,

объяснили жестами и набором разных слов, что, мол, толкают этот пень снизу, с самой Святой Анны. И просят помощи. А это полторы тысячи вниз, у самого подножия! Иностранцы сперва замерли от осознания факта, а потом с усердием всё же бросились помогать этим безумным русским!

На рассвете они прошли эти семьсот метров. Тогда у креста там стоял ещё старый маленький храмик. Здесь можно было помолиться и затеплить свечу. А отец Сергей вдруг обнаружил печать с греческой надписью: «Афон — 2033». Поставить её было негде, а так хотелось запечатлеть покорение вершины. И батюшка открыл паспорт и прямо в нём, на последней странице, сделал это, подышав на буквенный оттиск. Отец Олег забеспокоился, что могут теперь быть неприятности на обратной дороге. Могут не выпустить. Но Сергей был счастлив:

— А у меня теперь афонская прописка. Не выпускают — останусь здесь. Стану отшельником.

Этот штамп и установил его тесную связь с Афоном и афонитами. С тех пор уже более тридцати раз он бывал и бывает на Афоне, куда его в последние годы приглашают расписывать небольшие пещерные храмы и писать иконы в иконостасы сами монахи, зная, что есть в России батюшка, который может приехать на остров, чтобы поработать во славу Божию и помолиться здесь в кельях великих подвижников, что является для него высшей наградой за труд. В первый месяц такой работы, расписывая храм, он даже забывал отдыхать, весь день дотемна проводил в работе, ведь во многих малых храмах на горе до сих пор нет электричества. И надо торопиться. От такого стояния сильно отекали ноги, хотя он сам решил, что начались проблемы с сердцем, пока не позвонил знакомым врачам. Узнав, что он весь световой день просто стоит на одном месте, медики посоветовали хотя бы присаживаться на время, а ещё лучше полежать хотя бы полчаса, подняв повыше ноги. Советы оказа-

лись полезными: «проблемы с сердцем» уже не так беспокоили. Днём он писал, а ночами молился вместе с афонитами. И жила внутри духовная радость, никуда не уходила.

Здесь же, на Афоне, он начал впервые трудиться Иисусовой молитвой, входил в неё всё с большим желанием, открывал её глубины. И постепенно именно она становилась смыслом внутреннего молитвенного делания, приносила благие плоды для духа. А вкусивший душевного мира и тишины уже не может быть отторжен в суету суетного мира. Иисусову молитву он стал советовать давним своим прихожанам, говорить о ней друзьям священникам, читать о ней у святых отцов, когда возвращался в Орск. Иисусова молитва стала постоянным ночным правилом, которое неукоснительно соблюдается по сей день, где бы он ни был. И его духовными чадами тоже.

А тогда, после первых посещений, афонская тема, возникнув раз, уже не могла уйти из сознания. Об Афоне спрашивали, об Афоне хотели знать, у многих появилось желание прикоснуться к Афону своей молитвой. И было организовано нечто вроде добровольного сообщества с названием «Фиваида» в честь фиваидских отцов-пустынников. Почему именно пустынников? Это знают те, кто принял делание этой молитвы, впустил её в свою жизнь. Она неизменно уводит человека внутрь себя, в бескрайнюю пустыню молчания, чтобы там, в этой благой несуетной тишине, лучше был слышен негромкий, а порой и просто молчаливый голос Бога. У общества был даже свой устав. А после воскресных литургий собирались при храме и говорили о молитве, о практике её построения и делания. Было определено время для молитвы: каждую ночь с двух до трёх часов. Получался вот такой русский невидимый Афон. Свой Афон, «жить» и молиться на котором мог каждый, чьё сердце просило этой молитвы.

Самые первые мысли батюшки о монастыре, я думаю, начали рождаться именно благодаря Иисусовой молитве. И, конечно,

Афону. Неудивительно, наверное, было лишь то, что в этом добровольном молитвенном сообществе большинством откликнувшихся были женщины, те самые белые платочки, которые горели, не давая угаснуть вере в любые времена. И сейчас всей душой именно они возжелали «сугубого Афона».

А Господь никогда не пройдёт мимо искреннего желания. Вскоре митрополит Валентин благословил рождение сестрической общины в посёлке Херсон, где обычный человек не захотел оставить в забвении место, в котором жили когда-то его родители, стояло село, а теперь зарождалось фермерское хозяйство. В округе была распахана земля, и на ней закололся хлеб. Ехать в Херсон вдоль этих золотых морей всегда было радостно. В хозяйстве у Анатолия Мерзликина вскоре насчитывалось множество коров и лошадей, был выкопан пруд. Но главное — построен храм на высоком взгорке. Построен и освящён в честь иконы Табынской Божией Матери. Батюшка приезжал сюда служить иногда на праздники. Чуть ниже, среди берёзовой сени, светлый родник бежал резво, образуя холодный затончик. Здесь батюшка предложил поставить деревянный домик, освятить родник, и появился святой источник, окунаться в который приезжают многие, кто знает о нём. Фермер выстроил большой дом для себя, а ещё один, предназначенный брату, но пустовавший по причине предпочтения тем столичной жизни, был отдан под сестрическую общину. Здесь эти «белые платочки» жили вахтовым методом, молились, трудились и обретали навык уединения. Первые теперешние монахины — Макария и Антония — пребывали там постоянно, другие женщины приезжали, когда позволяло время. Окормлять эту женскую общину владыка благословил отца Сергия, сказав, что в перспективе, если Бог даст, может родиться отсюда и женский монастырь.

Решение о монастыре действительно вызревало. Оно выросло из среды людей, которые всегда помогали отцу Сергию в строительстве, откликались на разные просьбы. Со временем многие из них стали ездить с ним на Афон, читать Иисусову молитву. Это было время постройки того самого кафедрального собора на улице Васнецова. Грандиозный собор уже высился, расписывался отчасти самими прихожанами, а не только художниками, а силы и желания у помощников не убавлялось. Чем-то надо было жить дальше. Эта перспектива, эта намеченная когда-то батюшкой цель была уже фактом, свершённым делом. И можно было спокойно служить, окормлять свою приходскую общину и почивать на заслуженных лаврах, благо прихожан в храме всё прибавлялось. И дел у батюшки всегда хватало. Но внутренний индикатор покоя души почему-то покоя не требовал.

— Странно, но именно тогда у меня началась словно бы новая переоценка ценностей. С двадцати шести лет я строил храмы. И поднял не один. Двадцать лет окормлял тюрьмы. Открыл приют для бездомных и двенадцать лет отдавал ему часть времени. Был попечителем детского дома в Гае. Писал сценарии для театра, книги, много путешествовал. Снял несколько документальных фильмов. Чего я только не делал! Тысячи людей прошли через меня. И вот уже кафедральный собор под росписью... Чего бы ещё желать? Но вопрос самому себе всё же задавал всё время:

— Отец Сергей, ты доволен?

И ответ был странным с точки зрения любой логики. Мне ничто не отвечало изнутри. Будто там была пустота. Ничто...

Очень остро вдруг стало переживаться желание не внешнего строительства, не видимого делания, а внутреннего. Понятно, что об оставлении всех прежних трудов не было мыслей. Просто приоритеты начали внутри меня самого меняться местами.

Без постройки внутреннего всё внешнее не обретает полноты. Почему-то так переживалось... Друзья мои видели это и спрашивали, что со мной происходит. И я им сказал: пришло время внутреннего делания. Нужен монастырь. Я пришёл к этому. Хочу именно этого. И мои верные многолетние друзья молча, помню, выслушали это, вышли от меня на какое-то время, а уже через пять минут вернулись и сказали, что согласны. Я даже не сразу понял, на что они дают согласие. Смотрю на них недоумённо, не пойму. А они мне такую фразу сказали удивительную:

— Мы с тобой. Мы будем строить монастырь. Рисуя проект. Что ты хочешь? Как видишь?

Его друзья были настоящими. А почему, собственно, «были»? Они есть до сих пор. Они долгие годы рядом и помогали в самых сложных жизненных испытаниях. Когда в 1998 году их с матушкой второй ребёнок неожиданно заболел сахарным диабетом, а они были совсем молодые мама с папой, растерялись, совершенно не зная, как быть, что делать? В срочном порядке батюшка должен был полететь с ним в Москву на точное обследование. Узнав о случившемся, стали приходить эти же люди, что всегда помогали ему строить. Его друзья. Одни пришли и принесли ему тогда дорогое кожаное пальто, сказав при этом:

— Мы посмотрели, в Москве погода очень слякотная, промозглая, холодная. Пожалуйста, возьми. Тебе придётся много передвигаться.

Пришёл другой человек и принёс сотовый телефон:

— Тебе нужна будет связь, нужно делать разные звонки. Возьми, пожалуйста, мобильный телефон.

А они тогда ещё были редко у кого, только входили в жизнь, пожалуй, лишь у богатых людей.

Пришёл и ещё один друг, теперешний иеромонах Филарет, а тогдашний миллионер Александр Васильевич Давыдов:

— Тебе нужны будут лекарства. Расходники для диабетиков, а они на доллары продаются. Я вот принёс, возьми деньги.

И протянул пачку долларовых купюр.

— И вот я еду в Москву с такой полной экипировкой. Там мы лежим в институте эндокринологии. Я ищу фирму, в которой можно купить эти расходники. И по справочнику нахожу фирму с названием... «ОРСК». Еду, захожу туда. Девушка сидит на продаже. Я набираю тест-полоски, инсулин, шприцы, аппарат для измерения сахара в крови, всё, что нужно. Она всё это считает, выписывает мне сумму. И тут я растёгиваю кожаное пальто, лезу в карман, достаю из него сотовый телефон, из другого — пачку долларов. И так стою перед ней: в одной руке телефон, в другой — пачка валюты. А на груди — священнический крест на подряснике. Девушка поднимает на меня изумлённые глаза. Молча смотрит секунд тридцать, а потом, словно после затяжной театральной паузы, выдыхает:

— Ну, поп, ты и крутой...

А я ей честно говорю:

— Да не крутой я. Я нищий. Из моего у меня только больной ребёнок на руках. А пальто мне дал один друг, телефон — другой, деньги — третий.

Что такое один ребёнок-инвалид в семье понятно лишь тем, у кого он есть. Для остальных — это лишь теория трудностей. Предположение переживаний. А если через несколько лет тот же самый диагноз подтверждается и у другого, самого младшего из сыновей? Каково встретить это известие? Но и этот круг больниц, лекарств, неутешительных выводов они с матушкой прошли мужественно. Как и сами мальчишки. Узнав о своей пожизненной болезни, оба они ещё в детстве и каждый в своё время, находясь в реанимационной палате после резкого поднятия температуры, переживали всю трагедию внутри сердца. А переплавав лишь единожды, вели себя практически одинаково:

не о себе беспокоились. Просили отца Сергия, чтобы мама не волновалась. Они будут делать себе уколы инсулина сами. Научатся жить с этим. И принимали крест болезни на детские неокрепшие плечи, чтобы дальше нести без ропота и капризов. Без требования к себе особого жалостливого внимания. Так и есть...

Когда я слушала это, мы ехали по вечерней трассе к Орску. Мимо нас неслись яркие огни встречных машин, фуры проползали длинными разноцветными гусеницами. Небо гасло, а солнце стояло за спиной алым диском, полыхало и казалось гораздо больше обычного. То, что он сказал, было прекрасным и удивительным. Слезы пришли сами, сердце было мягким, как воск, и тёплым. Батюшка тоже растрогался и замолчал на несколько минут. Да, такие моменты лучше переживать без слов, внутри себя. Хотелось безмолвной благодарностью охватить всех этих чудесных людей, способных так скоро и искренно откликнуться на духовный поиск того, кому они привыкли доверять. Хотелось помолиться о них, попросить у Бога благоволения ко всем их добрым делам и намереньям. Пусть так и будет, Господи...

Так и было. Ведь именно один из друзей батюшки показал довольно большой кусок земли, что мог стать территорией монастыря. До того обрести участок не получалось по разным причинам. Предлагали одно, второе, третье. Не выходило. Стало понятно, что не сам он, отец Сергий, должен найти это место. И вот оно пришло. Частный участок под коттеджи был просто подарен. Этот же даритель предложил батюшке самому подумать о проекте, который и был создан практически за бессонную неделю, потому что всё время виделся ему монастырский быт и расположение всего, что необходимо в функциональной структуре. Когда проект был показан ещё одному давнему помощнику, тот, рассмотрев всё, очень осторожно и снисходительно, но всё же твёрдо промолвил:

— Отец Сергий, ну ты хоть понимаешь, что всё задуманное для осуществления практически невозможно? Ты нарисовал нереальное. Очень дорого. Даже в масштабах города это довольно крупное строительство. И немыслимые средства. Может, изменить хоть что-то?

А потом приезжали другие и говорили:

— Нет, ничего не меняй в проекте. Пусть будет так, как тебе видится. Как Бог на сердце положил, так пусть и останется. Мы ещё не знаем, где будем брать деньги, но ничего не меняй в замысле. Оставь.

Первые деньги, которые легли в фундамент задуманного проекта, были как раз от человека, усомнившегося в реальности начертанного. Вернее, денег в наличии не было, конечно. Был один объект, который пять лет никак не продавался. Именно средства от него и были обещаны в случае продажи. Недвижимость перейдёт в счёт монастыря. Нужно лишь оформить бумаги.

Как верно сказано в Евангелии: «Аще не Господь соизждет дом, всуе трудишася зиждущий». Но зато благоволение Господне снимает все замки и препятствия к строительству. В произошедшее на следующий же день можно и не поверить! Но разве не верой даётся нам всё невероятное!? Так и было: раздался звонок от дарителя участка и недвижимости. После какого-то замешательства он произнёс, удивляясь собственным словам:

— Отец Сергий... Мне кажется, Бог рядом с тобой.

— Ты о чём?

— Представляешь, именно сегодня нашёлся покупатель на недвижимость. Она будет продана... А до того пять лет — никак.

Так пришли первые средства. А потом были ещё и ещё. Темпы строительства даже со стороны виделись невероятными. Те, кто не знает ничего об этом, пусть удивятся явленному чуду.

Монастырь был построен с нуля за один год и три месяца! И теперь, слыша об этом, гости из разных концов страны и зарубежья качают головами и произносят неизменные фразы: «Невероятно! Просто фантастика! Разве это возможно?»

Возможно, если ещё раз вчитаться в приведённые выше слова Евангелия. Ведь трёхэтажный монастырь стоит. Он уже живёт своей жизнью. Уже разбит сад на его земле. Выстроены ещё, кроме большого монастырского и внутреннего — в честь Марии Египетской, — два небольших храма: Сергия Радонежского и Гавриила Ургебадзе, грузинского святого. Возведена крытая усыпальница. Действует большая иконописная мастерская. Остеклена теплица, сооружён погреб. Ведутся внутренние работы по отделке новой пекарни и сыроварни. Сейчас несколько сортов хлеба и хлебных изделий выпекаются в нижней пекарне, что прямо в здании монастыря. Но это временное явление.

Зашли в монастырь в конце августа, за неделю до того, как был освящён расписанный на Васнецова собор. Можно считать, что два эти грандиозные события произошли практически одновременно.

— За неделю до освящения кафедрального собора у меня пропал сон. Я ворочался, мучился, а спать не мог. Часа в три сел в машину и ехал к собору. Сторож мне открывал ворота, я заходил внутрь храма, садился на стул и сидел, глядя на всё вокруг, потому что спать от психологического переутомления всё равно не мог. И вот когда всё свершилось, я вдруг прошусь у владыки отпустить меня отсюда. Говорю, что готов передать собор кому-то и уйти только духовником монастыря. Меня тогда никто не понял. Никто... Помню, что один священник, когда узнал о решении, замолчал надолго, а потом вдруг с сердцем воскликнул:

— Никак не могу понять, вот в чём тут твоя выгода? В чём корысть? Где собака зарыта?

Действительно, осознать подобный шаг умом невозможно. Он будет сопротивляться и искать разумности. Но не у него, а у сердца есть причины, которые разуму не понять. И это было решение сердца. Вот так же, сердцем, он ощущает, какие деньги и от кого не возьмёт для монастыря. Несколько раз ему предлагали выгодные условия. И лишь потому, что они были выгодные, он твёрдо отвергал предложения. А вот отдавать — отдавал. Порой всё до копейки, оставаясь ни с чем... Вот и теперь отдавал готовый собор, вложив туда предельные силы.

Даже владыка Ириной не сразу принял решение, чтобы отпустить его. Он словно давал возможность батюшке исключить некую горячность или поспешность. И лишь через полгода позволил оставить служение в соборе. Теперь его главным делом был монастырь. Сёстры. Ночные литургические службы по особому уставу. Воскресные беседы с прихожанами, ответы на разные духовные вопросы.

Он очень хочет, чтобы монастырь жил жизнью большой духовной семьи. Эта жизнь не даётся усилием воли или той же разумностью при поиске самых верных решений. Всё самое истинное, непридуманное и настоящее подаётся нам всеблагим Богом. По нашей искренности и молитве. Только так. И совокупностью даруемых благ венчает тогда Господь всех подвижающихся в поиске Его обетований самым вожделенным и драгоценным даром — любовью. В слове «дар» сквозит смысл более глубокий, чем мы привыкли видеть в нём. Для нас это слово зачастую воспринимается уже чем-то осязаемым и овеществлённым, тем, что можно подержать в руках или ощутить хоть как-то в видимом проявлении. А между тем в нём в большей степени заложен несколько иной смысл, который прячется за привычный и открывается не в первую очередь, а гораздо позже. По мере очищения сердца.

Дар — это любое благо, которое способно воспринять че-

ловеческое сердце. Способное воспринять! И не размыслить при этом хоть о каких-то личных заслугах или усилиях. Наше усилие лишь в одном — в жажде личной встречи с Богом. В духовной тоске. Должна быть некая душевная маета без Него. Неуспокоенность ничем. Незаменимость никем. Молитва... И вера в то, что Он обязательно услышит и выйдет навстречу. Просто потому, что вся Его сущность — Любовь. Все Его условия к нам — безусловность. Он сделает это и без возможности отдачи. Просто даром... В тот самый «дар». За одно лишь желание. Вот ведь чудо! Чудо, происходящее всегда, во все времена. Неизменно и несомненно...

Устав монастыря и расписание его повседневной жизни батюшка написал сам, исходя из опыта жизни афонского подвижника Иосифа Исихаста со своей братией. Поэтому с вечера монахини затворяются в келье и читают два часа Иисусову молитву. Хотя поначалу было чуть иначе. Знаю об этом не со слов только батюшки, но и самой удавалось иногда приехать и помолиться вместе со всеми.

Помню эти вечера, особенно, конечно, летние, когда все сёстры и гости, приехавшие на послушание, собирались во внутреннем дворе, там, где стоит небольшой храм Марии Египетской. И вот... Темно, тихо по округе, лишь звёздное небо над головой сияет россыпью больших и малых искр. Где-то в монастырском саду трещат кузнечики, славя Бога своим пением. Батюшка читает что-нибудь из святых отцов, а потом вслух начинает творить Иисусову молитву. Неспешно, вдумчиво, задавая ритм молитвы. Все, сидящие вокруг, молча проговаривают слова вместе с ним, по его ритму. Так вырабатывался навык чтения этой краткой и чудодейственной молитвы, особо почитаемой на Афоне.

Позже молитва по чёткам была у каждой монахини уже сугубой. А батюшка, знаю, никогда и нигде не пропускает время

вечернего келейного правила. Даже если обстановка непривычная или он находится где-то в поездке, всё равно непременно уединяется и исполняет правило с земными поклонами.

Потом пришло время ночных литургий. И богослужение стало начинаться с половины двенадцатого, длясь обычно до половины второго. Может быть, у кого-то возникнет недоумение: зачем именно ночью? Это тяжело и непривычно для нашего сознания. И организм должен поменять привычный ритм жизни. Но это всё аргументы разума, а ночную литургию нужно ощутить сердцем. Нужно побывать на ней хоть раз, чтобы войти в особую атмосферу совсем иной пространственной тишины, когда все основные шумы городской жизни затихают. Когда ночь накрывает покоем землю. И в этой притихшей ночной тьме негромко и сокровенно раздаётся вдруг за алтарными вратами первый литургийный возглас:

— Благословен Бог наш всегда, ныне, и присно, и во веки веков....

В моих ощущениях большой Иверский храм похож на ковчег. У меня с ним именно эта ассоциация. Он вытянутый, как палуба. Над головой — конусная деревянная крыша без потолочного плоского перекрытия. Узкие длинные окна подняты высоко, будто чтобы вода мирского потопа не захлестнулась внутрь. На стенах нет привычного множества храмовых икон, лишь росписи по оштукатуренным стенам. Над алтарём нет традиционного ярусного иконостаса. Всё пространство этой части храма — мотивы фрески Васнецова «Страшный суд», написанной им для Владимирского собора в Киеве, с Господом, сидящим посреди мира со вскинутыми руками. В правой Он держит крест, а в левой Книгу Жизни. Вокруг сонм ангелов, собирающих людей для главной встречи с Богом. Стоя на литургии, я всегда смотрю именно на Него, на Христа, взгляд Которого не кроток, каким мы привыкли видеть его на боль-

шинстве икон, но я не могу назвать его грозным. Скорее он спокоен при всём этом бесконечном и бесщётном движении ангелов и людей. Более призывен Его жест, взмах рук, который есть знак для всех живых существ, живших на этой земле от создания мира. Смотреть на Христа с благоговейным страхом вовсе не безнадёжно. Но очень ответственно. Внутри происходит соби́рание всех сил и стремлений, которые вектором души направлены именно в эту центральную точку всего мироздания — на второе пришествие Бога.

В храме всё же есть две большие иконы по правую и левую сторону перед алтарным пространством без возвышения солей: большая икона Иверской Божией Матери, точная копия с афонской.

Слева — рельефная копия с древней иконы Николая Чудотворца. Благодарные прихожане уже давно жертвуют Матери Божией и любимому святому драгоценные вещи. И иконы богато одарены. Перед ними на службах горят два подсвечника необычной формы со множеством крупных парафиновых свечей. Особому молитвенному теплу и настрою способствуют три паникадила вдоль потолка. Они тоже непривычны по форме и исполнению: будто деревянные штурвалы с древних кораблей. Но главное в них — разноцветье десятков горящих лампад. Оттенки света — самые разные: от розового и сиреневатого до бордового. От жёлтого, зелёного и голубого до синего. Между ними на цепочках ещё целый ряд лампад с живым огнём. И это завораживает, создавая атмосферу ночного чудесного таинства.

Порой на литургии я ловила себя на ощущении, которое могло быть присуще первым катакомбным христианам, когда они под покровом ночи собирались благодарить Господа, скрываясь от глаз. Сколько раз, слушая сокровенный и высокий литургический распев с клироса, терялась во времени, зависая в

нём и входя в редкое молитвенное состояние. Трудно передать всё словами. Почувствовать это сможет, наверное, каждый, кто захочет. Потому на ночных литургиях бывает довольно много народу. Люди приезжают сюда специально именно в эти ночные часы. Именно на ночную литургию. А под праздники людей бывает полный храм. На утренних воскресных литургиях они стоят так плотно, что с трудом можно найти свободное место. И очень много причастников. Много детей.

Рассказывая о себе, батюшка сказал уже, что ко времени, когда был построен собор и сёстры вошли в стены монастыря, он практически потерял сон. Причин могло быть много: физическое переутомление, нервное истощение, переживания внутри себя и переосмысление пройденных вех жизни. Чтобы давать отдыхать организму хотя бы принудительно, врачи выписывали разные снотворные, но он-то сам понимал, что так продолжаться не может всё время. Московский невропатолог тоже пытался лечить этот мучительный недуг. Но безрезультатно. Бессонница была упорной и словно призывала его к чему-то, что нужно было исполнить. Прекратилась она сама с тех дней, как батюшка стал служить ночные литургии. Он пришёл к владыке Иринею и попросил благословения служить не утрами, а ночью. Владыка сначала усомнился: не потеряет ли батюшка последние силы? Но отец Сергей всё же убедил его на временное изменение богослужения. Если будет хуже, вернётся к утренним службам. Епископ благословил. И вот ведь: будто исполнилось нечто, чему он через муки бессонницы нашёл время и место.

Так теперь и есть в монастыре: ночными служатся все литургии, кроме больших праздничных и воскресных, чтобы собиралось как можно больше прихожан. А к нему с тех ночей вернулся сон, в душу вернулся мир и то самое равновесие, по которому она томилась.

Неоднократно слышала добрые слова священников, которые впервые приезжали по своей служебной очереди сюда. Многие говорили, что служится здесь как-то по-особому, с иной глубиной и состоянием благодарения. А у меня самой всегда бывает странная реакция на первый вдох даже здешнего храмового воздуха. Он будто тоже особый, и, когда встречает меня сразу за порогом, душа, вспоминая молитвенное состояние, вызывает неизменно лёгкие слёзы радости от каждой новой встречи со всем, что мне здесь так дорого. Что зовёт сюда. Не отпускает.

Так Афон не отпускает от себя батюшку. Зовёт в год по несколько раз. Однажды с одним монахом вдвоём отслужили они ночью службу праздника Святой Троицы. Он как раз в это время был приглашён расписывать храм в монастыре Симона-Петра, что стоит прямо в ущелье. В этот великий праздник батюшка служил, а монах пел. И не было больше никого из людей на этой великой службе. Вышли, когда уже рассвело. Начинался новый день. Светило солнце, небо голубое стояло над головой. Но откуда-то сверху падал самый настоящий дождь. Практически ливень! Что это? Откуда? Облаков над головой нет! И лишь, рассудив, поняли: это в ущелье, в стороне стояла туча, там шёл дождь. А до них сюда принёс его ветер, словно окропляя небесной водой за многочасовое праздничное служение. Так они и приняли это явление.

Дал Бог батюшке на Афоне в последние годы одного друга-монаха, который живёт и подвизается в келье Иосифа Исихаста. Куда батюшка теперь стремится, чтобы помолиться там, где жил особо почитаемый им подвижник. Святой Иосиф близок батюшке по духу. Близок и любим. Между ними есть словно некая невидимая нить, которая заметна тем, кто хорошо знает батюшкину душу. Эту связь обнаружили будущие его монахини: мать Михаила и мать Гавриила, когда прочли о жизни Исихаста. Тогда они уже слушали при храме беседы батюшки.

И как-то обе разом согласились в разговоре между собой, что дух Иосифа Исихаста близок тому, как ведёт и ощущает себя батюшка. Примерно так и происходит выбор духа человеческими душами. А дальше — дело Господа соединять их любовью.

Ведь привёл же Он отца Сергея именно в келью Иосифа Исихаста, где находится его могилка, привёл к монаху, живущему там теперь. И всегда с той поры, когда батюшка едет на Афон, он живёт в этой самой келье. И случилось так, что старец этой кельи захотел приехать в Россию и привезти с собой мощи святого. Они договорились встретиться в Москве, в гостинице «Университетской», чтобы вместе лететь в Орск. Батюшка подъехал к месту встречи на общественном транспорте, вышел на тротуар, намереваясь направиться к дверям. Но тут вдруг к нему бросилась незнакомая женщина, сказав, что безмерно рада встретиться священника, взять у него благословения. Спросила, откуда батюшка. Обменялись парой ещё каких-то незначительных фраз. Стали расходиться. И вдруг она вновь окликнула его и сказала:

— Мне почему-то так хочется Вам что-то подарить на память. Но у меня с собой ничего нет. Единственное, что есть, это пустой мощевик в кошельке. Возьмите его...

Тут батюшка смотрит на меня и сам удивляясь такому невероятному тогдашнему событию, говорит:

— Я бы не удивился так, как был поражён в ту минуту, если бы она достала из сумочки... хоть газовый ключ. Откуда...? Скажи мне, откуда у женщины, идущей мимо по многолюдной улице Москвы в эту самую минуту мог «случайно» взяться пустой церковный мощевик? Когда многие даже не знают, что это такое? И тем более — где его берут? Она достаёт этот мощевик, дарит его мне. Я захожу в гостиницу, встречаюсь там с отцом Никодимом. Он отделяет мне от мощей частицу Иосифа Исихаста. И так у нас в монастыре обретается частичка мощей этого афонского подвижника и святого. Иосифа Исихаста.

Мы вместе смеёмся радостно. Пожалуй, даже испытывая большее — чувство благодарного счастья от обыкновенного чуда, уж никак не случайного. И от этого так хорошо... Как хорошо мне говорить сейчас с тем, кто понимает меня, кто молится, кто умеет и не боится доверять. Что есть не меньшее неслучайное чудо. Для меня.

Афон, Афон... Он подарил отцу Сергию множество удивительных моментов. Но я знаю, что есть у него одно особое воспоминание, связанное не с молитвой и не с росписями храмов, не со встречами. Это обычный крошечный эпизод в череде более ярких событий. И тем не менее именно он всплывает у него в памяти неким чудом, несказанной красотой, которая видится не только глазами, но и сердцем, раскрывая для него некие глубинные, сокрытые от многих глаз тайны. Ведь до любой тайны нужно коснуться сердцем, чтобы она явила себя, открылась в полноте, заставила восхвалять Бога за премудрость, явленную в творениях.

Он рассказывает мне об этом. Как в одну из поездок после ночной службы в Пантелеймоновом русском монастыре, он спустился к берегу. Друзья-священники пошли отдыхать. А ему захотелось взглянуть на море, почувствовать его дыхание и покой, подышать сырым воздухом. Став на берегу, он вдруг увидел некое до сего дня не виданное им здесь явление. В воде клубилось и колыхалось большое, светящееся чистым белым светом облако. Это было похоже на рассыпанный молочный бисер. Мириады капелек-бусинок катались по небольшим волнам, играли в них, перемещались, жили своей, не ведомой никому жизнью. И даже рождали свет! Держали в себе его! Это была такая красота, что смотреть на неё одному было даже неловко. Батюшка пошёл в келью монастыря и разбудил одного из друзей. Когда они налюбовались оба танцем на воде неведомых живых существ, то решили назвать их морскими

светлячками. Все вместе они излучали удивительно красивый неоновый оттенок. Его хотелось коснуться, хотелось узнать некую тайну: как это всё происходит? Но разве дано ведать при жизни, в какой мере Ты, Господь, «вся премудростию сотворил еси?» Вряд ли... Достаточно и восхищения величием тайн!

— Прошло несколько лет после этого ночного «видения», — вздыхает батюшка. — За это время жизнь многих со мной разъединила по разным причинам, в том числе и с этим священником, стоявшим со мной тогда на берегу. И вот лет через шесть я вновь на Афоне в том же монастыре. И вновь иду к морю в темноте, надеясь на повторение... И да, вижу опять этот светящийся неоновый бисер. Там же, на том же месте. Это называется в книгах явлением дежавю? Я его пережил. И хотя у нас с тем другом был как раз непростой момент, время непонимания, я звоню ему, слышу удивлённый голос, но всё же произношу, что хочу сообщить ему радостную и весьма оптимистичную вещь. Он спрашивает: «Что? Что такое?» И я отвечаю:

— Светлячки по-прежнему живы и светятся!

В трубке — молчание непонимания. И я добавляю:

— Помнишь? На берегу Афона светящийся красивый бисер? Я сейчас смотрю на него. И сообщаю, что светлячки живы!

Мне кажется, он вспомнил и даже потеплел сердцем, хотя ничего особого не сказал. Просто вспомнил...

Однажды батюшке позвонил из Москвы некий мужчина, сказал, что телефон отца Сергия ему дали на Афоне. Он проявлял особый интерес к Иисусовой молитве. А сам часто ездит в Аризону к старцу Ефрему и ищет в России единомышленников, которые внимательно и целенаправленно занимаются этой молитвой. Познакомились. Тот в очередной раз собирался в Аризону. Батюшка попросил его вот о чём перед поездкой: сравнить устав того монастыря, где подвизается старец Ефрем

с братией, с уставом их Иверского монастыря, продуманный и составленный здесь бессонными ночами, когда шли поиски оптимального для труда и молитвы распорядка внутренней жизни. Через несколько дней знакомый позвонил ему сам и с удивлением сообщил:

— Отец Сергей, представляете, у вас примерно один и тот же устав. И вас благословили в следующий раз тоже приехать вместе со мной....

Когда батюшка попал туда, он ещё раз убедился, что уставы действительно почти во всём похожи. И там его благословили на исполнение молитвенного правила, которое с тех пор выполняют все монахи, он сам и все его чада. Просят на него благословения у батюшки, желая подвизаться сугубо.

Ему самому всегда были духовно близки ещё две личности, известные в православном аскетическом мире монашества: Порфирия Кавсокаливита и старца Софрония Сахарова. И только совсем недавно узнал он, что они и между собой были очень близки в духовной жизни, почитали друг друга. В книгах старца Софрония батюшку удивляла особая глубина, которая раскрывалась только через молитву, потому что написаны были они именно через опыт молитвы, из молитвенного состояния и раскрывали именно его.

— И вот в один из дней я служу всенощную полиелейную службу на день Силуана Афонского, духовного учителя старца Софрония. В перерыве службы присел на скамью в алтаре, раскрыл бывшую там книгу старца «Видеть Бога как Он есть». И по расположению сердца удивительным образом вдруг открылось мне всё написанное. Слова будто сами потекли в сердце, раскрывая все оттенки и глубины, которые раньше не давались в полном объёме усилиям разума. А сейчас всё было без мысленных потуг, без принуждения. Естественно и чудесно.

Батюшке захотелось взять ручку, и прямо на первой странице титульной рука вывела вот эти несколько слов признания: «Отче Софроние, я тебя люблю...».

Через две недели ему позвонил друг и сообщил вот это: его приглашают в Англию, в графство Эссекс, где в монастыре Иоанна Крестителя подвизался долгое время и отошёл ко Господу сам старец Софроний. Удивительно... И сколь же радостно! Ответом всего лишь на письменное признание старцу стало духовное приглашение батюшки приехать туда, куда он в то время даже и в мечтах не решался бы попасть: на могилку старца, в его келью. В необычный Эссекский монастырь.

А к Порфирию Кавсокаливиту батюшка питал особое расположение души. Его, Сергия, чудаковатость, особый взгляд на духовный опыт и какая-то несвойственная священнику с солидным стажем несерьёзность, а то и детскость стали всё больше смущать священников. Они сначала просто улыбались, потом стали открыто говорить батюшке, мол, не прельстился ли он? Не сошёл ли с верного духовного пути? Начали обличать его открыто и горячо.

Знаю, что он очень переживал, когда бывшие молодые люди, прося у него духовного окормления и руководства, со временем, рукоположившись во священника, вдруг резко меняли своё отношение и начинали рассуждать друг с другом о странностях и несоответствиях духовного настроения недавнего учителя их теперешним знаниям. Батюшка мучился, испытывал душевную боль, но никогда не отвечал обвинителям в их тоне, прятал стрелы в себе, и ему очень хотелось найти хоть у кого-то поддержки. Его душа не могла претерпевать те изменения, к которым его призывали, перечёркивая тот опыт, который естественно принадлежал ему, его душе и устройению духа.

В очередной раз когда он был на Афоне, то подошёл после службы к одному подвизающемуся в русском монастыре мо-

наху. Попросил уделить ему время и выслушать о своём духовном устроении. Захотелось раскрыть свой внутренний мир, озвучить то, как он сам понимает и видит православие. Как его чувствует. Просил указать на ошибки, которые увидятся и услышатся. Наверное, это было вовсе не просто. Непросто, но необходимо. Ведь внутренние раздумья о своём несоответствии, на которое ему указывали, не уходили. Нужно было проверить своё устроение, сравнить, хотя бы озвучить его. Монах помог ему, благосклонно согласился. Выслушав батюшку, он молча протянул руку к полке, взял оттуда книгу «Слова и речи Порфирия Кавсокаливита», отдал батюшке и сказал:

— Всё, о чём ты мне говорил сейчас, написано в этой книге.

Когда батюшка открыл её, то будто сразу обрёл родную душу, своего единомышленника и хорошего друга. Бывает ведь такое в жизни, когда удаётся вдруг по милости Божией встретить душу, с которой ты даже мыслишь почти одинаково, ощущаешь похоже. И внутреннее одиночество отступает. Удивительно, но порой даже и говорить вовсе не обязательно: достаточно взгляда на состояние близкого человека. Всё становится безошибочно ясно. Слава Богу! Жаль только, что и в среде нашего русского современного богословия появились те, кто с удивлением воспринимает опыт не только Софрония Сахарова, прямого ученика Силуана Афонского, но и духовный опыт Порфирия Кавсокаливита. Слишком открытой кажется некоторым духовная глубина и в то же время простота внутреннего устроения этих святых. И тут вряд ли можно и нужно переубеждать кого-то. Вся истина и все заблуждения откроются нам, может быть, лишь в вечности. А пока главное — соблюдать душевный мир, потому что в немирной, бунтующей против чего-то душе правде весьма легко заблудиться.

А батюшка даже написал статью в защиту духовного опыта старца Порфирия и опубликовал в журнале. Попад в очеред-

ной раз на Афон, вновь нашёл того русского монаха и дал ему прочесть журнальную статью, ожидая мнения. Монах о чём-то задумался, опустив голову, а потом поднял на батюшку глаза и сказал:

— Удивительно... Сколько я молился и мысленно просил хоть кого-то написать нечто подобное об этом старце, защитить его. И вот какой-то поп с далёкого Урала наконец-то попытался это сделать. Как удивительно!

Так батюшка и остался неизменным другом двух старцев, в недавнем времени канонизированных Вселенской Православной Церковью. В последней книге, купленной батюшкой на Афоне в недавней поездке и изданной на русском языке в Салониках, духовная дочь Софрония, гречанка по национальности, написала о том, что при жизни эти два старца очень трепетно относились друг ко другу, любили общение. Дорожили им. Значит, они действительно были весьма духовно близки. Эти два старца. И «пазлы» в душе и мыслях батюшки окончательно совпали.

Кстати, это та самая новая книга попала мне раскрытой на полке, когда мне нужен был ответ на один из моих духовных вопросов, с которым хотелось обратиться к батюшке. Ответ на него был дан мне раскрытой страницей и, помню, привёл меня в изумление точностью ответа и быстротой его получения. На вопрос в момент отсутствия моего духовника ответил старец Софроний в цитате, приведённой автором. Оставалось только мысленно поблагодарить Бога и Софрония.

У батюшки ещё особая любовь к Грузии, к пришедшему туда на шестьсот лет раньше, чем к нам, православию. Его поездки в эту удивительную страну, один из уделов Богородицы, доставшийся ей по жребию в первые годы христианства, начались прямо накануне усложнения отношений с Россией в политическом плане. В воздухе уже витало непонимание, отчуждение на

уровне правительств. Это почему-то волновало и беспокоило батюшку. Он взял благословение у тогдашнего владыки Валентина, решил написать и отвезти в Грузию большую икону Георгия Победоносца, которого чтит и любит вся горная страна, называя каждого третьего своего рождённого грузина именно Георгием. На этой иконе по-грузински и по-русски были написаны такие слова: «Да любите друг друга». Ничего не зная о будущем и о глубине происходящего отчуждения, батюшка с группой духовных друзей полетел в Тбилиси.

С этой иконой они проехали на машине половину страны, приобрели много друзей, увидели расположение совершенно простых людей к ним самим и ко всему русскому народу. Но вскоре всё же началась война. И некоторые из окружающих стали задавать вопросы со значением: мол, выходит, что труды были напрасны, если столкновение не предотвратилось. Но отец Сергей отвечал так:

— Нет, не напрасно, потому что через полтора часа после начала конфликта у меня раздался звонок. Из Грузии, из одного женского монастыря. И игуменья сказала мне такие слова:

— Отец Сергей, несмотря ни на что, люблю и уважаю. И так будет всегда.

— И по сей день у нас очень тёплые отношения и с грузинскими монастырями, и с церковью, и с мирянами.

С тех пор и дружба завязалась двусторонняя. Матушки из Грузии приезжали сюда погостить, в Иверский. И монахини Иверского не раз побывали там.

В первую свою поездку батюшка обрёл в Грузии свою вторую маму, теперешнюю монахиню Серафиму. В поездке по стране они тогда остановились в Зугдиди в её частном доме. И батюшка впервые увидел высокую, всегда с достоинством держащую себя женщину в чёрном послушническом одеянии, которая похоронила сына и мужа, осталась вдовой, скорбящей

о потере двух самых близких своих родных. В знак памяти о них она испросила себе благословения носить, не снимая, чёрную одежду, как монахиня. Сам Патриарх Илия позволил ей тогда это, удивившись решению. Ведь известно, что время гасит любую беду и потерю, а тут желание было однозначным: навсегда остаться в чёрном, уйти от утешений мира к молитвам за близких и постоянной памяти о них. Женщина, узнав батюшку, тоже тепло относилась к нему, расспрашивала о многом, рассказывала о своём состоянии после потери, искала не забвения, а утешения и упования на милость Бога. Прощаясь на пороге дома, батюшка тихо шепнул ей тогда:

— Я не хочу быть духовным отцом. Можно, я буду русским сыном?

С тех пор он действительно ей сын. Они довольно часто видятся. Матушка бывает в Орске, вместе было предпринято несколько поездок по святым местам России и Грузии. Она стала монахиней и ненадолго настоятельницей одного из небольших грузинских монастырей. Но тяжёлая и мучительная болезнь, с которой матушка борется уже почти пять лет, не даёт ей возможности исполнять в полной мере обязанности настоятельницы. А полумер она не признаёт в силу своего характера. И потому теперь она вне стен монастыря, в больничных палатах, дома. Лечится. Перенесла несколько дорогостоящих операций, деньги на которые не раз отдавал батюшка, совершенно опустошая денежные запасы. Но он настолько верил в то, что Господь его не оставит, что без рассуждений, по порыву сердца отправлял деньги на лечение, искал тех, кто тоже готов был помочь.

В одну из поездок в Дивеево между её операциями и лечением батюшка взял меня, познакомив с матушкой. Эта встреча стала мне подарком от Бога. Просто Он передал его через отца Сергия. А впрочем, и сам батюшка — тот же дар для меня,

принимаемый как благоволение. Мне почему-то так хорошо запомнились чьи-то слова: «Если Бог благоволит к тебе, Он посылает человека». Верю в это свято и радуюсь людям, которыми одаривает Бог. И связывает души любовью.

Вспоминает вдруг батюшка во время записи, когда всё основное уже как будто сказано, некие детали из своей жизни. И говорит, что довольно долго по жизни его преследовала боязнь покойников. Очень трудно было преодолеть это чувство. И что это за батюшка, который покойника боится? А отпевать как? Чтобы справиться со страхом, по молодости ходил даже ночью на кладбище. Помогло. Но не очень. Боязнь человека, лежащего в открытом гробу, не уходила окончательно. Пришлось прибегнуть к странному действию... Обрести настоящий гроб и лечь туда на молитву. Ведь жили же так многие подвижники, ставя гроб в своих кельях или комнатах. И ничего. Были и те, кто в них молился. Попробовал это средство трезвения и воспитания особой смелости и батюшка. Ничего, начал привыкать со временем. Этот гроб он завёл в храме на Васнецова, я даже видела его в строящемся соборе. Теперь он стоит на верхней полке храма Марии Египетской в монастыре.

— В связи с этим расскажу тебе один курьёз, посмеёшься, — ободряет батюшка, когда видит моё выражение лица на «гробовую тему». — Этот гроб у меня одно время стоял в кафедральном соборе, в нижнем храме. За алтарём была одна тупиковая комната. Дверь в неё закрывалась. Я там иногда и молился. Прямо в гробу. Великим постом в первую седмицу все священники служат вместе. Они в алтаре. А я зашёл в эту тупиковую комнату и решил помолиться. Лёг в гроб, накрылся крышкой. Лежу, читаю Иисусову. Никому не мешаю. В щелку между крышкой и гробом виден свет и дверь. Где-то через полчаса дверь открывается, заглядывает один батюшка, отец Георгий. Видимо, в поисках меня. Он знает, что я сюда зашёл, знает,

что комната тупиковая, из неё выхода нет. Но видит закрытый гроб, а меня нигде нет. Взглядом осматривает секунд тридцать всё вокруг, потом быстро закрывает дверь и уходит. Я смеюсь тихонько. А он в это время, видимо, понимает, что деться-то мне некуда, просовывает голову и неуверенно произносит:

— Отец Сергей! А ты где?

Я уже просто начинаю хохотать внутри гроба. Он подходит, садится на корточки, и у нас такой диалог:

— Ну ты и дурной!

— Ага.

— А тебе там как?

— Теплооо...

В связи со смертью ещё одно вспомнилось батюшке:

— Я ещё молодым когда священником был, завелась во мне одна обида на другого батюшку. И что я только ни делал, чтобы её изжить, чтобы отпустить ситуацию! Нет, чувствую, что не выходит. Не могу. Сидит внутри заноза, болит и мучает меня. Тогда сел в машину, поехал в похоронное бюро, купил деревянный могильный крест, притащил его домой и краской на нём написал: «Иерей Сергей. Вечная память...» Знаешь, помогло. Взглянул на него, осознал, что похоронить это в себе надо, иначе обида меня «умертвит», и обиду как рукой сняло. Тогда ещё иерей был. Совсем молодой.

Я спрашиваю:

— А крест куда делся?

— Никуда. Где-то в подвале так и лежит...

Далеко не каждый способен воспринять с лёгким сердцем и светлым юмором подобные батюшкины проявления. При этом он не рисуется, не пытается выглядеть чудаковатым, что отчасти сродни доброму юродству. Это только легко сказать со стороны, мол, что за поведение? Несolidно, неправильно. И даже покрутить пальцем у виска, что иногда и делают, глядя

на него не глазами любви, а обычными глазами серьёзного здорового человека, привыкшего всё анализировать. Но он такой. Это органика его души. Искренняя, без лукавства. Потому и не боится превращаться... в бабочку. Мне давно нравится наблюдать за ним без анализа. Степень доверия давно переросла внутреннюю планку. Зная батюшку около двадцати лет, могла бы уже, заметив хоть малейшую фальшь в поступках и словах, смутиться и отойти, как случилось с некоторыми, у кого есть личные представления о том, как должен держать и вести себя священник и тем более — теперешний духовник монастыря. Сколько раз ему прямо говорили о том, что у него всё не так, что в серьёзных книгах об известных монашеских обителях они читали о другом и понимают, как надо бы устроить всё гораздо правильнее. Знаю, что сначала ему было очень больно, потом боль перетопилась. А не так давно, когда в очередной раз кто-то бросил ему в лицо знакомый упрёк, он сказал:

— Знаешь, наверное, мне уже почти не больно. Перестал размышлять о том, что мне обо мне же сообщают. Или говорят за спиной. Думаю больше о Боге, что бы сказал Он. И мне стало легче...

Между тем мы с батюшкой въезжаем в вечерний Орск. Начало города тонет в океане вечерней сини. Оно рассыпано перед нами в длину мелкими и крупными искрами огней. Светится, как те светлячки на водных афонских волнах. На быстро густеющем небе звёзды зажигаются одна от другой. Смотреть на весь этот рассыпанный сверху донизу свет особо уютно из тёмной машины. Где-то на другом конце его, в мощном каменном квадрате, нас уже ждут сёстры монастыря. И будет ощущение встречи с дорогими сердцу людьми, когда радость в глазах светла и неподдельна. Неизменное облако покоя и любви накроет собою и заслонит ото всего, что останется на несколько дней для меня за высокими стенами. Батюшка молчит. И я

молчу. А ещё думаю... Этот монастырь, похоже, батюшкин... седьмой ребёнок. Именно столько детей когда-то ему было предсказано. Четверо из них любят и ждут его дома, один служит в армии, самый старший сейчас живёт и работает в Москве. А вот седьмой, седьмой... Неужели последыш? Он пока мал, как любое только что встающее на ноги дитя. Ему крепнуть и крепнуть. Возрастать духовно. Потому требуется много сил и времени. А ещё полной отдачи сердца. И души... Лишь тогда этот ковчег спасения, брошенный в бурю современного опасного времени, будет достойно плыть своим курсом веры, и входящие в него не посрамятся. И да будет так...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Недавно в город, где живут бабушка и сёстры, пришла большая беда.

11 февраля 2018 года при взлёте из аэропорта Домодедово упал самолёт, следовавший рейсом Москва — Орск. В нём были мои земляки. Все они возвращались домой. Но не возвратились.

Одной из первых мне об этом сообщила матушка Ксения. Сказала, что отец Сергей уехал в аэропорт. К родственникам, к родным погибших. И хотя слова при трагедии кажутся лишними и бессмысленными, я знаю, что он найдёт слова. А если не словами, то молчанием и молитвой будет помогать скорбящим не разувериться, не потерять надежды в то, что чужой беды у нас, у земляков, быть не может. И не будет.

У меня не было сомнений, что он поедет туда. Жаль, что не могу быть рядом. У меня нет сомнений, что в Иверском монастыре сёстры будут сердечно молиться об упокоении всех погибших. Их имена впишутся и в мой сугубый помяник. Ведь только принимая на себя хоть часть беды другого, или радуясь радости его, мы всё больше становимся людьми. Так растут наши души. И я утешаюсь сквозь боль лишь этой мыслью.

Душа ты, душа человечья! Как понять и постичь тебя? Как о тебе поведать? Ты спрятана от глаз, живёшь неведомой жизнью. Таишься. И лишь в поступках твоё проявление истинно. Из поступков, ступеней, из шагающих по времени «стопочек» своих видна бываешь. А по-другому как с тобой?

Вот и выходит, что жизнь любого из нас следами проторяется. Что оставим позади, то и суть наша. Богоподобная или же Богу противная. Сколь ещё идти, Он один вновь и ведаёт. А наше дело — тропинку свою торить. И непременно любить друг друга, как заповедал Господь.

Так ведь, отец Сергей?

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Натальи Сухининой	5
Предисловие	9
Монахиня Гавриила	12
Монахиня Михаила	26
Схимница Силуана	55
Монахиня Макария	68
Монахиня Мария	77
Монахиня Агриппина	99
Схимонахиня Матрона	114
Монахиня Антония	134
Мать Селафиила	139
Монахиня Пантелеимона	151
Монахиня Варвара	162
Монахиня Елена	179
Монахиня Серафима	186
Монахиня Елизавета	208
Игуменья Ксения	257
Отец Сергей	324
Послесловие	406

Ирина Витальевна Антонова
Не от мира сего

Художник Ирина Антонова
Редактор–
Вёрстка – Фёдор Абленин
Корректор – Ирина Калугина

Формат 60x84/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 1000 экз.
Гарнитура Minion Pro.
Заказ №

Отпечатано с готовых файлов
в «ИПК «Южный Урал»
460000, Оренбург, пер. Свободина, 4.